

1 р. 20 к.

Засыпка Слесик НАДЕЖДА И МЕТЕЛЬ

РС КР.
ε 50
К III 2664

cc

ВАСИЛИЙ
ЕЛЕСИН

~~Надежда~~
и
Метель



ВАСИЛИЙ
ЕЛЕСИН

И

Падежда

и

Мешель

РОМАН

Архангельск
Северо-Западное
книжное издательство
1989

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	3
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	124

Елесин В. Д.

Е50 Надежда и метель: Роман.— Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1989.— 272 с.

Это история рабочей семьи из небольшого пристанционного поселка на Вологодчине. Роман охватывает события 1936—1944 годов, может быть, одного из самых сложных периодов в истории советского народа. Отсветы этого трагичного времени озаряют жизнь героев романа. В центр повествования автор ставит образ малограмотной, но обаятельной, духовно чистой и бесконечно мужественной русской женщины. Драматична ее судьба, но пока теплится хоть малый огонек жизни, остается и надежда, которую не в силах замести никакая метель.

Е 4702010201
М157 (03)—89

84р7

Василий Дмитриевич
Елесин

НАДЕЖДА И МЕТЕЛЬ

Роман

Рецензент Л. Я. Резников. Редактор И. В. Тулинов. Художник Э. В. Фролов, Художественный редактор Д. А. Трубин. Технический редактор Н. Н. Гаврилова. Корректор Т. А. Крупина

ИБ № 825

Сдано в набор 3.05.88 г. Подписано в печать 2.09.88 г. ГЕ01060. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,911. Уч.-изд. л. 15,169. Тираж 10 000. Заказ 4290. Цена 1 руб. 20 коп.

Северо-Западное книжное издательство, Вологодское отделение,
160000, Вологда, ул. Урицкого, 2.

Областная типография. 160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

ISBN 5-85560-044-0

© Северо-Западное книжное
издательство, 1989

По всей земле надежда и метель,
Какую кто-то больше не выносит.
H. Рубцов

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Острым самодельным ножом Дементий отрезал шесть ломтиков, по числу едоков, молча протянул остаток буханки Анне. Жена привычно сунула хлеб в шкаф. Принесла из кухонки за печью парящее блюдо пустых щей. Дементий подвинул каждому по ломтику. Перво-классница Верка обиженно засопела, завистливо глядя на Гришкин кусок — тот был потолще.

— Чего скучилась? — строго повел на нее глазами Дементий.

— Да... Гришке все большой ризень, а мне все маленькой... — губы у Верки задрожали.

— На! — третьеклассник Гришка сунул Верке свой хлеб. — Разнюнилась...

— Положь на место! — Дементий пристукнул деревянной ложкой по скатерти. Серые глаза на сухощавом лице сузились, желтый прокуренный ус пополз кверху. — Каждый еще свои порядки ладит! Лопайте, что дают!

Старшая, Даша, порозовела, старательно дуя на горячие щи.

— Гришка-то мужик! — ласково сказала Анна, прижимая к животу сидевшую на коленях четырехлетнюю Гельку. — Ему расти надо!

— И мне расти надо! — ответила строптивая Верка, зорко следя за отцовской ложкой, чтобы в случае чего не подставить под нее лоб.

После щей Анна подала крутую кашу с молоком. Дементий хлебнул раз, другой, отодвинул ложку. Он мрачнел все более. Дети притихли. Даже Гелька перестала болтать ногами и ерзать на коленях у матери. Свер-

нув самокрутку из самосада, Дементий пустил к потолку сизую струю дыма, мимоходом глянул в окошко. Отсюда, со второго этажа школьного интерната, далеко виделись улитые мартовским солнцем снега и белый изгиб берегов реки Куны. Бор за рекой успел отряхнуть снеговые накрапы, заиграл яркой прозеленью. Маленькие дома людной деревни Федяшинской на дальнем угоре вроде бы подросли.

— Надо, видно, строиться, мать,— хрипло сказал Дементий.

— Не шутка строиться-то...— вздохнула Анна, опустив Гельку на пол.— Тебе, однако, Стеблов половину дьячкова дома сулил?

— Сулит... пока вино зырит! Отдал уж он эту половину Богомолову.

— Вот сатана! Почто и сманивать было из деревни? Там две избы кинули, а тут на-ко! Сунул в угол, живите, как знаете!

Анна всхлипнула, стала убирать со стола. Дементий гуще зачадил выбивающим кашель дымом. Гришка и Верка натянули стоптанные валенки, накинули овчинные полуушубки, скатились по лестнице на первый этаж. Даша взяла книжки и тоже вышла. В соседней комнате жили ее подружки — шестиклассницы из дальних деревень, которым не с руки было каждый день добираться домой.

— А и ты хорош! — сердито укорила жена, снимая со стола холщовую скатерть.— Позвали к черту на кулички — готово дело! Поехал! Даром что экую ораву наплодил. Да все ему мало. Сызнова с брюхом хожу.

Гелька, игравшая чурбачками у печки, подняла круглую головенку.

— Чего плетешь-то? С каким таким брюхом? — озадаченно уставился на жену Дементий, гася окурок в консервной банке на подоконнике.

— Не знаешь, с каким брюхом ходят? Самого бы разок заставить!

Он растерянно крутанул пальцами рыжеватый ус, потом вскочил с лавки:

— Одурела баба! Восьмерых принесла, все уgomону нет!

— Будто я виновата! — в голубых глазах Анны сверкнули слезы. Она бессильно села на табуретку, уронила голову на стол. Глядя на мать, заревела Гелька.

— Пропасти на вас нет! — пробормотал Дементий, снимая трясущимися руками шубу с гвоздя у притвора.

За день вешнее солнце приосадило сугробы. С крыши двухэтажного интернатского дома хлестко била капель. За дорогой, у начальной школы, шумел в тополях ветер, а с самой дороги густо несло дух прелого конского навоза. Бодро хлопал красный флаг над сельсоветом — соседним домом у реки.

Дементий сдвинул видавшую виды шапку на затылок, постоял у крыльца, не застегивая полушибка, потом пересек дорогу. Там, рядом с начальной школой, чернел приземистый барак. В его меньшем крыле жил с семьей закадычный приятель Дементия Миша Клыков. В другом, большем, оборудовали столярку, в которой Дементий проводил со старшеклассниками уроки труда. С минуту он раздумывал, в какое крыло податься: то ли отвести душу с Мишой, то ли идти в столярку доделывать стол председателю сельсовета Широгорову. Вздохнул и, достав из кармана полушибка тяжелый ключ, стал отпирать замок мастерской.

В столярке было тепло, пахло клеем, сосновой стружкой. Дементий невесело оглядел ряды детских верстаков, подошел к своему, большому. Привычно вставил в упор длинную и толстую доску, взял рубанок. Тонко запело дерево, поползли на пол завитки стружки. Ноги и обвязка стола были готовы давно. Осталось подогнать доски на столешницу, посадить все на kleевые шпонки да покрасить.

Делать мебель на заказ в школьной столярке не разрешалось. Но даже директору школы Стеблову не просто отбояриться от настырных заказчиков, проведавших об умение столяра Чужгина. Иные, кому должность позволяет, не просто просят — требуют. Вот и мастерит Дементий в свободное от уроков время то стол председателю сельсовета, то диван милиционеру, а то и шкаф кое-кому из ясенгского мелкого начальства. Расплачивались с ним за работу сами заказчики: Они же доставали материал, чаще всего на местном лесозаводе, на «клепочном», как называли этот малосильный заводик ясенжане.

Вымеряя доску, Дементий морщил лоб, хмыкал недовольно и все старался понять, отчего это судьба поворачивается к нему самым худым боком. Всю-то жизнь, с малолетства!

И деды, и прадеды Чужгина с незапамятных времен обитали в деревне Бараповской, что в пятнадцати верстах от большого озера Воже. Земли в деревне бедные, глина да болотина, одним полем ни почем не прокормиться. Оттого мужики зимогорили по волостям, ходили плотничать в самый Питер. Дементий с малых лет не взлюбил тот болотистый клин, который их семья не щадя живота перепахивала да боронила, напичкивала на возом, а хлеба до весны все одно не хватало. Нелюбовь среднего сына к крестьянской лямке старый Илья, мужик суровый да жилистый, приметил поздновато, когда Демешка окончил уже с похвальным листом церковно-приходскую школу и от успехов своих возгордился. Виделись парню большие города, где с людьми сотворяется удивительное: вдруг богатый хозяин отличит смышенного мальчишку да сделает его своей правой рукой, или попадет Демешка в сладком полусне на глаза министру али самому батюшке царю. А то сбивает он ватагу удальцов и поднимает бунт против всяческой неправды да мужицкой скудости...

Не один батог изломал старый Илья о худую спину Демешки, но вбить охоту к вековечной крестьянской работе так и не смог.

— Не миновать, видно, в ученье тебя отдавать! — в сердцах сказал он однажды и стал подыскивать сыну ремесло.

Когда стукнуло Дементию пятнадцать, пристроил его Илья учеником к маслоделу, что скупал молоко по всей волости, сбивал его на собственной маслобойке да возил на продажу в столицу запашистое вологодское масло. Три года ломил парень на купца, пока не понял, что и через тридцать три останется он тут гол как сокол, в холщовой рубахе и рваных сапогах. Взял Дементий расчет и уговорился идти с мужиками на сплав. Снова ворчал недовольный Илья, но руку на сына не поднял, смутили серые, пронзительные глаза Дементия.

— Жизнь лешева! — устало сказал он. — Кажись, день и ночь колотишься, а в доме ничего нет, будто невидимая сила сжирает! Одним воздухом и пользуемся без налогу. Могли бы, так пришлось бы и за воздух акциз платить...

«Нет, не житье в деревне!» — подумал тогда Дементий и после сплава наладился в дальний Питер.

Пристроился он в столичном порту выгружать ка-

мень в ряжи из полулодок. Однажды крепко задуло с моря. Только вылез Дементий с большим камнем, сильным порывом захлопнуло крышку люка и защемило ему ногу. Неделю провалялся, совсем было закручинился: с большой ногой без денег — хоть на паперть! Спасибо, взяли сторожем в городское четырехклассное училище, а уж потом поступил в столярную мастерскую при большом заводе.

Шли, катились молодые годы: дело к тридцати, а у него ни кола, ни двора, ни деньжонок. Заподумывал о будущей жизни: хоть бы столярное-то свое уменье довести до ума, вызнать насквозь душу дерева. По совету и с рекомендацией старого мастера уехал в Москву, в краснодеревную мастерскую князя Гагарина на Софийском подворье.

У краснодеревщиков к настоящей-то работе тоже не сразу допускали, сколько сам приглядышся, то и твое. Славилась гагаринская столярная умельцами. Мастерили они мебель для богатейших барских домов. Да сказано: неудачливому и в бане карачун. Года не работал в мастерской — грянула мировая война. Лишних уволили, получил расчет и Дементий.

Куда податься? Заныло ретивое, затосковало от бродяжьего неуята. Встала в глазах родимая сторона, берега светлой реки Ожеги, и потянуло его домой без удержу. Собрал немудреные пожитки в короб, сел на поезд. Далеко за Вологдой выпрыгнул Дементий из вагона на чахленькой станции и по осенней непролази, где пешком, где на попутных подводах, перся шестьдесят с гаком верст в свою деревню Барановскую. А там, будто время остановилось, будто не пролетел десяток годов: так же горбатились мужики на своих полосках, так же жгли лучину в светцах, коптя и без того прокопченные стены, так же уныло и нудно хлестали затяжные дожди да шуршали на печах тараканы...

Постарели, изработались и отец и мать. Старший брат Федор отделился, один Серега, — младший, отцовский любимец, цвел, как маков цвет: кудрявый, краснощекий, девичья сухота. Серега и затянул Дементия на посиделки. Тот отнекивался было: стар, мол, куда уж мне...

— Давай, давай! — хохотал Серега. — Мигнуть не сядишися — женим!

Но сейчас, да и всю жизнь, ему почему-то помнился

день, когда они с братом пришли в избу к Люлинцевым. Сели на лавку. Девки исподтишка до пуговицы выглядели городскую одежду Дементия, его лаковые сапоги, цепку часовую. Шептались, хихикали. А он, будто в подвздошье ткнули: не мог отвести глаза от Аньки Люлинцевой, что сидела за прялкой возле светца с лучиной. Много баб и девок перевидал Дементий в столицах, но такую...

Невысокая, ладненькая, лицо что яблочко наливное, коса до пояса, глаза большие, голубые. Сама то и дело посмеивается, белые зубки кажутся. Царевна! Подсел ближе, стал заговаривать. Ей будто в досаду. Сама с Сережи глаз не спускает. И тот, видно, приметил Дементьеву старанье: блеснул глазом ревниво, за гармонь взялся.

По дороге домой остерег:

— Аньку Люлинцеву не трожь, не про тебя припасена.

— А ежели трону?

— Голову сниму, не погляжу, что братец родимый!

— Сопля! — вспыхнул Дементий.

Завелась глухая вражда между братьями и не кончалась до того самого дня, когда оба вместе довелось попадать на станцию по призыву. Два месяца всего-то и прожил Дементий дома. Начинался пятнадцатый год...

Воспоминания Дементия вспугнул неожиданный стук. Дверь в столярку широко распахнулась, на пороге стоял друг закадычный. Миша Клыков обвел мастерскую глазами, увидев столяра, перешагнул порог.

— Мастеришь?

— Велено, — неохотно ответил Дементий.

— Зелено, не зелено, а отведать велено! — не заметил его хмурости Миша. Присел на детский верстачок, отчего тот жалобно крякнул, стал свертывать цыгарку.

— Тихонько, не зарони! — предупредил Чужгин, не глядя на приятеля. — Стружка что порох!

— Полно, дядя, не сердись! Помолись, да в гроб ложись! — дурашливо пропел Миша, однако прикуривать не стал.

— Одно и осталось: либо в гроб, либо подпалить! — Дементий в сердцах откинул доску, она грохотнула о стену.

— Али затосковал? — Клыков враз погасил ухмылку. — Плеснем, коли, на каменку! Я ведь как знал.

Он вытянул из кармана густо заплатанных штанов четвертинку. Дементий, все еще хмурясь, открыл висячий шкафчик, достал стакан и черствую, местами забусевшую краюшку хлеба.

— Что ты, батюшка, не в духе, али спал не на подухе? — балагурил, разливая, Клыков. — Держи для веселия!

Чужгин, не торопясь, выпил, понюхал краюшку, разломил, половину протянул Мише. Пожевал сам, а когда на лице его появилась чуть заметная розовость, сказал:

— Будешь не в духе! Благоверная-то моя сызнова с ношей...

— Полно врать! — не поверил Миша. — Ей, однако, за сорок? Да и тебе на шестой десяток завернуло... Нежужто распечатал?

— То-то и есть.

— Орел, Дементьюшко! — захочотал Клыков во всю глотку. — Это который у Анны?

— Девятый, — улыбнулся наконец и Дементий. — Четверых бог прибрал младенцами, но и остатка по моему положенью за глаза.

— Да, брат, — посочувствовал Миша, хотя в глазах его все прыгали веселые чертишки. — В вашей комнатухе семером не житуха. Строиться тебе надо. У меня покамест терпит, а тебе без своего дома — зарез!

— На какие шиши? — сдвинул седеющие брови Дементий. — Лесу выписать да привезти, плотников нанять, печника, а всей зарплаты на хлеб еле-еле...

— Сруб купи! — посоветовал Миша. — Поискать, так и недорогой где-нито по деревням вывернется. Помочь сделаем, лошади в школе справные. А печь я тебе складу, потом рассчитаешься. Обзаведенье: лавки, полки, табуретки — в своих руках. Тебе главно под крышу забраться, огород посадить да на корову накосить, а потом живи, не кашляй!

— Оно и верно... — задумался Дементий. — Надо, однако, к Стеблову сходить, не пособит ли сруб-то поискать. Затянул в эту Ясеньгу, зараза, как в петлю! А нас, дураков, только помани — сами голову сунем!

— Не велика петля! — возразил Клыков. — Вон раскулаченным, что лес валят в спецпоселках, вот тем петля была! С одними топоришками да ребятишками высы-

пали в лесу: принимайтесь к новому месту! А и то перебились, многие дома уж поставили в Ясеньге и в спецпоселках своих... Были бы руки да ремесло!

— Ремесло не коромысло! Плеч не оттянет, так руки вымотает,— невесело пошутил Дементий.

— Ты столяр по Ясеньге первый — худо ли?

— Худо! — загорячился Дементий, слегка захмелев.— Мне, может, по Москве бы первым быть, кабы не война! У самого князя Гагарина краснодеревщиком, можешь ты это понимать?

— Оно конечно,— поскреб Миша пятерней загривок.

— Я вот ныне паршивый столицко Широгорову клепаю, а раньше такие ли мастерили? Ты, знать, и не видывал какие: долгие, круглые, угольчатые, раздвижные, раскидные, об одной ножке, на тумбах, трехногие...

— Неужто об одной ноге бывают?

— Бывают.

— Ой, врешь, Демеша! Да как он, к примеру, стол, на одной ноге устоит?

— А хошь — сделаю?

— Не знаю, не знаю...— Миша лукаво посмотрел на приятеля,

— Увидишь! Не будь я Чужгин, коли стол об одной ноге в новую избу не поставлю!

— Рисковое дело! Ненароком опрокинется да пришибет робенка-то! — поддернул Клыков.

— Какого робенка? А-а...— будто с маxу налетев на препгаду, остановился Дементий и снова наступил:— Балабонишь все!

— Ничо, Демеша, не горюй! Ноне не одне бабы с брюхом-то ходят! Вейку знаешь, начальника столярки на клепочном? Поперек шире! Про него уж нескладуха ходит:

В промартели «Большевик»
Есть беременный мужик —
Вейка!

— Как бы нам с тобой, парень, не привелось к этому Вейке наниматься,— невесело усмехнулся Чужгин.— Что мое жалованье в школе — тьфу! У него в столярке, сказывают, мужики по три сотни выколачивают. Опять же на клепочном цех новый выстроили, спирто-порошковый. По всему видать, большими делами пахнет. Глядишь, из-за него по всему краю прогремит наша Ясеньга...

— И в леспромхоз, слышь-ко, рабочих набирают. Подвесную дорогу, на столбах-то которая, далеко протянули, чуть не к Горам. Ремонту всякого — пропасть! Опять же лесникам послабление вышли: и с налогом, и с сенокосом, и с дровами. Но я все одно не пойду. Не пойду и не пойду! Я, брат, конюх природный. От лошадей меня не оторвешь, с мясом ежели...

Но Дементий уже не слушал. Он поднял отброшенную доску, встал к верстаку.

Миша тронул друга за рукав:

— А ты, слышь-ко! Бабу-то к Годовичихе отправь. Она за милую душу любое брюхо опорожнит. И гора с плеч!

— Завелся, так пусть живет! — отрезал Дементий и размашисто провел по доске рубанком. — Естеству выход один должен быть, а не десять...

2

Перемыв посуду, Анна слила помои в ведро. Там уже лежали капустные очистки, разжамканная картофельная мелочь. Осталось добавить теплой воды и можно нести пойло корове. Налила медным ковшиком воды в чугун из деревянной кадушки, поставила чугун в печь. Остатки из кадушки выплеснула в оцинкованный таз. Замочила тряпку, взялась подтирать пол. Гелька стояла на лавке у стола. Упершись лбом в стекло, она глазела на улицу, где сломя голову носились ребятишки. Один из ее валенок валялся под лавкой, другой у печки, среди игрушек-чурбачков. Тонкие, как спички, Гелькины ножонки посинели от холода.

— Ты, поскакушка, почто катаники середи полу кинула? — забранилась Анна. — Ишь, лытки-то заморозила! Ну-ко, полезай на печь!

— Не над на печь! — скучилась Гелька. — На улку подем...

— Пойдем, пойдем с Гелюшкой на улку! — подобрела Анна. — Вот ужо посидишь на печке, погреешься, да и пойдем... — она едва подняла дочь на высокую печь: внутри тяжело потянуло, к горлу подступила тошнота.

— Мам! А я тоже с блюхом! — похвасталась Гелька. — Во какое, гляди!

Дочка изо всех силенок надулась, выпятив живот.

— Вишь, чего выдумала! — сквозь смех вымолвила

Анна.— Никому боле не говори эдакое, ведь всю тебя обхочут!

Анна сходила на кухню, сняла с полавочника глиняный горшочек, захватила горсточку гороха и высыпала Гельке в подол:

— На, похрупай.

Поставила на лежанку Гелькины валенки, взялась было за тряпку, но тошнота не унималась, и Анна, побледнев, опустилась на лавку. Никак не ждала она этой поздней беременности, да что ты станешь делать! Не выплюнешь. Обиднее всего, что Дементий попрекнул, будто не сам виноват! Девятого понесла — легко сказать! А ему все как с гуся вода. Завез в какую-то Ясеньгу, одна и слава, что станция: радуйся по ночам гудкам паровозным!

Нет, не о такой жизни мечталось Анне восемнадцать годов назад, когда убежала из родительского дома к Дементию. Подружки глаза выпучили: первая-то красавица, Люлинцева, на старика польстилась.

Ненароком выглянув в окошко, Анна тут же забыла свои горькие думы: Гришка, весь вывалянnyй в снегу, шел от берега речки Ясеньги, размазывая по лицу слезы. Со штанин его сочилась вода.

— В реку, кажись, провалился, дьяволенок! Ну, приди только, дам я тебе деру!

Ясеньга, с берега которой катались ребятишки на санках, — речушка мелконькая, но быстрая до того, что местами не замерзала даже в лютые морозы. Как раз там, где зловеще чернели промоины, берег самый крутой да приманчивый для ребятишек: разгонят санки, и перенесет их через промоину, будто на ведьмином помеле. Конечно, раз на раз не приходится — купались.

Гришка протопал по лестнице, с ревом открыл обиющую тряпьем дверь и встал у порога: маленький, жалкий, полы расстегнутого полушубка обледенели.

— Чего орешь? — Анна поднялась с лавки.

— В реку провалился-а-а! — взвыл Гришка еще громче, стряхивая с плеч мокрый полушубок.

— Ох ты, бес ты! Вот божье-то наказанье! Снимай катаники! Да не лямзай ты по всему-то полу!

Не вытерпела, шагнула к Гришке, прижала его к животу, оторвала от пола, сдернула пудовые валенки, в которых еще хлюпала вода, расстегнула и стащила

мокрые штаны. Жесткая рука матери трижды звонко приложилась к тощему Гришкиному заду:

— Кому говорено: не катайся на Ясеньге! Кому говорено! Кому! Полезай на печь! Живо!

Гришка, подывая, но радуясь в душе, что легко отдался, мигом забрался на печь. Серые глаза его возбужденно горели: он все еще ощущал жуткое мгновенье, когда санки скользнули под лед. Они и спасли Гришку: наступив на длинный копылок, он оттолкнулся и плашмя вывалился на крепкое, а санки от того толчка совсем забились под лед, подгоняемые резвой струей. Беда, санки-то чужие...

Гришка зябко вздрогнул, взял с Гелькиного подола несколько горошин, кинул в рот. «Мамке не стану сказывать,— подумал он.— Тяте скажу тихонько. Сделает тятя санки-то, он умеет...»

— Ма-ам! А Глишка у меня голосины белет! — наябедничала Гелька.

— Ужо вот я вицу возьму, за все разом налуплю,— пригрозила Анна. Она в минуту развесила сушиться Гришкину одежонку, споро подтерла крашеный пол, оделась и, выйдя в сени, приоткрыла дверь в соседнюю комнату, к девчонкам:

— Даши! Погляди за робятами, я по воду схожу!

— И я на улку! — заныла Гелька, когда Анна загремела на кухне ведрами.

— Погоди маленько, мы с тобой, Гелюшка, за картошкой в яму сбродим!

Подхватила ведра, коромысло, спустилась на улицу, а там большой дорогой мимо сельсовета направилась к мосту через Ясеньгу. Сбоку, у самого моста вырубили мужики в заледенелом снегу ступеньки. Заплесканные водой, они стеклянно сверкали под весенним солнцем. Анна осторожно спустилась вниз, к прорубям. Их было две: из одной, выше по течению, брали воду на питье, в другой, нижней, рядом с пожелтой ледяной ступкой, полоскали белье. Анна зачерпнула воды, поставила ведра и оглядела пустой берег: саночники разбежались, знать, всех напугало Гришкино купанье.

Здесь, у проруби, обессиленный ветер падал мягко, ласково гладил кожу. Снежные извины берега слепили глаза. С высокого, будто умытого синью неба всех и все щедро оплескивало солнце, и в душе Анны вдруг шевельнулось давнее, девичье. Так же, бывало, стояла

она у проруби на быстрой и светлой Ожеге, радуясь неизвестно чему. И на той реке, и на этой была она, ее тело, ее душа, но между той и этой Анной пролегли сто верст, восемнадцать лет и девять беременностей. Обманул, напрасно обнадежил когда-то теплый мартовский ветерок, не выдул, не принес счастья на легких крыльях...

Анна вздохнула и, размягченная, добрая, качнула головой: о чём подумалось-то, о счастье! Счастье не молоко, из коровы не выдоишь...

Она подняла коромысло с ведрами на плечо, побрела к ледяным ступенькам. Выбравшись из-под угора, нос к носу столкнулась с маленькой горбатой старушонкой по прозвищу Годовичиха.

— Здравствуй, бабушка! Далеко ли правишься?

— Не говори, кормилица! — Годовичиха сокрущенно махнула рукой. — Сотона-то, Широгоров-то, в сельсовет звал. Чего, грит, бабка, в энто... в либез не ходишь? А по кой леший? Жизнь прожила без грамоты, как на том свете не начитаесse! Выдумал — либез, прости господи! Штрафом грозил, вот, матушка, до чего дожила! Ты-то какова? Что не зайдешь никовды, не посидиш?

— Ой, бабушка, опнуться некогда, эстолько ребятишек, да корова, да теленчишко... Всех ведь накормить-напоить надо!

— Выбирай, матушка, времечко, выбирай, да поскорее. Неминучая тебя ко мне приведет...

Анна вздрогнула. Из ведра под ноги Годовичихе плеснуло с ложку воды.

— Может, и приду, — чуть слышно сказала она.

— Вот-вот, славутница, приходи. Ну, с богом!

Домой Анна поднялась сама не своя. Отколь узнала бабка, ежели ни единая душа, кроме Дементия, не ведает, да и не заметно пока ничего? Неужто сам за советом к Годовичихе бегал? Нет-нет, нечего и выдумывать, не таков Дементий. Видно, догадалась, не зря по поселку ворожеей слывет. Поговаривали, будто ходили к ней девки вытравливать плод, да, может, пустое плетут? Нет, видно, не пустое, коли зовет. А что, ежели попробовать? Куда на старости лет грудняшка, на что? И без него из кулька в рогожку завертываешься... Нет, стыд и грех!

Она вылила воду в кадушку, заглянула на печь: Гришка с Гелькой, угревшись, крепко спали, сунув под

головы старое тряпье. Шестиклассница, рассудительная не по годам Даша помогала Верке учить уроки.

— Отец не приходил? — спросила Анна.

— Нет, он в столярке с дядей Мишой, — ответила всезнающая Верка. — Мне Фирско Клыков сказывал.

Анина нахмурилась, взяла большую корзину: надо было принести из ямы картошки.

На задах сельсовета когда-то вырыли небольшой карьер, брали песок на ветку узкоколейки, что тянулась от биржи с берега сплавной Куны к клепочному заводу. Теперь карьер забросили, летом он затягивался низкорослой редкой травой, а в крутых стенках его ясенгские жители вырыли землянки, поставили в них срубы, обшили досками, навесили толстые амбарные двери, и получились зимние ямы-погреба, в которых хранилась картошка да разная огородная овощь. Прошлым летом выкопал яму и Дементий: она кидалась в глаза дверью в ладонь толщиной. Раньше, сказывают, двери в ямах не запирали, но после наезда в Ясеньгу пришлых людей изо всяких дальних краев повесили тяжелые замки, потому как голод — не тетка, многие тянули, что худо лежит.

Анна отперла тугой замок и, сунув ключ в карман телогрейки, или «оболочки», как она ее называла, зашла в погреб. Там были вторые двери, уже без замка, сделанные для тепла, чтобы не заморозить картошку. Перед ними лежал большой пук сухой луцины. Прихватив пять луцинок, Анна опустилась в яму, зажгла лучинку от спички и, воткнув ее в щель между досками, склонилась над сусеком, накладывая картошку. Корзина почти наполнилась, когда снова кольнуло в животе: резко, больно. Она выпрямила затекшую спину, будто прислушиваясь к себе, зажгла от догоравшей луцины новую.

«Одурела, баба!» — некстати вспомнилось обидное слово мужа, и две слезы, одна за другой, капнули в сусек. «Стареет, видно, Демеша. Смолоду-то все шуткой да лаской, а теперь, вишь, и покрикивать стал, — подумала Анна. — Оно конечно, и ему не мед с такой оравой, один работник на всю семью. А все обидно...»

«Неужто и Сережа таким бы стал? — пронеслось в голове. — Как любил-то меня! Так и Дементий — не любил разве?»

Ищи вот у судьбы правды: младший на войне загинул, а старший прикатил без единой царапины. И сразу — к ней! Глядеть сперва на Демешку не могла, а он все с шуткой, все смехом. Выйдут с посиделок, ночь после покрова — глаз коли. Дементий хохочет:

— Ну беда, черная корова весь мир оборола! А нам на что корова, была бы жена здорова!

Днем встретит, разулыбается — вылитый Сережа! Куда и годы спрячет, ведь не молоденький уж был, тридцать четыре стукнуло. На гармонье научился играть, знал, что поглянется это Анне. Неделя за неделей — стал двоиться Сережа в Аннушкином сердце и все боле походить на Дементия. И так думала: сама-то тоже перестарок, двадцать шестой подкатил. Скольким женихам отказалась, пока Сережу ждала? Не много теперь охотников до старой девки, хоть и красотой не обижена. Опять же Дементий столяр первой руки. И не стала Анна перечить, когда сказал Дементий, что придет свататься, хоть и бежало время страшное, кончилась одна война, началась гражданская.

С чем пришел Дементий, с тем и ушел. Ни в какую не согласился старый Люлинцев отдать дочь за ненадежного человека, который всю жизнь по городам ошивался, а добра не нажил. Тут-то Анна и показала свой норов: без родительского благословения, собрав в узелок девичьи прибаски, перебралась к Чужгиным.

Жалела ли после? Всяко бывало...

Пугал ее временами Дементий хмуростью, все думала, ревнует к убитому брату. Но хоть и боялась, что не сладится жизнь, а в обиду себя не давала, и когда подпивший муж поминал старое, обрывала махом:

— Никто тебя не неволил самоходкой вести.

Не зря говорится: стерпится — слюбится. В трудах до седьмого поту, в заботах сроднились Дементий с Анной, как изба с печью. Потом ребятишки пошли, и вовсе забылось девичество, отошло в безбольную светлую память, куда и себе доступ только по большим праздникам, а о других — чего говорить!

Горше всего донимало, что отец простили только перед самой смертью.

А смерть в те годы ходила из дома в дом, как досужая баба. Двое первенцев Анны не прожили и года. Над третьим ребенком, над Дашенькой, тряслась, как над иконой, — выходила.

Дементий же будто торопился истратить всю накопленную за длинное холостяжество мужскую силу: Анна беременела чуть не каждую зиму. После Дашишки родился Николай, умер на первом месяце. Не выжила и девочка, которая появилась после него. В двадцать пятом принесла Гришку. Этому повезло: в чем душа держится, а растет, тянется, третий класс скоро осилит. Двумя девчонками после Гришки обзавелась — Веркой да Гелькой, а теперь-то кого бог дает?

И вторая лучина догорела. Анна не успела прижечь новую, вслух обругала себя:

— Ой я полоротая, все из рук валится!

Зажгла лучину спичкой, быстро кинула в корзину из маленького сусека три брюквины, редьку, с десяток морковин. Лук у нее висел дома на кухонной стене. Подняв корзину, выставила ее из ямы на снег, притворила внутреннюю дверь и затыкала щели соломой: хоть морозов больше не ждали, а мало ли? И семенная картошка в яме, не дай бог, прихватит! Закрыв наружную дверь, повернула ключ, подергала, — замок заперся. С пудовой корзиной еле одолела крутую лестницу на второй этаж интернатского дома.

Ее ждали. У порога окружили все четверо, толкаясь, проводили в кухню.

— Мам! Дай морковнику!

— И мне!

— И мне!

— А мне брюковку, ладно, мам?

— Да погодите вы, нетерпелые! — отмахивалась Анна. — Ужо вымою, так и дам по морковине.

— А брюковку? — тянул Гришка.

— Кто дров-то носил? Ты, Даша?

— Гришка волочил, — краснея ответила старшая.

— Ему-то не стоило бы сегодня и давать, заброде, да уж на свою брюковку, раз дров наносил. — Из рыльца висячего медного рукомойника Анна ополоснула самую большую брюквину, протянула Гришке. — Очистишь, так поровну, гляди, раздели!

— Да я уж знаю как! — обрадовался Гришка, забирая с кухонного стола-тумбочки ножик.

Оделив ребятишек морковкой, она затопила печь, поставила ближе к огню чугун картошки, крикнула, отворачиваясь от жара:

— Дашка, за хлебом ходила?

— Взяла две буханки черного!

Анна вспомнила, что кончается чай и сахар, но денег у нее оставалось только на хлеб. Придется отдохнуть самовару. К завтрему брюквы попарит, а вместо чаю молока похлебают...

Наказав Даше глядеть за печью, скидала в ведро брюквенные очистки и морковные, с прозеленью, головки, налила теплой воды, размешала рукой. Мучки бы сыпнуть, корова-то отелилась недавно, месяца еще нет, только где ее взять, мучку-то? Не в деревне живешь, из сусека не нагребешь. Сняла с полицы подойник, прихватила ведро с пойлом, пошла к корове.

С переездом в Ясеньгу вся жизнь Анны вертелась вокруг сельсовета. Школьный интернат, где жили,— с одного боку, картофельная яма — с другого, вода — с третьего, а хлевишко, отданный Чужгиной,— с четвертого. Гнездился хлевишко обочь реки, на краю огородных учительских грядок.

Когда год с небольшим назад переезжали они из родной деревни, Дементий не хотел вести корову, но Анна поставила на своем и теперь не могла нарадоваться. Куда бы им тут без коровы? Всех ребятишек перетаскали бы на тот берег Ясеньги, на церковное кладбище.

Отела-то нынче ждали, как Христова праздника, по десять раз на дню забегала Анна в хлевушку, гладила свою Боденушку по тугим бокам. Теленка принимали вдвоем с Дементием. Анна все ругалась: худо законо-патил щели — заморозим теленчишка. После отела, как водится, поднесла корове на большом блюде самолучшего сенца да горбушку хлеба с солью, выдоила молозиво и напоила телушку. Всю ночь проканителились, а рада! Одно худо: молочным налогом огрузили, половину уюда надо снести на маслозавод.

Услышав хозяйку, Боденка повернула рогатую голову.

— Боденушка, хорошая ты моя, иду, иду, милая! — ласково приговаривая, Анна поставила перед коровой пойло, присела на скамеечку — доить. Молочные струйки с нежным звоном ударились в дно, в стенки подойника, и ей стало легко, покойно. Сколько помнила себя, все ходила она за коровами: у отца стояло три, да и Чужгиной, пока жива была свекровь, двух держали. После смерти матери Дементий порешил оставить одну корову, другую же продал в соседнюю деревню. А посту-

пил в семилетку инструктором по труду, так и лошадь порушил.

— Мы теперь интеллигенция! — припечатал чудным словом недовольство неграмотной Анны. — Держаться за частную собственность нам негоже. Новую жизнь строить станем. Чтобы брюки трещали в шагу!

— Ну, треснут, так и ходи в рваных, — поддернула Анна. — Новые-то без коня не скоро справишь!

А последнюю корову все-таки не отдала, ухранила свою Боденушку. Хоть летом все жилы вымотали на школьном покосе. Немало сена надо: школа пять коров содержит да трех лошадей, а еще учителя многие со своей скотиной. Волей-неволей месяц сенокосить пришлось обоям. Не откажешься: оба они при школе.

Изобиходив и накормив скотину, она вернулась домой уже на вечеру. Резко похолодало, звезды игристо высыпали на темно-синее, будто бархатное, небо. В комнате скакали одни девчонки.

— А Гришка где? — испуганно спросила Анна, поставив на пол почти полный подойник.

— Они с тятей на реку ушли, — ответила Даша.

— Еще не легче! Это почто?

— Гришка широгоровы санки подо льдом утопил! Доставать станут! — разулыбалась Верка.

Даша незаметно ткнула ее кулаком в бок, и та прокусила язык, но было поздно.

— Вот сатана! Не знала я, всю бы шкуру спустила! Излуплю! Ну-ко, чужие санки утопить — шутка дело?

Расстроенная Анна процидила молоко в кринки, налила по кружке девчонкам. Повернула в печи чугун с картошкой, попробовала: картошка упрела. Обжигаясь, вытащила пять картошин в блюдо, подала Даше:

— Снеси девкам, опять, поди, голодом сидят. Да лампу засвети!

Даша благодарно посмотрела на мать, заторопилась с парящим блюдом в сени, к интернатским подружкам.

На лестнице загрохотали обледенелыми валенками. Вошли Дементий с Гришкой. Стали раздеваться. По их довольным лицам Анна поняла, что санки достали. От сердца отлегло, зло на Гришку растаяло, как тонкий ледок, но для порядку поругалась:

— Что, шаромыжник, станешь у промоинны кататься? Я вот еще раз увижу, так покажу, где раки зимуют! А кабы заместо санок-то сам унырнул?

— Достали бы! — засмеялся Дементий. — За катаник багром бы зацепили да и повесили на солнышке сохнуть, верно, Гришка?

— Тебе все смешки! Утонул бы парнишка...

— Да ведь не утонул! Готов ужин?

— Готов, стелите скатерть.

За едой, при колеблющемся свете керосиновой «семи-линейки» Дементий сказал, что надумал искать готовый сруб в окрестных деревнях. По блеску в глазах, по едва уловимому запаху Анна поняла, что он выпил.

— Дом за так не отдадут! Платить надо, а ты все виннище дуешь!

— Полно, мать! — виновато сказал муж. — Миша Клыков четвертинку принес...

— А тебе где утерпеть! Медом обмазана!

— На сруб скоплю! — набычился он, и Анна поняла: пора отступиться.

За столом все молчали. Дементий отложил ложку и, будто уж в который раз прикидывая, стал загибать пальцы:

— Семенов за шкаф не рассчитался, Широгорову стол сегодня доделал, выкрасил, осталось лаком покрыть, — тоже копейка. К будущей весне как-нибудь сгношимся, а готовый сруб за лето поставлю. Печь Миша Клыков сулился скласть. Переьемся! Не сразу и Москва строилась, верно, Гришка?

Но сердце Анны жала тревога. Еще год-два тесниться в комнатенке, где и сейчас-то не повернуться, а с маленьkim как? Ох, Демешка, Демешка! Только бы ляпать языком несуразное... Вслух ничего не сказала, вздохнула и заставила девок убирать со стола, сама принялась стелить постели. Принесла с коридора два холщовых матраса, набитых соломой, кинула рядом со столом. С деревянной кровати, что стояла меж столом и дверью, сняла кудельные подушки, ватное стеганое одеяло, пристроила на матрасы. Потом полезла на печь, изладила лежанье для Гельки. Откинула одеяло на кровати, где спали они с Дементием, проверила, не пора ли закрывать печь. Оказалось, рано, и она обрадовалась: на оставшемся жару еще сварится суп на завтра. Принялась чистить картошку, засветив чадную коптилку на кухонной тумбочке.

Из комнаты доносился дружный смех, звуки ребячь-

ей возни, и в груди Анны снова потеплело: живут! Худо ли, бедно ли, а живут! Дасть бог, и будут жить.

Ребятишек веселил Дементий, загадывая загадки:

— А иу отгадайте: старая старуха, без рук, без ног, а на стену лезет?

— Баба-яга! — крикнула Верка.

— Сиди! — засмеялся Гришка. — Она без рук, без ног, что ли?

— А я знаю! А я знаю! — захлопала ручонками Гелька.

— А знаешь, так скажи! — подзадорил младшую Дементий.

— Бабушка Годовицхах, вот!

Изба затряслась от смеха.

— Ну а ты-то знаешь? — спросил отец Дашу.

— Знаю... — застенчиво улыбнулась она. — Пыль.

— Верно, дочка! Ладно, давай позаковыристее...

Стонт старик над водою да трясет бородою.

— Леший!

— Кой леший? Водяной!

— Это Синерог белье полошет!

Едва проходили. Приехавшего с юга Семена Синерога видели на Ясеньге за бабьим делом, и с тех пор ему не было проходу, все поддергивали старика.

Загадку отгадал Гришка.

— Камыш!

— Правильно. А скажи-ка...

Анне с кухонки все было слышно, она и сама раза два рассмеялась, особенно над Синерогом, представив, как трясет он жидкой бороденкой над прорубью. И вдруг крикнула:

— Ну-ко, мою-то отгадайте! Четыре четырки, две растопырки, седьмой — вертун!

Над этой загадкой маялись долго, пока Дементий, сжалившись, не подсказал:

— Ишь, раздумались! Корову не угадали!

Не знать, сколько сидели бы, да Анна, обрядившись и закрыв печь, разогнала всех по постелям.

Ночью, когда дружно засопели во сне ребятишки, она шепнула мужу:

— Чего мне делать-то, Дема?

— А ничего, — тоже шепотом ответил он, сразу поняв, о чем речь.

— Страх долит... Не шутка в эки годы робенка поднять. Что, ежели к Годовичихе сходить?

— И не выдумывай! Выкинь из головы! Носи, знай, всем места хватит. Завелся, так пусть живет! — повторил Дементий слова, сказанные днем Клыкову, и мягко обнял жену.

3

Летом, после сенокоса, Дементий дневал и ночевал в мастерской: скопилось много работы. В один из августовских дней забежал к нему директор школы Стеблов. Пролетел вдоль барака, остановился у верстака, где Чужгин обстругивал тоненькие бруски.

— Не пойму, чего и мастеришь.

— Пустяковина, — уклончиво ответил Дементий. — Так, для забавы...

— Ты гляди, Ильич, не шибко ограбайся с заказами. Понимаю: зарплата маленькая, а народ в Ясеньгу валом валит, строится, мебель требует. Но у нас не частная лавочка, могут указать, так что только с моего разрешенья...

Все обиды вспыхнули разом. Отшвырнув рубанок, Чужгин просверлил директора взглядом:

— Колочусь, так на то и отпуск, не в рабочее время! Ты чего пришел, Михаил Иванович? Замечанья мне делать, али, может, квартиру предлагать станешь?

Стеблов примирительно засмеялся:

— Ну полно, полно! Мы с тобой, Ильич, не первый день знакомы. Обещал квартиру — сделаю. Погоди малость!

— Другой год гожу... — проворчал Дементий, отмякая: любил, когда не поднимали перед ним хвост, не кочевряжились, а чтобы уважительно. — Еще один до трехто остался...

— Думаю рубить большой дом для учителей, — Стеблов повертел в руках гладко обструганный бруск, все пытаясь догадаться о его назначении. — А я тебя хотел попросить парты изладить, которые ломаные, до начала-то учебного года.

Как и все учителя, Дементий считался в отпуске, на каникулах, да месяц уж вылетел на школьный сенокос, теперь Стеблов подбирался ко второму. Заметив, как

насупился Чужгин, директор прислонился к окну, сказал равнодушно:

— В газетах подпиську объявили на заем пятилетки...

Разговор вроде бы переменился, но оба понимали, что он тот же самый: столяру не миновать подписываться на заем, денег же и без того кот наплакал, волей-неволей надо было соглашаться на ремонт, чтобы хоть по счету получить какие-то копейки.

— Ладно,— буркнул Дементий.— Завтра начинать?

— Можно и завтра,— повеселел Стеблов, подошел, хлопнул по плечу,— а сейчас иди-ка ты, Ильич, переодевайся, да с бредешком пробежим. Хоть рыбкой свое семейство накормишь.

— С кем бродить-то ладиши?— Дементий заметно оживился: рыбачить он любил.

— Котов с Широгоровым смилили. Так что подграйся к курье за сельсоветом, оттуда до устья Ясеньги пробулькаем, может, чего и попадет.

Чужгин стал развязывать фартук. Настроение поднялось. Не шаромыжники в компанию приглашают — начальство. Широгоров — председатель сельсовета, Котов — начальник почты, Стеблов — директор неполной средней школы, а кто он, Дементий, ежели разобраться? Столяр — мало ли столяров! Он убрал подальше легонькие бруски — заготовки к детской кроватке-качалке: зыбку младенцу в интернате вешать не хотелось, да и Анну, кроме как своеручной поделкой, порадовать было нечем.

Дома жена нашла ему старые холщовые штаны и заплатанную рубаху, достала с полатей крепкие лапти. Двигалась она бережно, неторопко. Ребятишек дома не случилось.

— Сумку давай! — попросил Дементий, обувая лапти на босу ногу.

— На сарае возьмешь по пути. Долго-то не шляйся. Уху станете варить?

— Там видно будет...

— Гляди, Демеша, не пей!

— Какое — пей! С начальством пойдем, а оно пития боится.

— Не пронесет мимо рта твое начальство!

— Не болит? — показал Дементий глазами на живот.— Ухрясталась на сенокосе-то...

— Ничего, слава богу.

— Ну, вроде все! Пошел!
— На Куну в омута не суйтесь!
— Не бось!

Тропкой мимо сельсовета, огородом меж учительских грядок Дементий спустился к излучине Ясеньги, перебрел по перекату, едва замочив лапти, и зашагал берегом вниз по течению. У кури, круглой, как пятак, заводи, отгороженной от реки узкой песчаной косой, начальник почты Иван Котов раскатывал по траве бредень, глядел куль на свет — искал дыры. Он тоже был в лаптях на босу ногу.

— Здорово, Дементий Ильич! — протянул Иван короткопалую крепкую руку. — А Стеблов где?

— Переодевается.

— Прособираются до морковкина заговенья, едрена мать! Ну-ко глянь с той стороны, не дыра?

— Дыра и есть.

— Изопрел бредешок-то, скоро год, как в сеннике лежит. Ладно... — Котов выдернул из кармана клубок суровых ниток. — Подержи-ка...

— Чего на свете новенького? — спросил Дементий, растягивая бредень так, чтобы удобнее было латать прореху.

— Да чего новенького? Летчики наши вон отличились, сегодня в газете прочитал. Чкалов, Беляков да Байдуков. Из Москвы аж до Петропавловска-на-Камчатке пролетели. Звания Героев Советского Союза всем троим присвоили. Премии выдадут: Чкалову тридцать тысяч, остальным — по двадцать, в указе объявлено.

— Везет людям! Не придется из куля в рогожку заворачиваться!

— Ясно, не наша беда. Но и то сказать: попробуй-ка без посадки-то! Сколь раз гробанутся могли.

— Оно так. Без риску, так пешком, милое дело. Зато и премию не отвалят. За две-то ноги...

В разговорах не заметили, как подошел коренастый Широгоров — в костюме, в сапогах, в кожаной кепке. Чрез плечо у председателя висела вместительная кожаная сумка с застежкой — под рыбу. Три черных кожаных пятна — сапоги, сумка и кепка — придавали Широгорову начальственный вид даже здесь, на берегу. Левой рукой он нес ведро, в котором стеклянно позыванивало. Ноша явно смущала председателя, он с облегчением

шием сунул ведро в траву возле раскатанного бредня, спросил, не здороваясь:

— Латаете? С эдаким гнильем лишку не изловишь...

— Что свой-то не принес? — возразил Котов, затягивая последний узелок. — Сказывали, новый спел?

— Это кто же, интересно, сказывал? — взъершился Широгоров. — Кому-то, виши, спокою не дают председательские занятия. Все выглядят да обнародуют!

— Народ ноне глазастый! От него, председатель, и на полатях не ухоронишься!

— Вон и Стеблов идет, — перебил Котова Дементий, приметив на берегу высокую фигуру директора школы. Стеблов шел без кепки, гладко зачесанные прямые волосы его поблескивали под полуденным солнцем дегтярной чернотой. В руках он нес большой сверток. При виде этого свертка Дементию стало не по себе. Выходит, он один приперся на рыбалку с голыми руками: Котов принес бредень, Широгоров ведро под уху да горячительное, Стеблов, по всему видать, тащит закуску, а он... хоть сквозь землю провались.

— Может, я тут и ни к чему? — улучив момент, тихо спросил он у Стеблова. — Вас трое в аккурат: двое с бреднем, один на загонку...

— Думаешь, Степу Широгорова в воду затолкаешь? — усмехнулся Стеблов. — Виши вырядился, хоть на трибуну! Да ты не расстраивайся, я за тебя пай в складчину внес, потом рассчитаешься...

Разделись: Дементий с Котовым взялись бродить, Стеблов — загонять рыбу длинным колом, Широгоров — носить поклажу и улов.

Первый заход под кустами ниже кури обескуражил: в куль не попало ни единой рыбешки.

— Наше счастье — вода в бредне! — засмеялся Котов, выкидывая из куля траву и тину.

— А ты не зеворонь! — внушительно сказал Широгоров. — Пошире захватывай!

— Не учи ученого! — огрызнулся Котов. — Пошли, Дементий Ильич, вон к той лывии, попытаем...

Бредень повели снизу, против течения.

— Заворачивай! — приглушенно приказал Котов, и Дементий, торопливо переступая, скользя лаптями по гальке, завернул свой край бредня от середины Ясеньги, булькая в воде ногами, чтобы рыба из заливчика не проплыла под берегом.

— Гони! — азартно крикнул Стеблову, и тот с маxу стал утюжить заливчик колом.

На сей раз повезло: в куле толсто засеребрилась сорога. Когда вытряхнули улов, под ярким солнцем за-прыгали, забились, шевеля траву, несколько щурят, де-сятка два сорожин, крупный окунь.

— Другой коленкор! — обрадовался Широгоров, спо-ро кидая рыбу в сумку. — А то бродите, как худые ку-рицы!

— Больно удал, так становись на замену! — обидел-ся Котов. — С берега-то покрикивать просто!

— Да будет вам! — вмешался Дементий. — Давай, Иван Федорович, у кустиков на устье пошарим. Гово-рят, куст да коряга — рыбаку навар!

Вливаясь в Куну, Ясеньга расплескивалась широко и мелко, намыла стадо песчаных островков, которые уже затягивались тальником, редкими, изжелта-белыми тра-винами. Когда солнце на минуту ныряло за облако, во-да резко тускнела, и в темной полировке ее нежно от-ражались и островной песок, и тальниковые кусты, и редкие эти травины. В протоках рыба попадала густо, лишь раз вовремя не успели подсечь бредень, и боль-шая щука чуть ли не из рук.

— Раков вам задницей ловить, а не рыбу! — ругался Широгоров, бегая по берегу.

— Не ори под руку, ей-богу в воду кину! — вконец озлился на председателя Котов.

Забрели еще пару раз по Куне, ниже устья, — ока-залось глубоко и вязко. Большого улова не взяли, но и жаловаться было грех: Широгоров уже гнулся на бе-регу под тяжестью двух сумок с рыбой.

Костер развели в редком березняке на крутом бе-регу Куны. Разделили добычу, скидали в сумки, набив их крапивой, чтобы улов не протух. Дементий взялся по-трошить остатки рыбы на уху, опустился вниз по тече-нию на песчаный мыс. Чищеную рыбу высыпали в вед-ро, где ключом кипела вода. Хлеб, зеленый лук, ложки, кружки сложили прямо на траве у вывернутой с корнем березы. Накинули подсохшие на солнце рубахи, чтобы меньше досаждали мухи, сгрудились у ведра и, приняв по чарке, навалились на уху.

— Ты не слыхал, Степан, чего в Максимовской-то стряслось? — спросил Стеблов председателя сельсовета.

— А... Дурость! — отмахнулся Широгоров.

— Добра дурость! — Иван Котов отложил ложку, достал папиросы.— Беременную бабу до могилы довели.

— Как это?

— Да больно просто. Пришла к тамошнему председателю колхоза лошадь просить до больницы в Ясеньгу — родить, виши, прижало. А тот уперся и ни в какую: не дам и все! Что, мол, за баловство — рожениц по больницам возить! А баба-то, видно, тоже с норовом. Собравшись да пешком за восемь верст. На волоку и родила...

— Ну так и что! — возразил Широгоров.— Больно все хлипкие стали при Советской власти. Меня вон мамка-покойница под стогом родила, да живу!

— Ты живешь, а младенец-то помер. И бабу не спасли...

— Умерла? — ахнул Дементий.

— Вчера. До больницы-то доползла, да кровища много вытекло. Сказывали, ничего не могли сделать.

— Как уж одну-то отпустили на сносях?

— Мужика дома не оказалось, где-то в лесу ли, у озера ли сенокосил. Вот она и пошла.

— А кто там председателем?

— Ершов Коля,— неохотно ответил Широгоров.— Дурак дураком.

— Знамо, дурак, коли лошадь пожалел. Это надо — две жизни порешить! — возмутился Стеблов.

— Не мало их таких-то, пустоголовых! — сказал Дементий.— Помнишь, Михаил Иваныч, как ты меня в школу звал работать в тридцатом году?

— Еще бы не помнить!

— Ведь тогда хотел в колхоз. А как выбрали председателем Олеху Мурина, нараз отвернуло меня от колхоза. У Олехи и в своем-то огородишке ничего, кроме лебеды, не росло. Крыша провалилась, в окнах бычья пузыри распялены. Безрукой мужичонко...

— Зато ты, Демеха, силен! — перебивая, захочотал Широгоров.— Сколь тебе ноне стукнуло?

— Пятьдесят два... — недоуменно ответил Дементий.

— Виши, через полсотни перевалило, а робенка смастерили! Как и приспособился-то в эдакой комнатешке? На полатях, поди?

— Не слушай его, Ильич! — видя, как напрягся Чужгин, ласково сказал Котов.— Давай-ка лучше спросим председателя, с каких-таких рыжиков у Вали, уборщицы-то сельсоветской, брюхо пухнет? Вроде вдова...

— У меня нечего спрашивать,— надулся Широгоров.— Тебе интересно, так сходи к ней да и спроси. Ишь, следователь нашелся!

— Убежал ты, выходит, из колхоза? — спросил Котов Дементия, словно не замечая председательского недовольства.

— Не то чтобы убежал, а вот... Неужто, думаю, этот дурак Олеха мной командовать станет? Был бы хозяин!

— Да, хозяйственных-то мужиков лишковато раскулачили по те годы... — Котов прижег в костре травинку, прикурил папиросу.

— Ты, Ванька, говори, да не заговаривайся! — вскипел Широгоров.— Раскулачили кого надо, врагов власти!

— Полно вам, мужики, не по делу-то цапаться! Не на позициях! — Дементий пошевелил угасающий костер, встал.— Схожу сушняку поищу...

— А что, неправда, что ли? — не унимался Иван, провожая взглядом сутулого Чужгина.— Были кулаки, верно, признаю. И работников держали, и мельницы имели, и процент большой за долги тянули. Тех не жаль. Только под эту марку по злобе-то людской сколь мужиков загинуло? Не поглянется какому-нибудь Олехе сосед — готово дело, занесли в список, а там кулаком-то и не пахло!

— Кого раскулачивали, тот и есть кулак! — стоял на своем Широгоров.— Сколько их, раскулаченных-то, к нам в Ясеньгу нагнали в спецпоселки? И с Украины, и с Поволжья, и черт-те откудова! В глаза ни один не поглядит, спит и видит обрез в руках! И душа у них паршивая, волчья.— Он выплюнул рыбью кость.

— Осенесь бочка мне под капусту занадобилась. Я в столярку на клепочном, бондарь там есть, Молчальник по фамилии, тоже из выселенцев, которым в поселок переехать разрешили. Сделай, говорю, бочку! Куда! Зыркнул черным глазом: «Нэма время!» Отказал, стало быть. Ну, ладно. Бочку мне все одно сколотили в другом месте. А недавно заявляется этот паршивец в сельсовет: отведи, бога ради, Степан Петрович, место под усадьбу — строиться хочу. Ага, думаю, строиться так у тебя время нашлось, а бочонок Степану Петровичу связать некогда. Спервоначалу хотел я его наладить подале, потом стукнуло: устрою же я тебе, кулацкая морда,

веселую жизнь! Стройся, пожалуйста, говорю. По плану у нас улица от клепочного завода за узкоколейкой вдоль берега Куны. Вот сразу за узкоколейкой тебе и место!

— Да ведь там болотина — кони тонут! — ахнул Стеблов.

— А мое дело десятое. Не хошь, не стройся, а только места другого для тебя нет. Почекнел весь, с лица сменился, требует: пиши бумагу. Написали, жалко, что ли...

— То-то, я гляжу, Молчальник этот все канавы роет, — сказал Стеблов. — Думал, от завода наряжают, чтобы узкоколейка в болото не садилась, а оно вон что! Усадьбу, выходит, осушает. Н-да...

— Кругло Молчальнику твой бочонок повернулся! — Котов пристально посмотрел на Широгорова, присел на корточки у костра. — А ежели бы сколотил он тебе бочку-то?

— Ежели бы сколотил, так и разговор бы другой. У всякой улицы два конца, и починать можно с любого.

— Ишь ты! Мы тут сидим с тобой, Михаил Иванович, и ведать не ведаем, что в Ясенгском сельсовете взяточник объявился.

Широгоров поперхнулся ухой, с пьяным изумлением уставился на Ивана. Потом постучал себя по лбу:

— Думай, чего городишь-то!

— Вот я и думаю. Взятки, они ведь не деньгами только. И по всему выходит, что зря тебя, Степа, допустили на эту должность...

— Ну, Ванька! — Широгоров медленно обтер о траву липкие пальцы. — Не знал я, что ты такая сволочь! Котов поднялся.

Широгоров сдвинул кожаную кепку на затылок, оперся руками о валежину, тоже собираясь встать.

— Вы что, очумели! — прикрикнул Стеблов и резко тряхнул головой, закидывая назад свои прямые волосы. — Распетушились, понимаешь! Ведь отдохнуть собрались! Сядь, Иван! Слушайте лучше, расскажу, как учителя в Ожеге комиссию проходили. Читали, поди, знаете постановление, чтобы всех учителей через районные комиссии пропустить, особо кто без образования. Вот, приезжает в Ожегу учитель Паруткин. Его, значит, и спрашивают: назови, какие есть в мире фашистские страны? Он подумал-подумал да и брякнул: «Китай»!

Рыбаки натянуто улыбнулись, но по взгляду, который исподлобья кинул Широгоров на начальника почты, стало ясно, что обиды он не простит.

Тем временем Дементий приволок из зарослей охапку хвороста, свалил рядом с кострищем, подкинул дров на тлеющие головешки. Повалил белый едучий дым, костер затрещал, стреляя мелкими угольями. Щурясь и отмахиваясь от дыма, Котов, как бы невзначай спросил:

— Ты, Дементий Ильич, слышно, тоже строиться собрался?

— Придется, Иван Федорович. Семером в одной комнатешке — тараканье житье!

— Место не выбрал?

— Сперва сруб пригляжу, потом уж об месте хлопотать стану.

— Нет, Ильич, ты не сруб приглядывай, а смекай, чего бы председателю сельсовета смастерить...

— Да он ему давно стол смастерили! — засмеялся Стеблов, опять пытаясь повернуть разговор на шутку. — Не стол, а картинка!

— Бесплатно, поди? — все так же, с подковыркой, спрашивал Котов.

Дементий непонимающе переводил глаза с него на Широгорова.

— Рядились... — неуверенно ответил он.

— Рядились, а не отдал?

— Не отдал...

Широгоров рванул из кармана пиджака бумажник, достал две тридцатки, кинул к ногам Дементия.

— На! А то эта поповская отрыжка сызнова скажет, что взятки беру!

— Я милостыню не собираю! — обиделся Дементий и отвернулся.

— Гляди, Широгоров, чтобы на выборах не прокатали! Больно нос задираешь от народа! Хапуга! — взъерошившись за «отрыжку», сказал Котов, отец которого был дьячком.

— Тьфу! — плонул Широгоров, встал, подобрал деньги, выплеснул в костер остатки ухи и, прихватив из-под куста кожаную сумку с рыбой, зашагал прочь. Ведро тонко пело, задевая высокую траву.

— Ну вот! — развел руками Стеблов. — Довел до скандала, а зачем? Сам не знаешь?

— Не люблю я его, Михаил Иванович. Не честный он человек. Таких к власти на пушечный выстрел подпускать нельзя, да виши, пролезают... И не только к маленькой. Не хотел я при нем говорить, а вам скажу: в Москве большую шайку раскрыли, завтра ужо газеты привезут, почтаете. Зиновьев, Каменев...— много, с десяток наберется.

— Они ведь при Ленине работали! — ахнул Чужгин.

— При Ленине... Да, оказалось, на Троцкого. Все они троцкисты махровые. Киров-то Сергей Миронович на ихней совести...

— Ладно, Иван, замнем. Опасные эти разговоры! — Стеблов оглянулся вокруг, стал собираться.

На другой день в столярку залетел молодой парень, секретарь сельсовета Митя Ямщиков, торопливо сунул Дементию тощую пачку денег:

— Широгоров велел отдать, за стол, что ли, не знаю...

— Спасибо.

Митя ходко развернулся, выскочил на улицу — он все делал бегом да скоком.

4

Сережка родился хмурой октябряской ночью. Хильный, он, едва открыв глаза, запищал надрывно и тонко. Бабка Годовичиха, которая принимала роды у Анны, суровой ниткой перевязала пуповину, обмыла младенца согретой в чугуне водой, туго спеленала. Долго глядела слезящимися глазами, как морщится красным лицомкм зашедшийся в крике новорожденный. То ли шутя, то ли взаболь, сказала:

— Закрой ты его, Анна, подушкой! На кой тебе эка канитель!

Слаба Анна, а дернулась испуганно, шепотом приказала:

— Давай сюды!

У груди младенец примолк. В дверь несмело постучали, просунулась седеющая голова Дементия.

— Все ладно? — негромко спросил он Годовичиху.

Язычок пламени в висячей керосиновой лампе подпрыгнул, изогнулся.

— Сын! — недружелюбно махнула рукой бабка. — Затвори двери-то, выстудишь всю избу!

Дементий зашел в комнату, поправил у Анны подушку, взялся за спинку кровати, перевел дух.

— Ничего неохота самой-то? Поела бы чего, может?

Анна обессиленно качнула головой:

— Не над ничего... Ложись да спи, на работу ведь тебе завтра...

Бездельно потоптавшись в непривычно пустой без ребятишек комнате, Дементий наказал Годовичихе:

— Ты, баушка, гляди хорошенько!

— Не впервой, чай! — колюче кинула бабка и, перекрестившись, заворчала: — Все родятся, плодятся, сколь уж приняла на веку, не сосчитать. А хошь бы один добром пожил. Какое...

Обеспокоенный Дементий отправился к Мише Клыкову, где ночевали всей семьей. Анна показалась ему чересчур бледной и слабой. Ощупью спускаясь по лестнице, жалел, что не переспорил жену, не свез рожать в больницу. Стыдно, виши, ей в больницу на старости лет. А какая еще старуха — сорок пятый...

Было уже за полночь, а сна — ни в одном глазу. Тихонько, чтобы не стукнуть, не скрипнуть, Дементий отпер столярку, нашарил выключатель. Свет в начальную школу и в столярку провели недавно от заводского локомобиля. При необычно ярком свете лампочки он достал из-за верстака охапку тонко оструганных брусков: иные с шипами, на других долотом выдолблены аккуратные пазы. Два бруска отличались в общей куче тем, что были выгнуты дугами. Размешав заранее натопленный столярный клей, Дементий взялся за сборку, изредка пристукивая деревянным молотком, чтобы шипы плотнее сели в пазы. Через час рядом с верстаком стояла приглядная детская кроватка. Ноги ее опирались на выгнутые бруски. Столяр слегка толкнул кроватку, она плавно закачалась с боку на бок.

Кроватку-качалку он придумал еще с весны и помаленьку, любовно доводил до ума в редкие свободные минуты. Получилась она нарядной и легкой, как игрушка. Чужгин достал из угла банку синей краски, кисть и сделал первый мазок.

Поспать почти что не довелось. Прикорнул прямо на верстаке под утро. А часа через два заполошно вскочил и побежал домой: надо хоть чугунок картошки сварить, накормить ребят перед школой. Беспокоился зря. Печку затопила Годовичиха, картошка в большом чугуне

доваривалась на ровном жару. Даша, поднявшись ни свет ни заря, уже вернулась из хлева с полным подойником.

Еду, горячую картошку с грибами, Анне подали прямо в постель, и она чуть не прослезилась: жалеют ведь, заботятся, берегут...

Перед девятым Гришка с Веркой притащили от Клыковых Гельку, от еды отказались, кормленные, и будто прилипли к материиной кровати, разглядывали младенца, норовили погладить руками.

— Мам, а это мне блатик? — спросила Гелька.

— Братик.

— Как его зовут-то? — Гришка, недавно принятый в пионеры, потеребил красный галстук.

— А выбирай сам! — засмеялся Дементий, подходя к изголовью кровати. — Как скажешь, так и назовем. Каким-нибудь Анемподистом!

— Не! Валькой! — обрадовался Гришка, что может назвать младенца именем своего закадычного дружка Вальки Клыкова.

— Лучше Сашей, — предложила старшая дочь.

— Сережей его зовут! — сказала Анна, и все поняли, что спорить с ней бесполезно. Сердце Дементия на миг кольнула давняя, казалось, давно забытая боль, но только на миг. Догадался: надо оставить жене эту малость, пусть хоть слабым эхом отзывается в ней под старость первое, девичье...

— Тять! — неугомонный Гришка, отойдя от матери, теребил отца. — Тять, а у меня сапоги изорвались! Всё! — и он пошевелил красными пальцами, высунув их из носка левого сапога. — И другой течет!

— У меня тоже текут! — заныла Верка.

— Экие вы! Давно ли подшивал? Ужо вечером сяду, починю, — пообещал Дементий.

— И мне сшей! — потребовала Гелька. — У меня сапогов вовсе нету, а на улку охота!

— Грязно, Гелюшка, на улке-то, — погладила ее по голове Анна. — Студено, сырьо... Погоди маленько, замерзнет, так и станешь по снегу в катаничках бегать.

А Дементий уставился на Дашины сапожонки: за плата на заплате, и тоже, поди, текут. Девчонка в седьмом, выпускном классе... Придется, видно, садиться шить ей новые. Оттянутые крюки на сапоги лежали в сундуке, думал Анне стачать, да никуда не денешься,

вконец обносилась детвора. Добро, овчин порядочно из деревни привезли, всем шубенки сшили, а то бы хоть матушку репку пой. Обновы-то покупать не время, надо копить деньжонки на избу...

Сережка залился плачем, тонким, пронзительным, и Чужгин словно очнулся, достал из кармана часы, привезенные еще в свое время из Москвы, щелкнул крышкой.

— Ну-ка, живо в школу! Уроки через десять минут!

Ребятишки засуетились, складывая в холщовые сумки обернутые в газеты учебники. Гурьбой высыпали на лестницу. Верка и Гришка простоволосые, без шубенок, благо начальная школа — через дорогу. Наказав Анне не вставать весь день, Дементий тоже ушел в столярку, у дверей которой толпились парнишки-пятиклассники, — по расписанию значился у них урок труда.

— Здравствуйте, Дементий Ильич! — хором приветствовали его ученики.

— Здравствуйте, мастера застольные! Озябли? Заходите скорее!

Начался обычный школьный день. За шесть лет Дементий привык к ребятишкам, и хоть учил он держать в руках молоток да рубанок, уроки труда ни ему самому, ни маленьким столярам не приедались.

После бессонной ночи да с хлопотами в столярке Чужгин чуть не забыл, что на сегодня назначен педсовет. Кончив заниматься с ребятами, снял фартук, отряхнул опилки, стружки, пригладил волосы запачканной в смоле рукой и, нахлобучив кепку, направился за узколейку, в «главную» школу, где размещались старшие классы. Ее выстроили всего года четыре назад, бревна еще почернеть не успели, и молодо белела она на высоком угоре невдали от сплавной реки Куны.

Заходя в новую школу по делам или, вот как сегодня, на совещание, Чужгин всегда сравнивал плотницкую работу нынешних строителей с той, что оставили старые мастера. Начальную-то школу учредили после революции в купеческом доме. Само собой, внутри дома кое-что переинчили: пришлось поставить переборки да навесить двери в просторной лавке купца, которая когда-то занимала весь первый этаж. В верхнем жил сам Гладцинов с семейством.

Считался Гладцинов в округе первейшим богачом. Лавку завел, сказывают, забавы ради, а главные бары-

ши плыли к нему вместе с лесом, который скупал он на корню до самых верховьев Куны. А по вешней воде артели сплавщиков денно и нощно гнали могутные бревна вниз по реке, к большим лесопильным заводам. Где теперь этот Гладцинов? Только и памяти, что купеческий дом под школу остался...

Чужгин знал каждый закуток в этом доме: то и дело звали поправить двери, врезать замок, вставить выхлестнутое стекло. Сейчас, поднимаясь по лестнице на второй этаж новой школы, в который раз вспомнил старинных плотников да столяров, сработавших гладциновский дом: все там подогнано тютелька в тютельку, не то, что здесь. Хоть бы ступенька где скрипнула, либо косина в перилах обозначилась, а ведь они, перила-то, для ребятни вроде ледяной горки, все перемены по ним катаются. Клейная работа! А тут? Через три года все рассыхается да скрипит.

Отчего бы вот так-то? Не скажешь, что старые мастера за деньгами гнались, не намного больше, чай, платил Гладцинов, чем платят теперешним плотникам,— от страха? Нет уж. Кто-кто, а Дементий знал, что на страхе хорошей работы не замешать. Стало быть, шатай-валий ныне от торопливости делают, давай, давай, скорее! А толку? Скоро сляпашь, скоро и развалится. Вон Ясенгскую церковь, наверно, не торопились класть. Поэтому и стоит сто годов, да еще сотню простоит, ничего ей не сделается, коли не изломают.

...В кабинете Стеблова тесно от учителей. Молодой физик и астроном, сухой и длинный, как жердь, успокаивал рокочущим баском учительницу начальных классов Неменскую. Она отчаянно трусила: предстояло отчитываться на педсовете. Шушукались молоденькие, смешливые учителя истории и литературы. Отдельно от всех сидел биолог Евгений Карлович Дидер, полный и строгий, немец по национальности, агроном по образованию. Переехал он с семейством в Ясенгскую школу недавно.

— Опаздываешь, Дементий Ильич! — укоризненно сказал Стеблов, привычно проводя рукой от лба к затылку по черным прямым волосам.— Садись, начинаем.

Неменская поначалу путалась и заикалась, краснела неровными пятнами.

— Что можно сказать по прошлому году? Годовая успеваемость в моих классах девяносто восемь процентов, количество орфографических ошибок на одного уче-

ника снижено с полутора до ноль пяти. А кроме того...

— Вы не волнуйтесь, Мария Федоровна,— успокоил Стеблов.— Мы вас решили послушать как одну из лучших учительниц школы, ну и делитесь опытом. Спокойнее, спокойнее...

— Я все внимание ребят направляю на каллиграфию. В классах объявлена беспощадная война кляксам, помаркам, загнутым уголкам в тетрадках, подчисткам. Если ученику не дается какая-то буква, я при проверке тетрадей обязательно напишу эту букву на полях так, как ее надо писать. Уделяю внимание правильному держанию пера и положению тетради на парте. Чистописание я считаю главной наукой...

Отчет прошел гладко. Неменская села на место красная, довольная. Стеблов похвалил ее за старание и заговорил о других делах:

— Все вы знаете, товарищи, и в газетах писали, что объявлен сбор средств в пользу женщин и детей Испании. Республиканская Испания, товарищи, напрягает все свои небольшие силы в борьбе с фашистскими мятежниками, которым всячески помогают фашистские страны: Германия, Италия, Португалия. В нашей стране для детей и женщин Испании собрано одиннадцать миллионов рублей. Посыпается туда продовольствие и одежда.

Стеблов на секунду остановился, передвинул листок бумаги.

— Ну, к этому я еще вернусь, а теперь перехожу к школьным делам. Принято постановление о плане завершения ликвидации неграмотности и обучения малограмотных в будущем 1937 году. По плану требуется вырвать неграмотность со всеми корнями, так что легкой жизни у нас не будет. Всем, кто руководит кружками ликбеза, надо постараться, особо в плане посещения кружков. Это не резон, когда у нас даже жены учителей в ликбез не ходят. Почему, Дементий Ильич, твоя Анна то и дело занятия пропускает? Тем более что нигде не работает!

Второе. Принято еще постановление о пионерской организации школы. Теперь пионерские отряды надо создать в каждом классе школы от первого до седьмого включительно. Отряд разбивается на звенья, а звено выбирает вожатого. Сборы звеньев проводить раз в декаду не больше чем на два часа, а отрядные сборы —

раз в месяц. Прошу всех ознакомиться с постановлением и посмотреть, нет ли у кого искривлений в пионерской работе.

Товарищи! Знаменитый наш летчик товарищ Чкалов призвал всех жителей страны взять в семьи на Октябрьские праздники детей из детских домов. У нас в Ясеньге детского дома нет, потому предлагаю вам всем, как один, включиться в помочь испанским женщинам и детям. Кому-кому, а учителям стоять в стороне от такого дела негоже, не по-сталински это будет. Предлагаю подписатьсь на половину месячного оклада...

Дементий, задетый словами директора об Анне, мысленно чертыхнулся и помрачнел. Недавно был заем, налог заплатил, живут, считай, на одном молоке да картошке, обносились все, на избу надо копить, а тут...

— Меньше-то нельзя? — спросил он охрипшим голосом.

— Сами понимаете, дело добровольное, однако спросят по всей строгости, — ответил Стеблов. — Многосемейным, полагаю, можно подписатьсь на десять процентов оклада.

От сердца отлегло: все-таки десятая часть — не половина. Дидер, качнув тяжелой седой головой, сказал:

— Я тумаю, всем одинаково платить следует. Половина, пусть половина будет. Это есть интернациональный долг — Испании помочь!

— Правильно, Евгений Карлович! — поддержал Стеблов.

— Ладно, пишите и мне половину, — вздохнул Чужгин. — Пропадать, так с музыкой!

— Никто не неволит! Сказано: дело добровольное!

— А спросят по всей строгости? — отшутился Дементий.

После педсовета Стеблов попросил его остаться.

— Поздравить тебя можно, Дементий Ильич? С наследником!

— Наследники есть, наследовать нечего, — усмехнулся Чужгин.

— Не горюй, наладится. Все наладится! А я тут тебе работенку нашел. Масалов, директор лесозавода, просит шкаф сколотить. Буфетный. Слушай, я и не знал, что Масалов твой земляк! Из одной деревни, оказывается?

— Из одной. Только он поможе. А с чего он мне-

то шкаф заказывает? — удивился Дементий. — На заводе своя столярка, и заказы берут по всей Ясеньге. Али в чужих руках завиднее?

— Столярка своя, да столярам тамошним до тебя далеко. Сухие доски остались в мастерской?

— На шкаф насираю, — задумался столяр. — Да ведь доски-то для ребячих поделок высушены. Не больно вроде красиво...

— Не волнуйся, Масалов досок привезет. Не столь сухие, а на штакетник сгодятся. Думаю, Ильич, всю школу штакетным заборчиком обнести. Вот и станете с ребятами на уроках штакетины строгать. Масалов пообещал сверх того дровинек школе подбросить, сам знаешь, как бьемся с дровами-то. Но и шкаф ты ему смастери на загляденье. Осилишь?

— Надо покумекать...

— Об оплате не думай, это не Широгоров, за деньгами не постоит. Днями зайди к Масалову, потолкуй, как и что, — Стеблов протянул руку. — А с подпиской зря высунулся. Дидер, может, кубышку с собой возит, а ты чего?

— Да ведь стыдно, вроде нищего. Хуже Чужгина, скажут, нет!

— Гляди, тебе жить. Ну, еще раз поздравляю!

— Спасибо...

На крыльце Дементий поежился под студеным октябрьским ветром, который проносил редкие снежинки. Переходя узкоколейку, у школьной конюшни столкнулся с Клыковым.

— Здорово! — протянул руку Миша. — Все ладно у вас?

— Обошлось! Вылупился пискун.

— Где ночевал-то? Убежал вечер, да и концы в воду.

— А считай, что и не ночевал. Анну проведал да ушел в столярку, до утра и провозился.

— То-то, вишь, и глаза провалились. Слушай-ко! Видел я утресь Кольку Кудряшонка из Щетинской. Подхожу к сельпу, а там подвода стоит. Слово за слово, он и пожалился: уезжаю, дескать, на Урал. Зовет брат двоюродный, пишет, что больно заработка добры и снабжение хорошее. Бумаги все выхлопотал, а покупщика на зимовку не находится. Я тут про тебя-то и вспомнил: чего бы лучше? Зимовка у него не велика, а

крепкая, из нового лесу рублена, годов десять, поди-ко, и простояла всего. Дорожиться Колька не станет, уезжает...

— Ему-то не сказал? — встрепенулся Дементий.

— Как не сказал! Гляди, говорю, никому не прода-вай, Демеша Чужгин сруб смекает на вывоз, так завтра-послезавтра прибежит к тебе. Пообещал обождать неделю.

— Сегодня у нас чего? Четверг?

— Какой четверик! Пятница!

— Послезавтра выходной. Вот и ладно. Ой, спасибо тебе, Миша, выручил! Может, и верно, сговоримся...

— Не упускай! Домишко подходящий, сам видел!

Как рукой сняло усталость. Дом! Не раз, не два и во сне, и наяву виделся он Дементию. Нарядный, прочный, на высоком берегу Куны, там, где крутая галечная отмель, скатившись с обрыва, врезается в реку.

Будет дом, будет под одной крышей и хлев, пару овчишек завести можно, десяток куриц. И двадцать пять соток огорода тут же, и баня... С голоду не помрут, дома, говорят, и солома съедома. Да и жизнь-то к лучшему правится. Разруха от гражданской свалилась — не приведи господь, да ведь вынесли, отбились, оклемались. Скоро вот конституцию примут, защиту и опору трудающему человеку можно будет сыскать. Потерпеть надо — так потерпим! Не привыкать, весь век терпели.

Сладилось бы только с Кудряшонком...

«Неужто много запросит? — думал Дементий. — Боле пятисот не дам, не осилю. Скоплено всего рублей триста, остальное — занимать, коли Кудряшонка на рассрочку не сговорю. Не худо, что с Масаловым дело завязалось. Да я ему, что картинку, шкаф-то смастерю, настоящий буфетник! Деньги только вперед бы попросить...»

Он поспел прямо к обеду. Старшие ребятишки по подсказке Анны сварили и суп, и картошкой натолкли с редькой, собрали на стол и сидели понурые: животишки после уроков подвело, а есть не стали, ждали отца. Едва он вошел в комнату, Даша отворила посудный шкаф, достала буханку хлеба, бросилась наливать суп в широкое эмалированное блюдо.

— Мамку-то покормили? — спросил Дементий.

— А она говорит «не хочу!» — выпалила второклассница Верка.

— Что за «не хочу!» — притворно рассердился отец.— Ей теперь за двоих надо есть. Ну-ка, Дашка, наливай! — и он приставил табуретку к кровати.— Не для харчу, а для аппетиту.

Анна улыбнулась одними глазами, проговорила слабым голосом:

— А и верно, не хочу. Другой день лежу, как колода, не до еды...

— Поразговаривай! Есть не станешь, так и новость не скажу.

Жена повернулась на бок, с трудом приподнялась на локте, взяла ложку:

— Что за новость?

— Ишь, женская натура! — засмеялся Дементий, усаживаясь за стол.— Баба отроду так: в лежку лежит, а про новость учуёт, бегом побежит!

— Какая новость, тять! — пристала Верка.— Скажи!

— Угадайте!

— А я знаю! — обрадовался Гришка.— К нам скоро радиво проведут!

— Не ври-ко давай! — толкнула его в бок Верка.

— Не вли-ко давай! — повторила за ней маленькая Гелька и тоже толкнула Гришку в бок.

Отец постучал ложкой по столу:

— Тихо, саранча! Ишь, развели! Ешьте!

Когда все умолкли, Дементий буднично сказал:

— В воскресенье пойду зимовку глядеть. Колька Кудряшонок из Щетинской продает.

— Дай-то бог! — обрадованно перекрестилась Анна и тут же встревожилась:

— Много ли просит?

— Вот схожу, так все и узнаю. Миша Клыков сказывал, что хороший сруб, из нового лесу.

— Из нового-то не укупнишь...

— Тять, а где поставим? — загорелся Гришка.

— Сперва купить надо, потом уж сельсовет место отведет,— уклончиво ответил сыну Дементий. В душе он надеялся, что уговорит Широгорова отдать тот самый угор над Куной.

— Ой, Демеша, может, не ждать выходного-то? — забеспокоилась Анна.— Ну, как продаст кому?

— Обещал обождать, однако...

— Тять, а сколько комнат у нас будет? — спросила Верка.— На каждого?

— Бойка больно! — засмеялась Даша. — На каждого, так семь комнат надо — целый дворец!

— Сделаем, как у дяди Миши Клыкова в бараке! — предложил Гришка. — Он там две заборки поставил, сразу три комнаты и вышло.

— Тятя, а мне завалинку изладиши? — Гелька подняла па отца молящие голубые глазенки. — Я на завалинке песочком стану играть!

— Кому чего, господи! — тихо засмеялась Анна. Радостная все-таки была новость.

После обеда Дементий забрался на печь вздремнуть хоть часок: глаза слипались, делать ничего не мог. Но проснулся раньше — от рева. Верка и Гришка взахлеб вопили, колотя друг друга дружку кулачонками, не поделили чего-то, Даша их растаскивала, Анна ругалась, сидя на кровати, а новорожденный Сережка тонко выводил свою младенческую песню.

— Цыц, дьяволы! — крикнул Дементий, с трудом поднимая тяжелую со сна голову. — Ошалели! Ну-ко, Гелька, неси голик, драчунов пороть станем!

Гелька с готовностью засеменила за печь, в кухонку, где возле помойного ведра стоял голик. Гришка моментом юркнул на полати, Верка выроном скользнула на печь.

— Тятя, на! — протянула Гелька отцу тяжелый веник.

— Молодец, хорошая девка! — погладил ее по голове Дементий. — Драчуны-то, виши, убежали, как тараканы спрятались. Чуют кошки, чье мясо съели! Может, простим их на сей раз?

— Ладно уж, плостим! — согласилась Гелька, размахивая голиком. — А длаться станете, худо будет, да, тятя?

— Верно, дочка, верно. Гли-ко, мамка нам какого крикуну принесла! Орет и орет, спасу нет!

— И титьку-то не берет, недошлый какой парнишка! — пожаловалась Анна, перекладывая младенца от одной груди к другой. Наконец Сережка притих, зачмокал.

— Фу, титьку сосет! — брезгливо сказал Гришка, свесив русую голову с полатей.

— Ты-то не сосал? — усмехнулась Анна. — До трех годов доил, еле отвадила.

— Сейчас можно наговорить, раз я не помню!

— Сосун! — пискнула с печи Верка, давясь от смеха.

— Смотри, наподдаю.

— Сосун!..

Дементий вышел на улицу покурить, а вернувшись попросил Дашу:

— Зажги-ка, Дашуя, лампу, стану сапоги подшивать.

— А карасину-то нету! — снова подала с печи голос Верка. — Вчерась остатки сожгли.

— И то, Демеша, — подтвердила жена. — Забыла я Гришке наказать, чтобы сбежал за керосином-то, не знаю уж, как и перебедуем. Может, послать Дашу до Стебловых, нальют бутылку в долг?

Даша, не дожидаясь приказа, стала натягивать шубенку. Вернулась она скоро, выпалила с порога:

— Стебловы тоже последний керосин сегодня в лампу вылили! Говорят, его в сельпо уж другую неделю не привозили.

— Как уроки-то решать станем? — захныкала Верка.

Дементий вышел в общий коридор, принес оттуда светец: длинную треногу с железными ушками, приткнул к столу, поставил к светцу табуретку, а на нее противень. Увидев его приготовления, Анна робко спросила:

— Парень-то, Демеша, от лучины угореет, поди...

— А чего делать? Гришка вон босой ходит, у Верки сапожонки текут, у тебя, Дашка, тоже?

— Тоже... — тихо ответила Даша.

— Виши! И лучины не зажжешь без причины. Без свету не подошьешь, да и ребятам уроки учить надо. Так что терпите.

— Ребятам катаники достань, пусть к интернатским девкам сходят уроки-то учить, а сапоги в мастерской подшей. Лампочка-то все посветлее твоей лучины!

— Вона как рассудила! Опять из дому гонят, на ночь глядя, — проворчал Дементий беззлобно. — Ну, шантрапа, складывайте свою обутку в мешок!

Через несколько минут с мешком за плечами Чужгин чуть не ощупью пробирался через дорогу, держа направление на окна барака, в котором жили Клыковы. Засиделся он за полночь и, чтобы не будить домочадцев, снова устроился спать на верстаке. Утром, едва стало брезжить на улице, Дементий уже поднялся по лестнице в свою каморку. Из мешка вывалил у порога три пары

ушитых сапог, потом занес и поставил детскую кроватку-качалку.

На стук из-за печи вышла Анна, она как раз ее рас-тапливалась. Спросила вполголоса:

— Чего приволок-то?

— Принимай гостинец.

Она подошла, увидела в тусклых сумерках детскую кроватку. Тронула — та бесшумно качнулась с боку на бок.

— Ой, Дема! — радостно прошептала она. — Когда и успел!

— Успел, мать...

Обняв Анну за плечи, он тихонько прижал ее к себе:

— Пусть Сережка в ней на ноги встанет...

А Сережка, будто ждал, когда о нем вспомнят, тут же засиял тонким, пронзительным плачем...

5

В воскресенье Дементий проснулся затемно, бесшумно оделся, сунул в котомку кусок хлеба и поллитровку: на сухую, известно, покупка не сладится. Взял спрятанную на полатях тяжелую, неуклюжую шомполку, с которой охотился еще дед Михайло. Диковинное по нынешним временам ружье, и возни с каждым выстрелом много, зато бой отменный — резкий и кучный. Шомполкой Дементий вооружился оттого, что накануне выпал нежданный в эту пору обильный снег, на котором легко заметить не успевшего побелеть зайца.

Мимо сельсоветского магазина, который черной скройной торчал на светлом от снега берегу Куны, Дементий спустился к самой воде, осторожно перебрался по бревенчатым лавам на другой берег и сразу свернул налево, в сосновый бор. Торопиться было некуда, в лесу едва брезжил запоздалый рассвет, и Чужгин медленно, не снимая ружье с плеча, уминал снег сапогами.

Тишина, насупленные, печальные сосны в снежном пуху, недвижный остуженный воздух — все сочилось грустью, навевало невеселые думы.

«Усыпает живое на зиму, все замирает, — думал Дементий. — А ведь и моя-то зима не за горами: год от году больше жмет. И сила не та в руках, и ноги болят, и душа устала... Неужто только и осталось — смерти ждать? Ребятишки больно малы, беда! Хоть бы годов

пяточек протянуть еще, старших на ноги поставить. Гришку, главное, выучить да к месту определить. Не избалуется, так Сережке отца заменит. Да не оставить бы малышню в чужом углу. Самое это худое — по квартирам, по общежитиям шляться. Нет, избу свою поставлю. Последнее здоровьишко выколочу, а поставлю! Тут хоть камни с неба, а надо успеть».

Неожиданно сорвалась с дерева большая черная птица. Дементий вздрогнул, схватился за ружье и обругал себя, что не изготовился раньше. Мяса ребятня не пробовала давным-давно, а у него из-под носа глухарь улетел, на неделю бы всей ораве хватило. Он огляделся: в лесу заметно посветлело, ветки и стволы ближних сосен виделись четко, только даль пока туманилась смутной, свинцово-белесой сутеменью.

Теперь он шел по-охотничьи сторожко, ощупывал глазами каждое подозрительное пятно: на ветках ли, на земле ли. Дичь не попадала, хотя заячьих следов по свежей пороше напутано было много. Скоро мысли опять повернули на старое, на больное: почему не задалась жизнь, не сбылось, о чем мечталось, когда таскал бидоны с молоком у казанского маслодела? Ведь было: и образование по тем временам не худое, и читано-коечко, и пожито в обеих столицах государства...

Дементий вспомнил забастовку в Петербурге в те времена, когда обучался столярному делу на заводе. Вспомнил людскую толпу, затопившую заводской двор, и оратора на каком-то возвышении. Тот кричал громко, но гул толпы и тугой ветер с Финского залива рвали речь в клочья, отдельные слова только и врезались в память: «...кровососы...», «...последний час...», «...мировая революция...», «Вся власть — Советам!»

Налетели жандармы. Оратор спрыгнул, пригнулся, перед ним расступились, давали проход прямо к тому месту, где стоял Дементий. Знакомый столяр шепнул прямо в ухо:

— Демеха, надо спасти товарища. Глянь, за столярной фараонов нету? Ежели нету, махни от угла кепкой!

Со всех ног бросился Дементий к столярне, зыркнул туда-сюда — пусто. Подбежал к углу, сорвал кепку, отчаянно замахал над головой. Трое отделились от толпы, помчались к нему. Знакомец крикнул на ходу:

— Перестань махать-то, балда! Иди, ящики разберем!

За дальней глухой стеной столярни рядов в восемь стояли упаковочные фанерные ящики. Мигом выдернули несколько штук, оратор сел в нише, его снова закрыли пустой тарой.

— Потерпи, Иваныч! Снимут охрану — выпустим и проводим.

— Уходите, товарищи! — глухо донеслось из-за ящиков.

Столяр дернул Дементия за рукав:

— Пошли!

— Кто это? — шепотом спросил возбужденный Дементий.

— Большевик, большой человек. Одно слово — вожак! — блестя глазами, ответил столяр.

Они устроились на верстаке. Товарищ стал горячо говорить, какая правильная, чудесная будет жизнь, когда победит народ, возьмет себе фабрики, заводы, банки и землю.

— А хозяев куда? — спросил Чужгин.

— Хозяев, министров царских, офицерство, чиновников, всю шатию кровососов — к ногтю! Сказано:

«Кровью народной залитые троны

Кровью мы наших врагов обагрим!»

— Эвон как легко! — не согласился Дементий. — К ногтю, и баста? Их ведь многие тысячи наберутся: какие-никакие, а люди. Нет, добро да справедливость на крови не стоят...

— Путаешь, олух! — загорячился приятель. — По-твоему, пусть одни до последнего хрипа за гроши ломят, а другие в ресторанах на Невском тысячи выкидывают, все правильно?

— Неправильно, знаю, а только злобой да кровью добра не нажить...

— Ну и вышел дурак! — сплюнул столяр. — Такие вот лапти деревенские всю обедню нам портят. Вас, как телков к кормушке, к новой жизни пихают, а вы брыкаетесь. Одно слово: мелкобуржуазная закваска, собственники!

— Да какой я собственник? — обиделся Чужгин. — Ни кола ни двора...

— Мало ли что! По обличью ты рабочий, а по нутру — собственник, раз свою жалость к буржуям отряхнуть не можешь. Самая она вредная, эта жалость, для нашего рабочего дела. Нет, Демеха, нам вперед надо

без оглядки идти! Любому хребет переломим, коли по-перек встанет!

— И мужику?

— Надо будет, и мужику. Не стой на дороге!

— Хребет переломите, кто кормить-то вас станет?

— Сами с руками. После революции дармоедов не будет. Всех работать заставим на один котел. И раздавать из того котла станем всем поровну.

— Поровну? Да как ты, к примеру, умного с дураком уравняешь? Что, ежели умный-то рассудит: дураков много, вот и пусть работают, я лучше у котла сяду, раздавать чтобы. А у хлеба — не без крох...

— Вот! Еще говоришь — не собственник! Ишь, как полезло из тебя мужицкое-то нутро! Поимей в виду: при социализме все сознательными делаются, никто лишнее рвать не станет, потому как все сыты!

— Сказанул! — не сдавался Дементий. — Да чем сытнее человек, тем ему больше работать неохота! Зачем? И так прокормят!

— Тьфу! Ну и темный же ты человек, Демеха!

Не прав в том споре, выходит, оказался Дементий? Все ведь по словам приятеля происходило: взяли власть, прижали буржуев к ногтю, крови пролито много и чужой, и своей. Иной раз непросто и разделить, где своя, где чужая — вся красная, вся русская...

Значит, верно, что толкали его к большому развороту жизни, а он взлягивал, ничего не понимая?

«Не боец, стало быть, — подумал Дементий. — Не боец, а кто? Работник. С малых лет и по сию пору. Ведь не одну сотню ребятишек обучил долото, молоток, рубанок в руках держать, — тоже зачтется, вспомнят те ребятишки добрым словом... Тогда почто же, сколько ни колотишься, своих-то ребятишек досытка накормить не можешь? Ведь ежели всем по труду... Хотя и так рассудить: разруха после гражданской немыслимая, стройку в стране опять же небывалую подняли, — сколько денег надо? Видно, непросто наполнить тот котел, из которого по справедливости черпать положено. Или все-таки любителей у того котла посидеть много развелось?»

Впереди, сквозь деревья, забелело открытое место, и он понял, что подходит к щетинским полям. Закинул шомполку за плечо, достал часы, раскрыл: начало девятого. Самое время навестить Кудряшонка. Опустил се-

ребрянью «луковицу» в карман, стал забирать вправо, к наезженной дороге.

Щетинская, небольшая деревня дворов на двадцать, приткнулась к каменистым полям, вокруг которых на многие версты рос лес. Встреченный дружным собачьим лаем, Дементий миновал околицу, спросил у бабы, тянувшей «журавлем» воду из колодца, где дом Николая Кудряшова. Баба, одетая в крашеный холстинный сарафан и шинельного сукна оболочку, в лаптях, в низко надвинутом на глаза платке любопытно окинула Дементия веселыми глазами:

— Али покупщик?

— Там увидим.

— Ишь ты, зазнаватый какой! Вона Кудряшонковы хоромы! — указала пальцем на ухоженный домик в середине деревни.

Дом, вернее, полдома, потому что летней избы в нем не было, сразу понравился Чужгину: излажен хорошиими руками, плотно рублен в чашу, крыт тесом, рамы в окнах пригнаны — комар носа не подточит. Только крыльцо подкачало: не крытое, а рубленное на скорую руку из обрезков бревен, застланных поверху толстыми тесаными плахами.

В сенях Дементий приметил три двери: в сенник, в кладовку и в избу. Избяная была околочена для тепла рогожей.

Кудряшонок сидел у окна, плел корзину, гостя встретил приветливо:

— Проходи, Дементий Ильич, садись.

— Отдохну маленько, наломал ноги-то по болоту, — прозрачно схитрил Дементий, ставя шомполку в угол: мол, вовсе я к твоей избе без интересу, на охоту ходил, так занесло в ваши края ненароком. И он сам, и Кудряшонок, конечно, понимали, что это всего-навсего игра, но выходить из нее не торопились.

— Не стало дичи-то в лесу, шаром покати! — почувствовал Николай и окликнул жену: — Дуня! Подготрячи-ко самоварчик!

Пока грелся самовар, а Дуня собирала на стол деревенскую закуску, Николай расспрашивал о сыне:

— Как там мой-то оголец? Не хулиганит?

Петъка, единственный сын Кудряшовых, учился в пятом. Чужгин похвалил парня: умом не обижен и глаз острый.

— Не знаю, как на других уроках, а в мастерской так все на лету ловит. Поделку обстрогает, обчистит не хуже иного столяра!

Николай довольно заулыбался:

— Руки есть у парня, верно!

— Где сам-то?

— На конюшню спозаранок утянулся. Коней любит — страсть!

Дуня принесла кипящий самовар на стол, сняла конфорку и крышку, опустила в кипящую воду пяток яиц в чистом холщовом полотенце, снова надела крышку и конфорку, пристроила на нее фарфоровый заварной чайник. Дементий достал из сумки поллитровку.

— С воскресеньицем не грех и оскоромиться!

— Надумал я, Ильич, подаваться на города,— заговорил Кудряшонок, закусив соленым рыжиком.

— Сказывал мне Миша Клыков. Рвешь, стало быть, корешки?

— Чего сделаешь? И рыба, говорят, где глубже, смекает. Кругом большие дела завERTываются, а у нас каждый пальцы к себе жмет.

— А я думал, в колхозе добро.

— Да кабы все заедино, другой бы и разговор. Прошлую зиму нарядили Семку Ригина по дрова для овников, понадеялись, да зря. Он, мазурик, сперва на праздник сходил в Олеховскую, неделю пропьянствовал, а потом и заявился с опухшой рожей — давай ему другую работу. Председатель к кому ни бросится, никто не идет, снегу-то уж толсто подвалило. Да и мужики, кто посильнее да посноровистее, на лесозаготовках. Хлеб толком не высушили, молотили до рождества. Колхоз-то и штрафанули на тыщу рублей, хлебопоставки, вишь, не выполнили. Чего на трудодень присчиталось? Крохи!

— Сами, выходит, и виноваты.

— Да как не сами? Лодырей ноне развелось, что пенья в лесу. Мыслимо: семьдесят суслонов овса по сию пору в поле стоит да боле ста бабок льну! Все под снег ушло, все прахом! Глаза бы не глядели! И налоги: молоко отдай, мясо, шерсть тоже, денежный налог да самообложение, страховка да заем... Не сосчитать! А тут братан двоюродный с Урала пишет: кидай все к лешему, будет тебе в земле пичкаться, перебираися к нам на стройку! Люди, бает, позарез нужны. И жилье сразу

в бараке, и заработки надежные, и в магазинах — чего душа пожелает...

— Скоро поедешь?

— Домишко продам да и на поезд. Баба давно узлы вяжет.

У Дуни горохом покатились слезы, выскочила из-за стола, убежала в куть.

— Я ведь из-за дома и пришел, Николай Петрович. Может, сладимся?

— Зимовка хорошая, сам видишь.

— Не хаю. Так сколько спросишь?

— Чего уж, Дементий Ильич, клади восемь сот да и повези с богом.

— Дорого, Петрович. Не осилю...

Столковались на пятистах. Триста пятьдесят Дементий пообещал отдать сразу, как напишут купчую в сельсовете, а остальные послать на Урал. Николай провел гостя по всему дому, слазили на чердак и в подполье.

— Одно тебе надо: кирпича с полсотни добыть,— втолковывал он.— Печь добрая, а ломать да перевозить станешь — не без убытку, все одно бой...

Редко выдавались Чужгину такие удачные дни. Мало того, что сходно купил зимовку, так еще на обратной дороге подстрелил зайца. С ружьем за плечами, с тушкой у пояса, слегка хмельной и веселый вернулся домой. Ребятишки кинулись к зайцу, а Дементий, мимоходом погладив Гельку по голове, поздравил Анну:

— Со своим домом, мать!

— Неужто говорили? — жена присела на лавку, враз голубея глазами.

— За пять сотен. Стоящая зимовка, хорошая.

— Когда ломать станете?

— Не скоро... Купчую вот сделаем, место отведут да дорога санная ляжет, тогда уж... Надо бы до большого снега перевезти.

Накануне заключения купчей Дементий пересчитал свои капиталы. Не хватало ста пятидесяти рублей. «Что, ежели сходить к Масалову, попросить за шкаф-то вперед? — подумал он.— На мах бы рассчитаться, так и душа на спокое...»

Масалова по деревне Дементий помнил худо. В пятнадцатом году, когда Чужгин работал в Петербурге, был тот еще мальчионкой, а в гражданскую уехал из Барановской да будто сгинул. После деревенские узна-

ли, что Прокопий Масалов воевал на многих фронтах, дослужился до командира эскадрона. И вот, нежданно-негаданно, объявился здесь, в Ясеньге, на большой должности директора лесозавода. Встречались, конечно, земляки, но то ли за директорскими делами, то ли из-за гонору ни разу не проводил Прокопий Чужгиных, скопо-кивал, столкнувшись. И заказ, виши, сделал через Стеблова.

Неохота идти, а надо. Дементий, тая в груди какую-то неловкость, направился в контору завода — двухэтажный дом невдалек от начальной школы, если глядеть вверх по течению Ясеньги. Директор встретил его в дверях кабинета, видно собирался уходить, но тут же повесил брезентовый плащ обратно на вешалку, протянул руку:

— Проходи, Дементий Ильич! — и сел за стол. — Как живем-можем?

— Наша жизнь — не сахар, — скопо ответил Чужгин. — Ребятишек накопилась куча, а теснимся в одной клетушке. Надумал вот сруб из Щетинской перевезти.

— Хорошее дело, — Масалов пристально посмотрел на него. — Слушай, а не надоело тебе в школе с огольцами возиться! Шел бы ко мне в столярку. Нам хорошие мастера позарез нужны!

— Привык уж я, Прокопий... Матвеевич, — едва вспомнил Дементий имя отца Масалова. — Шестой год в школе...

— Как привык, так и отвыкнешь. У нас и заработки поболе, а тебе по высшему бы разряду стали платить. Подумай!

— Я чего зашел-то, — несмело приступил к своему Чужгин. — Шкаф, Стеблов сказывал, тебе надо, так посоветуй, какой охота?

— Охота мне, Дементий Ильич, буфетничек. Снизу дверки деревянные, верх — под стеклом. Ну и чтобы от полу до потолка.

— Можно. Размеры вот только...

— Размеры мы сейчас... — директор нарисовал на бумаге прямоугольник, проставил ширину и высоту. — А остальное на твое усмотренье, я тебе доверяю.

— Понятно... — Дементий помялся и выпалил, глядя в стол. — Заплатил бы ты мне вперед, Прокопий Матвеевич! Дом, виши, покупаю, не хватает маленько...

— Так... Сто пятьдесят устроит?

— Куда, куда! — замахал руками столяр. — Сотни за глаза!

— Давай, не мелочись. Я твою работу знаю. Вот, держи.

— Спасибо! — Дементий, не считая, неловко сунул деньги в карман, торопливо поднялся. — К апрелю сделаю. Работаю-то по выходным только, ну в каникулы сколько прихвачу...

— Не горит. К апрелю, так к апрелю. А насчет перехода к нам обмозгуй. Договорились?

— Договорились, — Чужгин благодарно пожал руку директора.

Теперь он мог рассчитаться за избу сразу и не залезая в долги.

На другой день Кудряшонок зашел после уроков в мастерскую. Вместе направились в сельсовет. Широгоров сидел надутый. Дементий испугался: неужто председатель затаил на него обиду, что от его денег тогда на берегу отмахнулся? Было похоже на то: купчую оформляли два дня. Широгоров дважды сгонял Николая к председателю Щетинского колхоза: один раз за справкой, что Кудряшову разрешено уехать, другой — опять же за справкой, что колхоз не возражает против продажи дома на вывоз. Заставил он и Дементия принести справку с места работы.

Когда после долгих хлопот и волнений все было кончено, Николай, написав печатными буквами расписку на пятьсот рублей, получил деньги и ушел из сельсовета. Чужгин решился завести разговор о месте под усадьбу. Но в это время из соседней комнаты выглянул торопливый Митя Ямчиков с бумагами в руках.

— Чего у тебя? — спросил Широгоров.

— По заявлению. Завтра президиум сельсовета собирается, буду докладывать. Давай обговорим, как лучше-то...

— Об чем заявления?

— Да вот Ангелова Парасковья пишет, — протянул ему Федя исписанную каракулями бумажку. — Просит освободить от молоконалога. У коровы выкидыш...

— Ангелова с Пожарища? Знаю. Никаких освобождений. Раз выкидыш, стало быть, худо глядели за скотиной, сами виноваты. Дальше!

— Опять по молоконалогу. Из Якушевской Пелеви-на Марья. Корова не обгулялась, яловая.

- Та же песня. Недогляд. Отказать.
- Ефросинья Ивакина просит выдать пособие по многодетности. Из Щетинской.
- Сколько ребятишек?
- Семеро. Все поименованы, старшему четырнадцать.
- А где у нее старший-то? Ведь не дома живет?
- Отправлен к тетке в Вологду.
- Стало быть, на заработках. Отказать.
- Николай Степаков из Федяшинской просит разрешенья лошадь купить.
- Погоди, погоди! Единоличник? Фигу ему на постном масле, а не лошадь! Все свои кулацкие замашки никак не забудет! Еще?
- Боле нету.
- Так. У тебя чего, Чужгин?
- Место бы надо под усадьбу, Степан Петрович...
- Место? — нахмурил рыжеватые брови Широгоров, отчего резче простили крупные осины на лице.— Верно, место требуется, раз дом купил. Митрий, у нас рядом с Молчальником-то кому место отведено?
- Гуслиянову.
- А дальше?
- Придворову.
- Вот, Придворову. А ты за ним становись, да гляди ровно, в линию чтобы... Тут у нас большая улица ляжет, аж до новой школы!
- Побойся бога, Степан Петрович! Ведь болотина! Отведи дальше-то, напротив новой школы, на бугре!
- Ты где болотину выискал? Где? У Молчальника, верно, паршиво. У Придворова посуше, а там уж бугор починается, никакой воды нету. Ты что думаешь, куда хочу, туда и заворочу? У нас, брат, застройка по плану, как велено, так и строим!
- Эх, Степан Петрович, Степан Петрович!
- Все, все! Пишите бумаги, а мне недосуг дискуссии с тобой обсуждать. У меня под командой пятнадцать колхозов, оне тоже вниманья требуют!

Из сельсовета Чужгин ушел расстроенный и злой. Ничего не видя, шагал мимо интерната и почты, мимо школьной конюшни, рядом с которой в длинном бараке помещался заводской клуб. Пересек узкоколейку, протянутую от лесобиржи на берегу Куны к клепочному заводу. Постоял у дома Молчальника: в самую топь

загнали мужика, песку уж подвод двести высыпал под огород, сколько канав прогреб, а все топь, особо сейчас, после октябрьских дождей и первого растаявшего снега.

До половины излажен сруб и у Придворова, тоже в низине, однако тут намечался пологий подъем. На срубе колотились два плотника: сам Придворов, убежавший из ближнего колхоза на железную дорогу, и Коля Пелин, местный житель, дом которого стоял наискосок через будущую улицу: от реки дальше, зато и место повыше, сухое. Дементий подошел к мужикам:

— Труд на пользу!

— Здорово, Дементий Ильич! — Придворов, силевший верхом на венце сруба, воткнул топор в бревно, потянулся за кисетом. — Поди-ко, тоже под дом место приглядываешь?

— Без меня приглядели! — сердито буркнул Чужгин. — К тебе, Анатолий, в соседи определили.

— Милости прошу! Не пойму только, за что на тебя-то Широгоров взъелся? Ладно я, из колхоза убег, так он в отместку посадил меня на болотину. А ты чем провиноватился?

— Хрен его знает! Я вон на бугре против школы просился. Нет, уперся, как бык!

— Бугор энтот уж отдан! — захохотал Пелин. — Ди-дер там станет строиться.

— Во-он что! — от неожиданности Дементий присел на бревно, лежавшее рядом со срубом в кипени белых щепок. — Умаслил, стало быть, немец.

— Не горюй, Дементий Ильич! Выше моего дома воды помене. Огородишко, верно, жили помотает: вишь, ближе-то к берегу все ивняк. Зато Куна рядом, да и соседи деловые, что я, что Ди-дер! — Посмеялся Придворов.

8

В начале марта тридцать седьмого года на клепочном заводе дотла сгорел спирто-порошковый цех. Винили за недогляд углежогов, смолокуров, ругали пожарников, проспавших начало пожара. Поговаривали о вредительстве.

На большой перемене Чужгин с Клыковым присели на крыльце столярки, грелись на вешнем солнышке. После зимней стужи казалось оно нестерпимо ярким, до ломоты в глазах выблестило пухлые снега.

- Ох, благодать какая! — довольно щурясь, сказал Клыков. — Раненько ноне март веснянку затягивает!
- Все еще будет! — возразил Дементий. — И стужа, и слякоть, и метель. Прижмут ужо сорок утренников...
- Раньше в деревне пиво об эту пору ставили. Ох и добро мартовское-то пивко! Ажно с ног валит!
- Не пиво ли и углежогов наших свалило на спиртопорошке? — засмеялся Дементий. — Сказывают, пьяные были.
- А может, и вредительство. Вон их ноне сколь развелось, врагов-то.
- Окстись, Миша! Чего враги в Ясеньге забыли? Бревна еловые? Места им другого нету?
- Все может быть! — не согласился Миша. — Вчера вон в газетке читал: «Не вредители ли орудуют на реке Сить?» Трактора, вишь, в лесопункте ломаются да и только. А эта Сить от нас недалеко, в Куну и впадает...
- Как же! — Дементий дернул кончик рыжего уса. — Одна вредителю и забота — завалящий тракторишко ломать. Я понимаю: вредитель-троцкист, вроде Пятакова в Москве, на самой верхотуре — тот нагадить может. А наш спиртопорошок дивно, что раньше не сгорел. Кругом — чисто порох, а они тут же и уголь жгут в ямах!
- К бараку не шла — летела молоденькая учительница.
- Дементий Ильич, я со Стебловым договорилась, нам необходимо сколотить колесо...
- Сбил-сколотил, вот колесо! Сел да поехал, ах, хорошо! — оскалился Миша Клыков.
- Я серьезно! Большое колесо, похожее на мельничное...
- Али мельницу на Куне задумали ставить? — пошутил и Дементий.
- Ой, какие вы... Для спектакля колесо, не настоящее, а чтобы вертелось, как настоящее...
- Для какого спектакля?
- «Мельник-кулак». Бутафорское колесо должно из-за занавеса выглядывать и вертеться. Сделаете, да? Стеблов разрешил!
- Проволоки найдете, так загну и мельничное. Когда надо-то?
- На восьмое, к женскому дню.

— Ноне всю проволоку под радио приспособили,— заметил Миша.— В Ожеге самую завалявшую не найти.

— Попросить комсомольцев из леспромхоза если?— неуверенно спросила учительница и вдруг встрепенулась.— Будет проволока!

— Экая птаха! Полетела! Нам бы с тобой так, а Демеша?

— Отлетались, брат! — ответил Чужгин, мрачнея.

Невелика обуза — бутафорское колесо: загнуть каркас из проволоки, скрепить дощечками да оклеить бумагой. Все же вечер-два ухлопаешь и как раз в такое время, когда каждый час дорог. Шкаф Масалову недоделан, а срок на носу. Сруб из Щетинской недавно перевезли, свалили выше Придворова дома на слеги, там тоже работы невпроворот: надо все к лету приготовить, чтобы стройка шла без задержки.

И все-таки хмурился Дементий по другой причине. Раньше Стеблов с поручениями заходил сам, вроде как уважение оказывал: надо, мол, выручай! И никогда отказа не знал, хоть и не обязан учитель по труду пилить, строгать бесплатно да сверхурочно всякую всячину то для школы, то для директорской квартиры. Тут, вишь, поленился сам-то, девчонку наладил...

Через день Гришка принес в мастерскую моток проволоки.

— Тять, велено тебе отдать на колесо!

— Положь в угол, к верстаку. Да не туда, шкаф оцарапаешь!

Дементий поглядел на вспотевшего от усердия сынишку, и сердце сдавила жалость. В четвертом классе Гришка заметно подрос, руки далеко высовывались из рукавов овчинной шубенки, короткие, в заплатах штаныны поминутно вылезали из стоптанных валенок. Мала стала одежонка парнишке. Будущей зимой придется Дашину шубу ему отдать, а в чем Даше ехать, ежели после седьмого учиться надумает? Сапоги ей сшил новые, а шуба тоже стала мала, и пальтишко пока не укупишь, дорого. С перевозкой сруба да с подготовкой к стройке в долгу как в шелку, и просвета не видать. Зарплату на хлеб только и держат. Крути не крути, а придется, видно, Анне устраиваться на работу, а Дашку отправлять в ФЗУ. Только выбрать бы с умом профессию, чтобы не каялась после, не кляла родителей...

— Тять, ты чего стоишь-то? — удивленно глянул на него Гришка.— Давай колесо-то делать!

— А... Колесо! — очнулся Дементий.— Вот что, Гришук, сбегай-ка на конюшню к дяде Мише, вроде там у него ломаные тележные колеса валялись. Спроси, нет ли худой какой ступицы. Не спутаешь?

— Да знаю я ступицу! — обиделся Гришка.

— Один-то не волочи, тяжело, Вальку Клыкова возьми.

— Ладно!

После уроков ребятишки приволокли расхлябанную ступицу от старого тележного колеса. Из проволоки Дементий загнул два кольца, длинными планками связал их со ступицей, а между кольцами вместе с ребятами стал крепить поперечные дощечки — плицы. Между делом поглядывал на Гришку: сообразительный малец, у этого инструмент из рук не вывалится. Почаще бы его вечерами в столярку брать, пригодится ремесло в жизни, какая ни задастся: хоть хорошая, хоть худая.

Их возню прервал тихий, но твердый стук в дверь. На пороге мастерской показался Дидер, как всегда опрятно одетый, подтянутый, несмотря на полноту.

— Страстуйте! Я к вам, Тементий Ильич имею дело...

Чужгин подошел, вытирая руки передником.

— Нам должно тевять рам на парник стелать. Размер на чертеже указан.— Дидер протянул свернутый листок бумаги.

— Стеблов знает? — спросил Дементий, развернув листок.

— Та, та, знает! Интернат зимой овощь будет просить. Время...

— То и оно, что время! Я вам кто, учитель или подмастерье? Вы вот после уроков домой торопитесь, а я, значит, обязан до ночи в мастерской колотиться? Не выйдет, Евгений Карлович! — заявил Дементий, не скрывая обиды.

— Что есть — «не выйдет»?

— Не выгорит, стало быть. Рамы тебе нужны? Сам и к верстаку становись.

— Карошо.— Дидер выдернул чертеж из пальцев Дементия.— Завтра со Стебловым разговор будет.— И, повернувшись, тяжело протопал к выходу.

— Навалились, как на ишака! — ворчал Дементий,

возвращаясь к притихшим ребятишкам.— А ну, марш за бумагой! Окленим да так разрисуем — в двух шагах от настоящего мельничного не отличат! Может, обоев кусок добудете, в самый раз...

Ребята убежали, а Чужгин принялся покрывать лаком масаловский шкаф. Окрашенный темной краской, он и без лака гляделся, как картинка. Многие, кто побывал в мастерской, просили сделать копию, но столяр отказывал всем подряд: не до шкафов, коли стройка на носу.

Однако и за любимой работой худое настроение не проходило. Стеблов, понятно, взовьется: никогда такого не было, чтобы Чужгин от школьных поделок отказывался. А пусть не заносится. Надо парниковые рамы, так и пришел бы сам, как бывало, и поговорили бы ладом. Виши, немца послал: прикажи, мол, там трудовику, пусть строгает! «Нет, Михаил Иванович, я тебе не холоп и на побегушках служить не намерен,— кипятился Дементий.— Не мальчик. Раз ты на казенную ногу со мной, так и я могу в позицию встать...»

Как это интересно устраивается на свете: чуть завладел человек властью, и властью-то маленькой, пустяшной, так уж и требует к себе уважения особого, да хоть бы уважения только,— нет, подавай ему собачью покорность, ходи за ним, ублажай... Вроде раньше это не так кидалось в глаза Чужгину, или оттого, что молодой был?

Строгостей теперь, ясно, больше. Живешь, как в армии. Об этом и сам Сталин говорит. Его речь «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» на пленуме ЦК ВКП(б) во вчерашней газетке приведена. Внимательно прочел ее Дементий, не один раз. «Как обстоит дело с руководящим составом нашей партии? — спрашивал Сталин.— В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои, имеется около трех—четырех тысяч высших руководителей. Это, я бы сказал, генералитет нашей партии. Далее идут тридцать—сорок тысяч средних руководителей. Это — наше партийное офицерство. Дальше идут около ста — ста пятидесяти тысяч низшего партийного командного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицерство...»

Неужто и Стеблов этаким унтером стал: поперек ему не скажи, сам внакладе останешься. Как скомандует

«налево — кругом!», так и побредешь по миру с сумой...

На школьный спектакль в Ясенгский клуб собралось чуть не полпоселка. Анна отправила мужа со старшими ребятишками, сама с Сережкой да Гелькой осталась дома. Гришка убежал раньше всех: напросился крутить бутафорское мельничное колесо во время спектакля.

В клубе Дементий бывал редко, не до развлечений с такой оравой, и сейчас, смущенно посмеиваясь в рыжие усы, ходил вдоль стен, разглядывая лозунги, осо-авиахимовские плакаты, постоял с мужиками у свежей стенгазеты, где нарисовали толстого пожарника Андриана Сучкова с пирожком во рту. Под рисунком — подпись: «Гори и спирт, и порошок, а я не брошу пирожок!» Смеялись: ловко продернули Андриана за пожар на клепочном...

Перед спектаклем крутили фильм: «Доклад товарища Сталина о проекте Конституции СССР». Потом выступил Широгоров.

— Широко шагая вослед за великим товарищем Сталиным, — напрягаясь, кричал он со сцены, — наш Северный край превратился в цветущий социалистический Север! Сегодня сотни миллионов рублей выкладывают на новое строительство. Строится в крае целлюлозно-бумажный комбинат, судостроительный завод, как грибы, растут лесозаводы. Севкрай отправляет лес за границу и уже добыл четыре миллиона золотых валютных рублей на индустриализацию страны, товарищи!

Однако враги Советской власти не дремлют. Там, где мы закрываем глаза, прямо сказать, спим, действует паршивый враг и вредитель. Вот вам пример: Ясенгский леспромхоз не выполняет план, это прямое вредительство, товарищи! Это почто в леспромхозе на подвесной дороге по тридцать аварий за месяц? Это почто на клепочном сгорел спирто-порошковый цех? Яснее бела дня, что тут действовала вредительская рука! Будьте спокойны, товарищи, эту руку мы схватим и отрубим по самое плечо. Может, она и сейчас здесь, в этом зале, так пусть пощады не ждет!

Широгоров не спускал глаз с кого-то в середине зала, и многие в том месте, куда он глядел, опустили головы. Слухи о скорых арестах не первый месяц ползли по Ясеньге, а Широгоров — власть, было чего бояться. Только Котов не опускал голову, на него-то и смотрел

сейчас Широгоров. Заметив в глазах начальника почты, бывшего кавалериста, не страх, а насмешку, Широгоров отвел глаза, сбился:

— Вот так вот... Великий товарищ Сталин сказал: «Женщины в колхозе — большая сила!» А потому поздравляю всех наших ясенгских женщин-тружениц, которых революция избавила от кабалы, с международным праздником труда — Восьмое марта!

Спектакль Дементий смотрел вполглаза, не вникал, приметил только, что Гришка старается изо всех силенок и бутафорское колесо вертится бойко. Вспоминая угрозу в словах Широгорова, ежился: а что, ежели и он где-то в разговоре брякнул лишнее? Доведут да перевернут и загремишь, куда Макар телят не гонял. Церемониться не станут. В Ожеге машиниста паровоза арестовали за то только, что походный завтрак завернул в газету с портретом Сталина.

Промелькнул день, другой, неделя, но в Ясеньге все было тихо, и грозная речь сельсоветского председателя стала тускнеть, забываться. В один из мартовских дней, как обычно, прибежали школьники на урок, столпились в углу, где учитель выдавал рубанки да пилки.

— А мы последний раз на труд пришли, Дементий Ильич, — сказал, получая инструменты, Толя Котов, сын начальника почты.

— Али уезжаете? — не понял Дементий, и ребятишки загомонили, перекрикивая друг друга:

— Труда боле не будет!

— В газете постановленье есть!

— Отменяется труд!

— Полно врать-то! — оборвал учитель, а у самого екнуло в груди. — Становись по местам!

Строгали из тарной клепки штакетник, которым Стеблов хотел по весне обнести школьную территорию. Прохаживаясь между верстаками, привычно поправляя то одного, то другого, Чужгин еле дождался конца урока, потом, как был в фартуке, выбежал из столярки, правясь на почту, благо стояла она через дорогу, рядом со школьным интернатом. Разыскав Котова, спросил, верно ли говорят ребята.

— В самую точку говорят, Дементий Ильич. Вот, читай постановление Наркомпроса: уроки труда в школах отменяются... — он протянул «Пионерскую правду».

— Ох, не вовремя... — вздохнул Чужгин, пробегая глазами постановление.

Шутка осталася без работы, когда стройка на носу, Дашу́тку надо собирать на учебу, одевать-обувать свою поизносившуюся орду! А жить где? Из интерната Стеблов сразу попросит...

Хоть и расстроился через край Дементий, а промстил, что и Котов будто в воду опущенный.

— У тебя-то чего стряслось, Иван Федорович?

— Да видно, и мне тут долго не насижать! — понизив голос, сказал Котов. — Уполномоченный НКВД в Ясеньгу едет по нашим почтовым делам. Письмо какое-то не по адресу заслали: надо было в Архангельск, а оно в Мишутиче оказалось. Широгоров довел, боле некому!

— Ну и времечко, едрит твою налево! — Дементий протянул руку. — До встречи, Иван Федорович, побежал, урок у меня.

Хочешь не хочешь, а надо было поговорить после уроков со Стебловым: станут ли держать Дементия в школе, али самому уходить подобру-поздорову, благо зовет Масалов в заводскую столярку.

«Ну, ладно я, другие там учителя по труду без работы останутся, — размышлял Дементий, вернувшись в мастерскую. — Ребятишки-то как? Разве это резон — выпускать неумех? Худо-бедно, а строгать учим, мастерить. Ни молоток, ни долото, ни рубанок из рук у ребятни не вываливаются. Подрастут, переженятся. В дому и стулья, и столы сами сколотят, и другое чего по мелкому ремонту. А теперь что будет? Добро, у кого отец мастеровитый, научит топор держать, а ежели нег отца? Нет, на одном чистописании далеко не ускакаешь...»

Иди к директору больно уж муторно: после размолвки с Дицером ни Стеблов, ни биолог в мастерскую носа не казали и о рамах парниковых будто забыли. Однако Стеблов встретил столяра хоть и сухо, но не враждебно. Выслушал все сомнения, кивком головы отбросил жесткую прядь волос, успокоил:

— Год дорабатывай. Уроки запретили — другое дело найдем. Штакетник там, рамы парниковые... Ставку я тебе сохраню. С лета видно будет, может, что и переменится. Но имей в виду, интернат к осени надо освободить в любом случае.

Наутро Ясеньгу облетела недобрая весть. Ночью

арестовали и увезли в Ожегу начальника почты Котова, директора лесозавода Масалова, механика подвесной леспромхозовской дороги Еремина и еще трех мужиков из окрестных колхозов. Ясеньга присмирела, по улицам ходили с оглядкой, вести передавались шепотом. До сего дня враги народа вредили где-то далеко: в районе, в области, в северных да южных краях, но вот оказалось, что и тут они, рядом. Знакомые-перезнакомые, а — враги.

Взъерошенный, как апрельский воробей, залетел в столярку Миша Клыков:

— Чул?

— Чул... — неохотно ответил Дементий.

— Чего же это творится-то, Демеха? — Миша ногой придинул табуретку к верстаку, сел. — Ладно, тех мужиков не знаю, может, Еремин и сыпал песок мотовозом в буксы, хотя и навряд ли. Масалова-то за что? При нем только заводишко и план потянул. До Масалова десяток, поди, перебывало в директорах, все без толку! И так прикинуть, ведь красный командир!

— Пожар, видно, приписали на спиртопорошке...

— А Котов?

— Котов... Он Широгорову поперек горла встриял, что те рыбья кость.

— Так и сажать? Мало ли кто кому не уноровит! Степа Широгоров, сказывают, как из колхоза едет, в мешке то курица, то ягненок или поросенок шабаркается. А туда же...

— Брось! — поморщился Чужгин. — Все одно нас с тобой не послушают...

— Дожили! — Миша встал, покружился по мастерской, убежал, не прощаясь.

Не успел Дементий рассортировать доски на парниковые рамы, как в мастерскую зашел сам директор. Он хмуро поздоровался, присел на табуретку, оглядел пустующие верстаки, задержался глазами на готовом шкафе для Масалова.

— Все нарушить придется, Ильич. Жалко, да...

— Чего нарушить? — испугался столяр.

— А всю мастерскую. Ни к чему она нам теперь. Думаю тут спортзал оборудовать. Верстачки разбирай помаленьку.

— Подождал бы, Михаил Иванович. Не ровен час, восстановят...

— Едва ли. Да, вот еще что. Посудину эту,— он указал пальцем на шкаф,— сегодня же убери. Вдруг зайдут, станут докапываться, кому приготовлен...

— Я и сам собирался его Масалову свезти.

Стеблов недовольно крякнул, снял шапку, сунул на верстак, пригладил черные волосы.

— Такие мысли из головы выкинь. В случае спросят, скажешь, что для себя мастерил, в новую избу. А еще лучше продай кому-нибудь. Да хоть и я возьму.

— Никак невозможно,— покачал головой Чужгин.— Деньги-то за него я вперед попросил.

— А кто видел? Свидетели есть?

— Свидетелей нет, да ведь я-то знаю.

— Ну вот! Ты пойми! — загорячился Стеблов.— Нельзя сейчас шкаф Масалихе отдавать! Сразу доведут Широгорову, а то и выше. Станут копать, кто да зачем врага народа снабжает? Ведь мы с тобой оба головы под топор подставим из-за какой-то... деревяшки!

— Для тебя, может, и деревяшка,— не согласился Дементий.— А для меня... Совесть-то куда спрячу?

— Имей в виду, я из-за твоей стоеросовой совести за решетку садиться не намерен,— вспылил директор.— Свезешь Масалову, сам и отвечать станешь. Мое дело сторона — знать не знаю, ведать не ведаю. А то и расстаться придется.

— Михаил Иванович! Ведь через тебя Масалов заказ-то сделал!

— Все! — Стеблов встал, нахлобучил шапку.— Думал я с тобой добром договориться, нет, уперся как бык. Простых вещей не понимаешь. Предупреждаю, не дури, хуже будет!

Директор быстро, не прощаясь, вышел из столярки.

Дементий в раздумье постоял у шкафа, огладил его натруженной рукой. Потом решительно сорвал с гвоздя полушибок, торопливо оделся и направился прямиком в конюшню к Мише Клыкову.

— Я от него, а он ко мне! — удивился Миша.

— Запрягай! — бросил Чужгин.

— Куда это?

— Шкаф Масалову надо свезти.

Клыков протяжно свистнул:

— Ты в уме ли? Погоди хоть с недельку, пока шум-то уляжется!

— Некогда годить. Стеблов приказал сегодня убрать из мастерской.

— Гляди, Демеха! Сей же час Широгорову донесут!

— Мое дело маленькое. Мне заказали, я сделал.

— А леший с им! — засмеялся вдруг Миша. — Пусть сажают, ребятишек хоть не кормить!

— Брякнешь тоже!

Вдвоем они перевезли шкаф, сами занесли его в квартиру, где не умолкал рев Масалихи и ее малолеток.

Узнав, что Чужгин отвез-таки шкаф Масалову, да еще на школьной лошади, директор пришел в ярость. Он тотчас вызвал к себе столяра. В кабинете сидел, кроме директора, и Дидер. Едва Чужгин переступил порог, Стеблов официально, ровным голосом, но как-то сквозь зубы, сказал:

— Ты, товарищ Чужгин, в курсе, что уроки труда в школах отменены. На другую учительскую работу назначить тебя не можем, потому как образования специального у тебя нет. Вынужден я написать приказ об увольнении тебя из школы по сокращению штатов. Мастерскую завхозу сдашь, под расписку.

— Добро, Михаил Иванович! — Дементий прямо и пристально поглядел директору в глаза. — Наградил за труды, спасибо!

Он хлопнул дверью, спустился на крыльцо, долго и бессмысленно глядел в землю, в то место, куда каждые пять секунд била падающая с заструхи капель. Разбиваясь о подтаявшую льдинку, большая и светлая капля разлеталась в мелкую водянную пыль.

В конце марта Лидия Егоровна Павлова, секретарь школьной комсомолии, подбила своих кружковцев съездить с концертом в тринадцатый квартал, где заготовляли лес мужики из окрестных колхозов. Павловой и самой-то не больно хотелось ехать, да вызвал Стеблов, поругал комсомольцев за худые связи с рабочими коллективами. Мол, сидите, как кроты, в школе, нос на завод или в лесопункт высунуть боитесь. Лидия Егоровна обиделась, не зная того, что Стеблов получил строгую бумагу из районо. В бумаге предлагалось, не мешкая, бросить все силы на помочь в завершении плана зимних лесозаготовок и образцовое проведение стахановского двухдекадника в лесу.

Обижайся не обижайся, а на участок надо было ехать, хотя бы только с концертом, посвященным Стalinской Конституции и выборам в Советы. Кружковцы обрадовались поездке, одна Даша закручинилась, да так, что подружки закадычные Женя Лютарович да Тания Варт прилипли.

— Не отпустят меня,— пожаловалась Даша.— Водиться некому...

Подвалило Дашутке хлопот по дому с той поры, как родился Сережка. Да еще в школе выбрали вожатой пионерского отряда четвероклассников, в кружок само-деятельности ходила, а класс выпускной, до экзаменов — рукой подать. И после уроков не задержись — мать ругается. Еле дождется ее из школы, сунет Сережку и бежит на приработки: то на станцию, то на завод. Нянчиться Дашутке не в новинку, с десяти годов Гельку пестовала, да больно уж Сережка капризным удался: плакса, крикун, ничем не уноровишь. Порой до того замается Даша, что чуть не со слезами молит Гришку поводиться часок. Да с Гришки где сядешь, там и слезешь: шарнет младенца в качалку, и усвищет на улицу, только двери споют. Из Верки тоже нянька, как из горшка пестерь: того и гляди, брякнет ребенка об пол.

— Очень даже смешно! — порохом вспыхнула Женяка.— Как, интересно, не отпустят, если комсомольское поручение! И не нюнь раньше времени! Поедешь, это я тебе говорю!

— Ой, лышэньки! Мы сами Дементия Ильича попросыли! — поддержала Таня. Ее увезли с Украины еще семилетней, но в семье говорили по-украински, и Таня часто сыпала привычные словечки, особенно, когда горячилась.

И верно, расстраивалась Дашутка зря. Мать поворчала, но запретить не посмела, когда Даша сказала, что ехать надо обязательно, важное, дескать, комсомольское мероприятие. Казенных и строгих слов неграмотная Анна боялась.

Репетировали стихи и песни о Стalinе, творце Конституции. Даше дали стихотворение Сулеймана Стальского, и она учila его после школы у кроватки-качалки, в которой иногда задремывал и переставал орать Сережка. Гелька полюбила эти репетиции, даже выучила стихотворение раньше Даши.

Поехали кружковцы в тринадцатый квартал в нач-

ле апреля на мотовозе, что возил лес по подвесной дороге. Удивительная эта дорога, говорят, была единственной в Союзе, и устроена хитроумно. Метрах в пяти—шести друг от друга вкопаны в землю да укреплены распорками высокие, смоленые у комля столбы. На верхушки столбов уложены поперечины-бревна, ровно стесанные, а по тесанному прибит железными костылями узкоколейный рельс. По этому рельсу и катился на маленьких колесиках мотовоз с кабиной. Чтобы не свалиться с высоты, по обе стороны столбов спускались от кабины чуть не до земли деревянные бункера. Качнет мотовоз в левую сторону, левый бункер ударится о вкопанный столб и выровняет машину. Качнет вправо—правый бункер свалиться не даст.

К мотовозу цепляли деревянные платформы, перильцами огороженные, у которых, вместо бункеров, свисали по обе стороны столбов рамы с укосинами внизу. На эти-то укосины и грузили бревна в лесоучастках, а потом мотовоз пер по-пьяному вихляющийся визжащий состав в Ясеньгу. За один рейс вывозил такой поезд к железной дороге шестьдесят—семьдесят кубов лесу.

Немало дивились деревенские жители, впервые попавшие в Ясеньгу, на страховидную эту дорогу. Опасались и ездить по ней, когда посылали их рубить лес в дальние таежные квартала. Одна девка, сказывают, такое письмо в деревню написала: «Видно, мне, милая мамушка, дома бсле не бывать: увезли на мотовиле в даль дальнюю...»

На подвесную дорогу кружковцы пришли вшестером, считая и Лидию Егоровну. Троє подруг—Чужгина, Лютарович да Варт; гармонист Сашка Копытов, веселый беленький непоседа, и Лешка Шилов, главный в школе силач, на спину которому забирались вчетвером, показывая физкультурные номера. Лешка, бывало, и не крякнет, хвалится, что мог бы поднять на плечах половину класса, ежели бы ребятня умела держаться на пирамидной высоте, а не рассыпалась мелким горохом.

Шилов и Копытов коренные, из ближних к Ясеньге деревень: Лешка с Пожарища, а Сашка из Щетинской. Родителей же Лютарович да Варт выселили в эти края семь лет назад. Теперь-то привыкли друг к дружке, седьмой год в одном классе учатся и считаются все своими, ясенгскими...

Школьных артистов встретил моторист Федор Боло-
3—4290

тов. Числили его в леспромхозе стахановцем и недавно выдали премию — сорок метров мануфактуры. Многие завидовали: всю семью Федя оденет. Даже в газете районной писали про эту премию. Федор подсадил ребят в бункер мотовоза, указал на узенькую дощатую лесенку:

— Забирайтесь наверх, поедете на первой платформе от мотовоза.

Наверху, у кабины, весело скалился молодой помощник Болотова Гриша Голицын. Он протянул Лидии Егоровне широченную руку, помогая подняться. На руке по первый сустав были отхвачены все четыре пальца. Лидия Егоровна спросила испуганно:

— Где это вас так?

— А лошадка моя откусила! — кивнул Гриша на мотовоз и рассмеялся. — Песок под колеса сыпал, все они, дьяволы, буксуют на подъемах, вот и задернуло — была да нет!

— Больно? — страдальчески сморщилась учительница.

— Ништо! Зажило, как на собаке!

Мимо кабины протиснулись к сцепке с первым вагоном, по одному перескочили на узенькую платформу, отчего вагон закачался, поскрипывая. Даша вцепилась в деревянное перильце, ахнула: высоко и вольно было тут, наверху. Черные крыши бараков, кажется, прямо под ногами, хоть шагай по ним. Дальше тянется светлой полосой железная дорога, за ней белым дымом пыхтит клепочный завод, плещутся на ветру под апрельским солнцем голые вершины тополей над отцовской, да нет, теперь уж не отцовской, столяркой. Еще дальше, на бугре за речкой Ясеньгой, где начинается деревня Пожарище, лебедью плывет церковь, чуть не задевая колокольней белые на синем облака. Даже серый, вспученный лед на Куне можно разглядеть и зеленый бор на том берегу.

— А вон наш дом! — показал пальцем куда-то к церкви Лешка Шилов. — Как на ладошке!

— Ага! Я даже свои окошки в интернате вижу! — подхватила Даша. — Будто на самолете летишь!

— Побывала бы ты на настоящем-то самолете! — повернулся к ней Сашка Копытов. — Оттуда окна, не бось, не разглядыш!

— Ой, мамочки! — рассмеялась Таня Варт. — Будто сам летал!

— Не летал, так полетаю, верно, Лешка?

— А чего? Как Чкалов!

— Все выше и выше, и выше! — запела Женя.

Сашка растянул меха, стал подыгрывать. Подхватили все, но тут затрещал двигатель, мотовоз дернулся, платформа накренилась, будто на крутой волне. Девчонки завизжали от страха, но деревянная рама внизу мягко стукнулась об опорный столб и выровняла платформу. Протяжно заскрипели колеса, забрякали сцепки вагонов, поезд, как гусеница по сломленной травине, пополз от столба к столбу к сизому лесу.

Дул в разгоряченные лица тугой, процеженный талыми снегами ветер, медленно упливали назад бараки. Вот скрылись и они за плавным изворотом дороги, и совсем рядом уже побежали назад, перегоняя друг дружку, вершины елок.

Высота подвесной дороги не везде одинакова: на взгорках рамы вагонов чуть не задевали плешины вытаявшей земли, а в низинках столбы будто подрастили и делалось жутковато глядеть вниз с платформы: земля уходила из-под ног.

На уклоне к ребятам подошел Гриша Голицын, тронул Лидию Егоровну за плечо, крикнул:

— На одной стороне не скапливайтесь! Платформу перекосите, так колесо соскочит!

— А чего тогда будет? — полюбопытствовал Сашка. — Навернемся?

— Задержка будет. Пока вываживаешь да колесо на рельсу ставишь, километров десять пропахать можно.

— Гриша, мы вправду не упадем? — встревожилась Лидия Егоровна.

— Не бось! Не свалимся. Вот груженый состав, это да, бывает.

Лес поредел, заискрилась промоинами на перекатах быстрая речка.

— Чужга! — показал вниз Гриша Голицын и спросил Дашу: — Вы, кажись, из здешних краев переехали?

— Из здешних, — почему-то покраснела она.

— Понятно! Раз Чужгины, стало быть с Чужги, более неоткуда. Замерзли? — участливо спросил Гришка. — Ничо, скоро приколесим.

— Придется там и ночевать, — забеспокоилась учительница.

— Тогда утром и обратно с нами.

— Так долго грузят-то,— удивился Сашка Копытов.

— Часов двенадцать—шестнадцать на погрузку уходит. Мешкотное занятье!

— Вот добро! Я хоть с тяткой поночую! — обрадовался Шилов, отец которого на всю зиму был послан заготовлять лес от колхоза «Челюскинец».

Ехали, кажется, недолго, часа четыре всего, а ветром продуло до дрожи. У Даши посинели губы, покраснел нос, она зябко прятала руки в карманы овчинной шубенки. Стоя рядом с ней, Сашка постукивал зубами, но все-таки балагурил, пытаясь рассмешить Дашу:

— С-стужа да м-мороз, на печи мужик замерз!

Мотовоз остановился на бирже, куда беспрерывно подгоняли мужики лошадей с дровнями и подсанками. Каждая лошадь волочила одно-два бревна. Их скидывали у длинных штабелей, по-местному «костров», которые тянулись вдоль обеих сторон подвесной дороги. Невдали за кострами чернели три длинных барака и конюшня.

— Ждите меня здесь, я мастера разыщу,— Лидия Егоровна направилась к штабелю, у которого скопилось много подвод и людей. Там густо взлетала ругань: кто-то свалил толстое бревно поперек и загородил дорогу подводам.

Заметив учительницу, мужики притихли, один побежал за мастером Епишей Кузнецовым, но тот вдруг сам вынырнул из-за ближнего костра: в телогрейке, в зимней шапке с отогнувшимся ухом, в яловых сапогах.

— Что за шум, а драки нет? Какая тетеря, мать-перемать, деревину середи дороги свалила?! А вы чего рты раззявили? Бери ваги, кати бревно! Сдай лошадь, мать-перемать, кому сказано!

Учительницу Епиша не видел в упор, и она растерянно переминалась на обочине, черпая короткими ботиками сырой снег. Наконец не выдержала, подбежала, дерзко дернула Епишу за рукав телогрейки:

— Здравствуйте! Мы к вам из Ясенгской школы, с концертом приехали...

— Вас только тут и не хватало! — понес Епиша, не понижая голоса.— Остатние дни лес возим, скоро и на лесосеку не сунесяся, кажну минуту считаем! Завертывайтесь назад!

— А вы на меня не орите! — вспылила Павлова.—

Только попробуйте сорвать предвыборную политическую кампанию!

Услыхав «политическую кампанию», Епиша осел, растерялся, зачем-то снял шапку:

— Да я что... Оно конечно, ежели, к примеру, кампания...

— Красный уголок есть у вас? — все так же строго спросила учительница.

— Есть, есть красный уголок, — засуетился мастер и, повернувшись к костру, крикнул:

— Семен! Ну-ко, проводи ребят в красный уголок! Да скажи Дуньке, пол бы там вымыла!

Вскоре семиклассники уже пробирались по унавоженной лошадьми дороге к баракам, обходя с краю широкие, сверкающие небом и солнцем лужи.

— По долинам и по взгорьям, а? — толкнул Дашу в спину Сашка Копытов.

— Отступись! — дернула она плечом. — И так еле бреду!

Лесорубы жили в двух бараках, в третьем помещались ларек, столовая и красный уголок. В уголке этом, видно, бывали редко: стоялый дух, холодный и сырой, опахнул нежилым. У яркого от солнца окна притулился расшатанный стол-самоделка, к стенам жались две колченогие скамейки. Голые стены, грязный пол, прокопченный потолок да столбовая небеленая печь — вот и все, на чем можно остановиться глазу. Ребята жались у двери, растерялась и Лидия Егоровна.

— Надо Дуню искать, — сказала она, проведя по столу пальцем. — Какая-то Дуня тут есть, которой велено пол вымыть...

— Мы с девочками вымоеем, Лидия Егоровна, ведра бы дали, — предложила Даша.

Искать Дуню не пришлось. Крепко сбитая, улыбчивая, она скоро забежала в красный уголок.

— Гостеньки вы мои дорогие! Ой, жаланные, как и проехали эку дорогу, околели, поди-ко, все! Я ужо печку-то накину, живо нагриется...

— Да, уж вы, пожалуйста, подтопите, — попросила учительница. — А пол мы помоем сами.

Обтерли мокрой тряпкой стол, скидали на него верхнюю одежонку, поставили гармонь. Сашка и Лешка не успевали бегать выплескивать грязную воду и носить чистую, снеговую. Затрещала печь, кидая в комнату еду-

чий дым, который тут же слоило солнце, снопом бьющее в оконце.

— Поесть бы, а, Лидия Егоровна? — без надежды спросила Таня Варт.

Ребята брали с собой узелки с хлебом да вареной картошкой, но умывали запасы еще на мотовозе, а сейчас, проработавшись, почувствовали, как засосало под ложечкой. Правда, в котомке Лешки Шилова лежал запас пирогов, но мать наказала отдать их отцу.

— Крепись, Танька! — поддернул Копытов. — С голоду брюхо не лопнет, только сморщится!

— Ну уж ты скажешь, Копытов! — засмеялась вместе со всеми Лидия Егоровна.

Вновь прибежала Дуня, закрыла трубу, принялась балаболить про здешние порядки:

— Робят мужики в усмерть! Торопятся, спасу нет. На Егорья вешнего посулили, виши, по домам распустить, дак теперь уйдут темно, да и придут темно. Все сырехоньки, хоть выжимай одежду-то. А за ночь повялят маленько одежду у печей, да сизнова в лес. Епиха-то, дьявол, дак когда и спит, умаял мужиков, кожа да kostи остались. Оно и спать — не особо разоспишься, клопы да тараканы поедом съели. Тараканы-то ништо, не кусают, бегают токо, а уж клопы, те жучат, как собаки!

— Выводить не пробовали? — спросила Лидия Егоровна.

— Приезжала из больницы Маруся, ладила чем-то побрызгать — ить не дал Епиха! Не дал и не дал: нечаяет, казенные деньги переводить, мужиков мне еще отравишь. Не дал, матушка, так ни с чем на мотовозе и укатила...

— А на сытое брюхо так и клоп не страшен! — тонко намекнул Сашка. Дуня рассмеялась, хлопнула по бокам ладонями:

— Ой, а я-то, дура, все не смекну, с чего робятки у меня скучные экие? Пошли-ко в столовую, суп там доваривается, покормлю, пока орда-то наша не притеleла.

— Неудобно... — нерешительно сказала учительница.

— Пошли, пошли давай, не разговаривай!

— Ой, який ты гарный, Сашуня! — на ходу обхватила маленького Сашку рослая Таня Варт. — Пропали мы без тэбэ зовсим!

— Ну, заобнималась! — проворчал Сашка, высвободившись.

бождаясь и смущенно оглядываясь на Дашу. И Даше не понравилась сейчас Танька, подружка закадычная: ишь, с обниманьями лезет, как не совестно!

В столовой растянулись два ряда столов, на скорую руку сбитых из неструганых досок. У столов — тяжелые скамейки. Дуня принесла большое блюдо горохового супа с солониной:

— Ешьте досыта, ишшо налью!

Даша не привыкла есть на людях, пунцовий румянец заливал лицо, стеснялась мучительно, даже рука с ложкой дрожала. Вздохнула облегченно, только когда вышла из-за стола.

Кружковцы уже дважды прорепетировали весь концерт. Солнышко скатилось за ближние елки, а лесорубы все не шли. Пустынно да тихо возле бараков. Подъезжать стали в сумерках, распрягали лошадей, поили, заводили в конюшню. Потом слышно стало, как топают и гомонят мужики в столовой. Прошел еще час — в красном уголке никто не появлялся. Дуня принесла зажженную керосиновую лампу:

— Лидия Егоровна, я схожу тятку поищу? — спросил Лешка Шилов.

— Сбегай, Леша. Да скажи всем, что ждем! А мы пока скамьи из столовой занесем.

Лешка выбежал из красного уголка, спросил у мужиков, толпившихся около ларька, где живет Николай Шилов. Ему указали на дальний барак. Отворив дверь, Лешка увидел широкое помещение, заставленное двухъярусными топчанами. В нос шибанул тягучий смрад сохнущих портнянок, валенок, шубных и ватных штанов, телогреек. Кружок света от коптилки еле пробивался сквозь напаренный воздух.

— Мать твою в душу, в бога... — выходил из себя раздетый до исподнего мужичок, тыча батогом под топчан. Другие хохотали, подзуживая:

— Ты, Офона, места не знашь, куда спрятывать-то?

— Да хошь на потолок привяжи, один хрен, достанут!

— На потолке, конечно, достанут. Друго место знай!

— Како друго?

— А брюхо!

— Да што мне, лопнуть? Котомка цельная пирогово-то привезена была — вона! Крохи одне!

— Крыса, она может! У ее брюхо-то твоего не мене! Кто-то из лесорубов, выходя из барака, наткнулся на Лешку.

— Ты откель, малый?

— Татьку ищу. Шилова Николая с Пожарища...

— Вон правься к той пече, по правую руку.

Николай укладывался спать на топчан, но, узнав сына, обрадовался, отвел его в угол.

— Все ладно дома-то?

— Все добро. Пирогов тебе привез, вот.

— Это дело! Кормежка у нас не дюже... Сказывал Епиха, концерту станете ставить? Не знал, что и ты тут, давно бы забежал.

— Придешь на концерт?

— Не знаю, Леха! Устряпаеся в лесу, еле ноги доволочешь до нар. Днями домой надоть. Сеять ведь скоро...

Хлопнула входная дверь. Епиша Кузнецов, войдя, закричал зычно:

— Кончай ночевать! На концерт! Все в красный уголок!

— Пошел к такой матери! До концертов нам и есть!

— Без разговоров! Вы что, мужики? Политическая кампания! Живо, живо!

Кое-кто, ворча, стал одеваться.

Народу набралось немного, Епиша едва согнал десятка два полусонных мужиков, хотел идти пособирать еще, да учительница остановила:

— Не надо с постели поднимать. Пусть хоть эти послушают.

Перед началом концерта Павлова выступила с докладом о Сталинской Конституции.

— Радостную и счастливую жизнь принесла в дикие лесные края Советская власть,— говорила Лидия Егоровна.— Сейчас в нашем районе работает шестнадцать клубов и изб-читален, сто четырнадцать красных уголков, три библиотеки. Установлено более полутысячи радиоточек. Мы имеем три больницы на семьдесят коек, четырех врачей и девятнадцать фельдшеров. Побеждает всеобщая грамотность. В двух средних, одиннадцати семилетних и в шестьдесят одной начальных школах района учатся восемь тысяч восемьсот четырнадцать человек.

В ответ на заботу партии, правительства и лично

товарища Сталина колхозники и лесорубы работают все лучше и лучше. Здесь у вас, в тринадцатом квартале, рубят лес колхозник Александр Разумов. Его родному колхозу «Челюскинец» установлен план: заготовить для Ясенгского леспромхоза две тысячи пятьсот кубометров древесины. Александр Разумов, лесной стахановец, каждый день заготовляет лучковой пилой семнадцать кубометров и зарабатывает в день по двадцать четыре рубля...

Слушая Лидию Егоровну, Даша вдруг подумала: как это здорово, что есть у нас в стране Сталин! Разве могли бы без него добиться хорошей жизни? Это он помог построить и Магнитку, и ДнепроГЭС, и Турксиб, он сделал колхозы, он ликвидировал неграмотность! Теперь каждый может стать кем только пожелает: вон Сашка Копытов летчиком мечтает быть, и никто не удивляется. Как умно, как правильно говорит учительница!

А мужики то и дело клевали носами, двое в углу прямо спали, прислонясь к стене. Лидия Егоровна продолжала:

— Товарищи! В стране гигантскими шагами ведется подготовка к выборам в Советы. По нашему избирательному округу посланцем в Верховный Совет страны выдвинута комсомолка, бывшая колхозница колхоза «Пионер», а теперь инструктор райисполкома Анна Рагина. Я призываю вас всех, как один, отдать за нее свои голоса, а также укреплять бдительность, каждый день разоблачать вредителей и врагов народа. Да здравствует Сталинская Конституция!

Хлопали долго.

Под аккомпанемент Саши Копытова девочки спели несколько песен о Сталине, Даша прочитала стихотворение Сулеймана Стальского. Хоть и мало места в красном уголке, а показали физкультурный номер: девчонки забирались на спину Лешке Шилову и протягивали руки вверх.

Концерт кончился поздно. Отец Лешки Шилова отсоветовал уходить ночевать в барак, сказал:

— Тут у вас потопили, так не замерзните. На полу-то не ложитесь, крысы потомну бегают.

Услыхав про крыс, девчонки заохали, торопливо стали сдвигать скамейки. Лидию Егоровну уложили спать на столе. Когда угомонились, Сашка Копытов перепугал всех. Он тихо поцарапал ногтями по дереву, а всем мни-

лось, будто крысы точат когти, забираются по ножкам скамеек. Девчонки завизжали, повскакали, хотели зажигать лампу.

— Да будет вам с ума-то сходить! — сонным голосом сказал Лешка. — Копытов цапается, а вы, дуры, и труитесь!

— Смотри, возьмемся за тебя, — засмеялась Таня Варт. — Защекочем!

— Все, все, не буду боле!

Все затихли. Чувствуя, что учительница не спит, ворочаясь на скрипучем столе, Даша, сама боясь того неожиданного, что открывалось в ее вопросе, тихо спросила:

— Лидия Егоровна, а что у нас было бы, ежели бы не было Иосифа Виссарионовича?

— Ничего бы не было! — тут же встярал Сашка. — Троцкисты да капиталисты все бы на свой лад перевернули!

— Жили бы в темноте, как до революции! — подхватали Женя. — Ох, девочки! Вот ужас!

— Зачем думать о том, что было бы, если бы... — с улыбкой в голосе сказала учительница. — Не лучше ли сделать лучше то, что есть? Разве мало комсомольцам сейчас работы?

— Все-таки хорошо, что у нас есть Сталин!

— Конечно, хорошо!

Не спали долго, только перед утром подремали, а потом, накормленные гостеприимной поварихой Дуней, по хрусткому после утренника ледку побежали к мото-возу. Там на укосинах вагонов уже чернели закрепленные цепями пачки бревен, будто охапки дров в руках великанов.

Столярка клепочного завода, куда устроился работать Дементий, ютилась в пожарищенской церкви, что венчала собой холм над речкой Ясеньгой. По приказу начальства, и чтобы не отапливать всю церковь, выше первого ряда церковных окон набрали потолок, отгородили переборкой алтарь. Теперь, кроме кирпичных стен да высоких, в человечий рост, окон, в столярке ничто о церкви не напоминало: коробка и коробка с верстаками внутри.

Клепочные столяры жили неплохо, заказы на мебель множились, взяли Чужгина на работу без разговоров. Заведующий столярной мастерской Павел Вейко, коротконогий, толстый, как кадушка, мужик, сразу стал отдавать Дементию самые заковыристые заказы, и прочие столяры помалкивали, работу Чужгина знали все. Но все-таки Дементий долго не мог привыкнуть к новому месту: больно чинно да строго казалось в заводской столярке после школы, не хватало ребячьего озорства, шуму, гаму.

Едва разделась земля да сбежала верховая вода, Чужгин и утрами, и вечерами стал пропадать на отведенном под стройку месте. К сваленному на подкладки срубу скоро протоптал тропку от большой дороги, по которой возили летом сено из ближних колхозов на сено-пункт да бегали пожарищенские и интернатские ребятишки в новую школу. Обычно он с минуту стоял возле сруба, глядел на Куну, на черные штабеля бревен на берегу реки, и лишь потом брался за лопату. Надо было рыть ямы под фундамент, но вешняя вода пока не давала воткнуться: выкинешь лопату земли — тотчас захлопает, засочится изнутри, заливая любую ямку. Долго ли тут продержится вода, Дементий не знал, может, и совсем не уходит. Одно оставалось — осушать, копать глубоченные канавы к берегу Куны, как копали их соседи Молчальник и Придворов.

Работы наваливалось невпроворот: насобирать да привезти каменья под фундамент, запасти кирпича на печь взамен битого, заготовить мох, раздобыть гвоздей, тесу... Иной раз, прикидывая, чего еще надо, Дементий опускал руки: не осилить стройку за лето, не войти под осень в жилье!

Анна, сама того не ведая, посыпала соли на больное место.

— Огород бы у нового дома разбить, Демеша... Скоро садить время, а у нас лопатой не ткнуто! А ну, как Стеблов не пустит боле на школьный-то участок?

— Разорваться мне! — вспылил Дементий. — Пока дом не поставлю, об огороде и не заикайся!

— Семью-то чем кормить станешь? — не сдалась жена. — «Не заикайся!» А зимой с голодухи припухать? И так все позеленели, ветром шатает...

Он, конечно, понимал, что Анна права. Картошку подобрали почти всю, осталось только-только на семена.

Денег ни копейки, а стройку без денег не осилишь. В мастерской работает первый месяц, да и много ли той получки? Было отчего скыркать зубами.

Анна замолчала, приметив, как потемнел муж, но на другой день, дождавшись ребят из школы, усадила Верку нянчиться с Сережкой, а сама, взяв лопаты, повела Дашу и Гришку за узкоколейку.

Луговина ниже разваленного сруба, место будущего огорода, затянулась частым ивняком, кое-где меж кореньев пробивалась яркая зелень молодой травы. Усадьбу справа, вместе с готовым почти домом, Придворов успел обнести косой изгородью. Слева на бугре, на отведенном Дидеру месте, тоже пока ничего не тронуто.

Анна со вздохом взглянула на мелкие канавки, прокопанные мужем под фундамент, в них мутно пузырилась вода. Здесь, ниже сруба, и наметила она вести от реки первую канаву.

— Гришка! Сбегай-ко, сынок, домой за топором. Без топора тута нечего и соваться, виши, затянуло талиной, одне коренья. Да гляди скорее, одна нога там, другая тут!

— Я живо! — Гришка бросил лопату и вприпрыжку помчался по дороге, по непросохшим лужам — только брызги по сторонам.

Они с Дашей спустились по ивняковой луговине до того места, где кончалась придворовская огорожа, и Анна очертила лопатой начало широкой канавы, которая протянется к будущему дому.

— Что, Дашуня, начнем, благословяясь...

Лопата с хрустом вошла в луговину. Анна обкопала квадратик со всех четырех сторон, руками оторвала дернину от земли, кинула в сторону. Под ногами обнажился слой черной, сотнями лет перепревавшей почвы. Второй квадрат отвалился легче.

— Вот тут и копай поглубже, а я стану дернину срезать.

Она сняла еще два квадратика, хлюпая сапогами в черной грязи. А потом застряли: толстый, разветвленный ивовый корень не поддавался лопате. Анна попробовала расшатать и выдернуть его руками, но только забрызглась с головы до ног, отступилась, поджидая Гришку с топором. От большой дороги спускалась к ним Ксения.

Не в пример Дементию, сразу невзлюбившему Ди-

дера, Анна душа в душу сошлась с женой немца, ласковой да приветливой Ксенией. Дидериха была русская, а может, из давно обруseвших немцев, точно никто не знал, да и не любопытствовали особо: женщина добрая, приветная, чего еще надо? Познакомились они прошлой весной, сажая школьные овощи, потом гнули спины на прополке, убирали школьный урожай тоже вместе. Дидериха частенько забегала теперь в интернат, выбирай время, когда Дементия не было дома: неразговорчивого мужика Анны она боялась.

— Здравствуй, Аннушка! Да и Дашенка здесь, работница наша! Вроде огород надумали разделять?

— Огород. Здравствуй, Ксения. Вишь, каков огород — чистый лес. Ой, хватим мы горького до слез!

— Мой Евгений не хочет пока трогать землю, на будущий год уж что бог даст, говорит. А мне, Аннушка, неспокойно...

— У вас помене кустов-то, повыше место.

— Однаково, Аннушка! Дом на бугре станет, а огород тоже к реке спустится. Болото! — Ксения подняла кусочек чернозема, растерла в пальцах. — А землица добрая. Осушим — будет родить. Дай-ка мне лопату, Дашенка!

Ксения попробовала копнуть, лопата уперлась в корень, и она стала бить в одно место, стараясь перерубить жилистую древесину.

— Отступись, Ксения! Я вон Гришку за топором турнула, нечего сюды с лопатой и соваться!

— Нет, я его одолею! Ишь, черт упрямый! Одолею!

Наконец измочаленный корень перерубился, двумя лопатами они с усилием подняли кусок дерновины, и в черную выемку, булькая, побежала вода.

— Намаестесь вы, Аннушка, ох, намаестесь!

— Чего уж. Глаза боятся, а руки делают. Мне бы до Николы вешнего тут высушить, да хоть две-три грядки разделать, все бы поддержка...

— Смутила ты меня, подруженька! Надо и мне своего сговорить: время ненадежное, а огород в любую пору — спасенье.

— Давай-давай! — подзадорила Анна. — Все веселее станет. Разогнусь да погляжу — не одна беду!

В тот день она с ребятами осилила метра три канавы, в которой сразу же доверху скопилась болотно-черная торфяная вода. Когда потные, перемазанные липкой

коричневой жижей, приближались они к интернату, у Анны часто забилось сердце от дурного предчувствия. И не зря. Отворив дверь в комнату, увидела она, как заходится в плаче осипший и посиневший Сережка. Гелька, тоже ревущая в голос, изо всех силенок качала кроватку, так что Сережка перекатывался в ней с боку на бок. На ходу сбросив оболочку, Анна схватила сына, поднесла к груди, строго спросила Гельку:

— Верка где?

— Усла-а-а! — сквозь рев еле протолкнула пятилетняя дочка. — Сказала сколо, а не идет да и не идет! А-а-а!

— Полно, полно, не реви, доченька. Молодец, что по-водилась, умница! А Верке ужо будет деру, кобыле! Даша! Давай-ко, умывайся да собирай на стол, отец нараз с работы придет, сызнова к дому заторопится, не поест ничего.

Накормив и успокоив ребятишек, Анна дождалась Дементия, поела с ним на скорую руку, и они снова срядились копать канавы.

— Ты уж, Дашуня, тут хозяйствуй сама. Скотину на-поишь, подоишь Боденку. Ребят спать уклади, мы-то, может, и долго...

— Ладно, мама, — грустно ответила Даша, и Анна поняла, отчего: экзамены у девки на носу, а и минуты спокойной нету, некогда книгу в руки взять...

— Даша скоро школу кончает... — раздумчиво сказала Анна дорогой.

— Кончает... — неуверенно откликнулся муж.

Каждый из них боялся окончательно определить дочкину судьбу: то ли оставлять после семилетки дома да искать ей работенку, то ли наладить учиться дальше.

— Худо ноне без специальности-то, — вздохнула Анна. — А в десятилетке не выучить...

— Крути не крути, а придется в ФЗУ посыпать. Не сказывала сама-то, куда охота?

— Чего она понимает? Робенок!

Дементий молчал. Не шутка пристроить девчонку в такое голодное да трудное время. О войне запоговаривали: фашисты большую силу набирают, нехорошую, крутую кашу заваривают. Не угомонятся, так все может быть. А война — голодуха вдвойне. Самое бы лучшее в неспокойную эту пору привязать Дашутку к хлебному месту: пекарем ли, поваром ли... Дементий вдруг

вспомнил, как в далекой молодости таскал бидоны с молоком у казанского маслодела. Того приходилось, зато — всегда сыт: по литру молока выдавал купец работникам каждый день бесплатно, это кроме трехразовой кормежки. Сказывают, в Вельске курсы открываются, учат на мастеров-маслоделов. Куда бы с добром! Сперва, вестимо, разузнать надобно...

— Ты вот чего, — веско сказал Анне. — Завтра на маслозавод сходи, к Ухову. Спроси, как на маслодельские курсы принимают.

— Схожу... — неуверенно согласилась жена, потом обрадовалась: — Добро бы на курсы-то! Хорошая работа, чистая...

Около придворовского дома дорогу загородила Наталья Пелина, ее дом под драночкой крышей стоял напротив придворовского, через дорогу. За подол Натальиного сарафана держался сопливый парнишка годов четырех-пяти, пучка карие глазенки.

— Чего зазнаваетесь, не заходите? — спросила Пелиха скрипуче и вроде зло.

— Не от простой поры по гостям ходить! — ответила Анна, задетая неприветливостью Натальи.

— Понаехало вас тут — с бору по сосенке! Скоро всю болотину расколупаете!

— А тебе жаль? — сдвинул брови Дементий.

— Мне не жаль, а без вас-то как больно было добро! Скоро доживем, козу некуды выпустить станет! — Она повернулась и, таща за руку упиравшегося парнишку, пошла к своему заулку.

— Соседи, мать-перемать! — выругался Дементий. — А Колю Пелина хошь не хошь доведется звать сруб становить.

— Тоже не помощник. Одно вино на уме.

— Какой ни на есть, а плотник...

— Немало эких плотников. Не кланяйся, Дема, на-плюю! Нам с этими Пелиными не робят крестить...

Сказала, да и язык прикусила. Беда, как узнает Дементий, что носила она крестить Сережку к бродячему попу, которого каким-то чудом недавно занесло в Ясеньгу. Церковь-то в ней закрыли давным-давно, еще в тридцатом году. Клиентов попу искала бабка Годовича, она же соблазнила и Анну, ребята у которой были крещеными. Не могла она Сережку некрещеным оста-

вить. Может, и вправду, нет его, бога-то. А ежели есть? Так и отдать на муки вечные своего последыша?

Сама Анна в глубине души верила, что бог все-таки есть; не зря по всей земле монастыри да церкви поставлены. «Да и как без бога?— думала Анна.— Деды, прадеды верили, молились, тоже не дураки были...» Памятны ей и церковные праздники в деревне, радостнее их редко чего и случалось в жизни, не зря молвится: «Ждут, как Христова праздника!»

Вспомнив о боге, Анна украдкой перекрестилась, мысленно браня себя: «И почто согрешила, худо про Пелиху подумала?» Но представив ехидное лицо будущей соседки, решила, что грех небольшой, все одно дружбы у них не сладится, до браны бы не дошло, и то хорошо.

Дементий прихватил спрятанные у сруба топор и лопаты, спустился поглядеть канаву, начатую днем. Вода в ней ничуть не посветлела, только прибыла и чернела вровень с краями.

— Перемычку оставим, потом проблем,— предложил муж и воткнул лопату в дернину на полметра выше верхнего торца канавы. Опять рубили коренья, сдирали дерн, врезались в черную землю, черпая в сапоги, уляпываясь жидкой грязью. И хотя работа подавалась скопее, чем с ребятишками, на душе у Анны не светлело. Почто так-то делается? Зачем улицу-то Широгорову придумалось тянуть по болоту? Разве мало хорошей земли в Ясенъге: и у карьера, и у сенопunkта? Неужто от злости, а не от дурости? Так это сколько же злости надо на сердце держать?

«Зато в Пролетарском поселке жить станем!— мысленно усмехнулась над своей бедой Анна.— Теперь уж настоящие пролетарии!»

Раньше поселок Пролетарский отделяла от Куны дорога, а ныне по приречной луговине ложится новая улица. Начал ее, поставив дом за узкоколейкой, хохол Молчальник, дальше соорудил крохотную хибарку татарин Гуслиянов, потом Придворов, тоже переехал из деревни, а выше будут они, Чужгины, да немец Дидер.

— Тернационал! — засмеялась вдруг Анна, глядя, как Дементий перерубает толстый ивовый корень под дерниной.

— Чего?— вытаращился он на жену.

— Тернационал, говорю! — повторила Анна чудное

слово.— Там немец станет жить, мы с Придворовым — русские, дальше татарин да хохол... Чем не тернационал?

— Копай давай, интернационалка! — захохотал муж.

Над поселком горели уже последние отблески вечерней зари, промигивались крупные звезды, но сумерки опускались легкие, дышалось вольно, словно в застоялый дневной воздух подлили ночного, холодного и вкусного. Дементий разогнулся, расправил занемелую спину. В щеку ему больно ударились что-то большое.

— Гляди-ко, майка! — обрадовался он, подбирав на ладонь крупного майского жука.— Ожил, залетал, на-возник! К теплу...

— Май не разок обманет! — возразила жена.— От Николы вешнего, говорят, еще двенадцать морозов остается.

— Двенадцать — не двенадцать, а лето к нам во все лопатки торопится,— Дементий с усилием выдернул из земли коряжистый черный корень, взялся за лопату.

Работали дотемна и одолели-таки первую канаву, дотянули до будущего фундамента. Вода из фундаментных ям с шумом и бульканьем устремилась вниз.

— В воскресенье Мишу Клыкова стану звать за каменьем.

— Ой, Демеша, неужто в свой дом попадем? И не верится!

— Попадем, Анюшка, попадем! — устало утешил муж, пряча топор и лопаты под бревна сруба.

— Дожить бы! — довольная, что назвал он ее полузытым девичьим именем, вздохнула Анна, и тут же заторопила:— Давай скорее, как там ребята-то одни, все ли ладно...

Еле дождался Гришка Чужгин канкул. Еще бы! Лето разгуливалось ядреное, по Куне сразу за льдом пронеслись домики-караванки сплавщиков, у сельполовского магазина навели через реку лавы с перильцами, гоняли по ним скотину в заречные луга, с веселым стукотком ездили на телегах. Против Молчальникова дома натянули поперек Куны запань, укрепили ее толстенными, в руку, канатами за врытые в землю столбы. Выше запани сгрудился залом. По речке Ясеньге вода струи-

лась мутная, что кисель,— вверху строили железнодорожный мост под второй путь. Отец с мужиками ставил избу, пять венцов уж положены. И вся эта карусель зavorачивается без Гришки — легко ли?

Наконец-то дожил: прощай, начальная школа, прощай, старый гладциновский дом под тополями! С осени сядет Гришка в пятый класс в новой двухэтажке.

Только и в каникулы разгуляться Гришке особо не дали. Сперва на школьном участке с матерью и Дашей картошку садили, потом у нового дома три грядки разделявали, корни выдирали. Но хуже всякой работы, когда с Сережкой водиться заставляют. Тоже, нашли няньку!

В один из дней Гришка все же от домашних дел отбоялся: выпросился рыбу ловить с Валькой Клыковым да с Димкой Ломуновым. Червей с вечера нарыли, а чтобы дома не передумали, удрали в устье Ясеньги с солнышком. Перебрели на островок через песчаную протоку, закинули удочки на светлую струю. Стояли, пока не припекло солнышко, да все попусту: не клевала рыба. Гришке первому надоело, стал звать:

— Пойдем по залому бегать!

— Забранят! — поежился Димка.

— А мы не у запани, мы — за поворот!

Моментом смотались, кинули удочки в кусты — после заберут! — полетели босиком по крутым берегу Куны мимо старого мельничного омута, мимо трех больших берез, мимо школьного участка к сельсоветскому магазину. Потом перебежали на другой берег. У запани с берегового обрыва спрыгнули, забрались на толстые, тесно сжатые водой бревна.

Напротив придворовского дома клепочки на шести лошадях таскали лес из реки. Два мужика на плотах баграми подплывали бревно на мелкое, накидывали на его концы проволочные петли, привязанные веревками к упряжи, и кричали: «Пошел!» Погонщики хлестали лошадей, те поднатуживались, и ползло сырое бревно вверх, роняя крупные светлые капли и ошметки коры между покатами. Затащат бревно на штабель, отцепят и гонят лошадей обратно к воде. Три пары лошадей, три костра растут бок о бок.

Осенью и зимой подсохшие бревна из костров начнут скатывать на вагонетку узкоколейки, и сивый мерин Ерошка попрет груженую вагонетку на клепочный за-

вод, тихонько переступая между узкими шпалами. А на заводе целый день визжат пилы: кроят бревна на тес, на горбыли да на клепку, из которой потом сколачивают щелястые ящики.

— Эй, помощнички! — крикнул, увидев ребят, Степан Ангелов, размахивая багром на плотнике. — Вали сюда, на бревне прокачу!

— Сам катайся! — показал ему фигу Валька Клыков. Знают они этого Степана, ему только бы чего на шальное сделать. Снялись ребятишки с залома, как стая стрижей, помчались дальше — за поворот. Там побегали по залому, выкупались. Перемахнули по жидкому залому на свой берег, стали искать кислятку, щавель, который местами густо рос по луговине. Повалились на песке, а солнышко еще и за полдень не перебралось.

— Айда, робя, на Ясеньгу! Поглядим, как мост делят, — позвал Валька.

— Далеко больно... — поежился Димка.

— Чего далеко? Чего далеко? Мимо школы до карьера добежим, а там — рядом! Может, уж рельсы кладут, а мы и не знаем! — горячо поддержал дружка Гришка.

Только пятки засверкали: по мостику через ручей, мимо огороженного колючкой сенопункта, мимо школы — на край большого карьера. В карьере людно, шумно, то и дело подъезжают порожние подводы и отъезжают с песком. Песок, янтарно-желтый, рассыпчатый, споро кидают на телеги рабочие.

Моста под второй железнодорожный путь пока не было, но на обоих берегах Ясеньги строители валили песок в насыпь и выравнивали ее, а у самой воды на ровных площадках били чугунными «бабами», поднимая их через блок на веревках, длиннющие сваи, одна к одной. Там, где сваи совсем забиты, можно ходить, как по полу, до того плотно пригнаны.

Грохот и шум стоял у моста — голоса не слыхать, а по старой однопутке часто бежали поезда: на юг с лесом, на север — с крытыми вагонами.

Ребята долго смотрели, как с северной стороны, от карьера, ползут одна за другой подводы с песком, как невдали от реки опрокидывают телеги и гонят лошадей порожняком вскачь обратно к карьеру. С южной стороны почти до самого берега уложены на толстые шпалы рельсы, по ним маленький закопченный паровозик под-

талкивает к краю сразу три — четыре платформы, и люди с лопатами, голые по пояс, скидывают с платформ песок.

Друзья побродили по мелководью, баламутя и без того мутную воду, которая переливалась через край выкопанной в русле Ясеньги ямы. Валька Клыков больно запнулся за какую-то железяку, охнул, наклонился, пощупал руками и вытащил обрезок ржавой трубы, расклепанный с одного конца. Сбились в кучу, пощупали. Валька хотел было швырнуть трубу обратно в воду, да Гришка не дал, схватил, закинул на плечо.

- С собой возьмем.
- На что тебе? — громко спросил Валька.
- Пушку сделаем!
- Как ты пушку-то сделаешь?
- Увидишь. Бабахнет лучше, чем настоящая!
- Не ври давай!
- Спорим?

Спорить Димка не стал, но ребят проняло, от Гришки не отставали ни на шаг.

- Давай я поднесу, — попросил Валька.

— На, поднеси, — охотно согласился Гришка, которому труба уже намяла плечо и оставила ржавый след на рубахе.

И он вдруг громко запел:

Блестя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход!

Ребята пристроились шагать в ногу, подхватили:

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет!

Валька пыхтел, перекладывая трубу с плеча на плечо, потом сунул Димке:

- На, поднеси. А то все на готовенько!
- Чего — на готовенько! — обиделся Димка. — Сказал бы раньше, давно бы я взял...

Пушку рассудили установить на устье Ясеньги, чтобы заодно и удочки потом домой унести.

— Вы там дров на костер насобирайте, — приказал Гришка. — А я домой за спичками сбегаю да ножик возьму.

У интерната, где были выкопаны погребицы, копотилась вся чужгинская мелюзга. Верка с Гелькой ляпали домики из песка, а голопузый Сережка ползал окон-

ло и тащил в рот все, что попадало под руку. Гришка постарался незаметно проскользнуть мимо девчонок, а то увидит Верка, сразу заноет, чтобы сменил и отпустил побегать.

Схватив на кухне спички да столовый ножик, Гришка потыкался в тумбочке, разыскивая съестное, заглянул в печку. Везде — хоть шаром покати, только на полице торчали две кринки с простоквашей. Торопясь, придинул табуретку, взял одну кринку и только принаровился хлебнуть через край, как табуретка подвернулась, Гришка полетел в одну сторону, кринка — в другую. Потирая ушибленный локоть, он неверяще уставился на черепки в белых комьях простокваши, потом опрометью бросился на улицу. О том, что вечером ему крепко попадет, Гришка старался не думать, до вечера было еще далеко.

В устье Ясеньги ребяташики насобирали кучу коряг и палок, выкинутых на берег половодьем. Коряги, припуренные мелким речным песком, успели до звона просохнуть на вешнем солнышке. Гришка выбрал толстую и короткую палку, прикинул по трубе и стал строгать тычку. Потом велел ребятам набрать в трубу воды и поглядеть, не течет ли из расклепанного конца. Вода не текла. Осторожно вставив тычку в трубу и воткнув расклепанный конец в песок, показал Вальке Клыкову на толстую корягу:

- Вали, бей по тычке!
- Зачем? — все не догадывался Димка.
- Увидишь.

Валька ударил раз, другой, третий. Расклепанный конец трубы с каждым ударом уходил в песок, а тычка все глубже залезала в трубу, наполненную водой.

— Хорош! — остановил Гришка дружка и пошатал трубу рукой. — Должна стрелить.

— Ну и пушка, как кадушка! — весело расхохотался Димка.

Трубу обложили дровами. Гришка поджег толстый жгут обсохшей бересты, валявшийся на берегу.

— По фашистам — огонь! — скомандовал он, но все оставалось по-старому: костер горел, труба мирно торчала из него, нацеленная на тот берег Куны.

- Не стрелит... — разочарованно протянул Валька.

Неожиданно костер взорвался: во все стороны, осыпая ребят, распрыхнулись горячие уголья, труба отскочила.

чила и пролетела, едва не задев Гришку по голове. Димке большой красный уголь угодил на шею, зацепился за ворот рубахи, и, пока парень стряхивал его, на коже заалело круглое пятно ожога. Валька хохотал, как сумасшедший. Перепуганный Гришка сперва оторопело переводил глаза с разметанного костра на трубу, потом, поняв, что все обошлось, тоже засиялся смехом:

— Вот так бабахнули!

У Димки стояли слезы в глазах — больно было от ожога.

Перед вечером наладились поудить, но от голода совсем подвело животы.

Смотав удочки, ребята убежали, а Гришка, тяжело вздохнув, тоже стал собираться: тяни не тяни, а отвечать придется. Он еще надеялся, что отец дома окажется, тот заступился бы. Где там! Как всегда, отец убрел к срубу, а мать почем зря пушила ни в чем не повинную Верку:

— Ой ты, холера! Нарушила кринку, так хоть бы черепки прибрала да пол подтерла,— нет, все тут и кинула, будто и дело не ее!

— Да не трогала я! — рыдала Верка. — Сама худо поставила, а я виновата!

— Не трогала она! Ох ты, виследь, как не стыдно и врать-то! Не с ногами кринка, не бегает сама! Ну я тебя отпазгаю, век не забудешь, каково врать!

И Анна выдернула из голика вицу. Верка завизжала, забилась в угол.

— Не тронь ее! — выдавил Гришка, стоя у порога. — Я кринку разбил...

— Вот те раз! Да тебя и дома весь день не было!

— За ножиком прибегал. Вот, — Гришка протянул кухонный ножик.

Анна постояла в раздумье, кинула вицу в запечье.

— Добро, хоть сам признался. Я ведь чуть девку не напорола безвинно! Никаких тебе рыбалок боле не будет. Завтра на весь день пойдешь к новой избе гряды чистить. Садись да ешь, непутевая голова!

Верка все еще всхлипывала в углу. Анна подошла к ней, виновато сунула горсть вяленой брюквы. Потом подала Гришке горячую картошку да кусок хлеба с солью и ушла обряжаться со скотиной.

Гелька подобралась к брату, толкнула в бок:

— Попало немало! Непутевая голова!

А у Гришки картошина застряла в горле: заметил вдруг, что Гелька глаз отвести не может от блюда с картошкой, которое подала ему мать. Он отломил кусок хлеба, сунул сестренке, пододвинул горячую картошку:

— Лопай, путевая...

10

Становить дом Дементий подрядил троих: будущего соседа Колю Пелина да двух мастеров из клепочной столярки — Молчальника и Курышева. Иногда забегал помочь Миша Клыков. Готовый сруб собрать — невелика хитрость, коли все припасено, коли есть время да сила. Беда, что силы-то у изработанных мужиков недовхватка, а времени и того меньше: приходили на усадьбу вечерами да в выходные. Но худо ли, бедно ли, к сенокосу поставили стропила, начали крыть крышу.

Не раз пожалел Дементий, что связался с Колей Пелиным. Тот без бутылки работы не признавал. Прибежит ввечеру «под мухой» и почнет зудеть:

— Мы — каки мастера? За хлеб, за щи спляшем, за вино — песенку споем! А, Дементий? Ноги-то худо ходят, руки-то не шевелятся. Тут бы поправка-то голове в самый раз...

Слушает, слушает Дементий, мужики молчат, усмехаются. Не вытерпит, сунет Пелину шесть рублей:

— Давай, пока лавку не закрыли.

А ночью не спит, ломает голову, у кого бы еще перехватить малую толику деньжат. О том, что к школе ребятишкам надо справлять одежду и обувку, а Даше — пальто, лучше не думать, и так голова кругом.

Анна с жалостью глядела на него: усох, кости означились, скулы выступили, уголки губ сникли, рыжие усы стали седеть.

— Неминучая корову продавать, Анна, — сказал он в один из сумрачных вечеров.

— Продать не хитро, не заводить. Пропадем ведь без молока-то, заморим ребятишек! — ответила сердито, но в голосе скользнула слабина, и Дементий нажал:

— Зиму как-нибудь перебьемся. А летом недосуг. Телушку-то, может, и прокормим. Сама видишь — зарез.

Анна долго молчала, вздыхала, утирая слезы.

— Дидер, однако, корову-то ищет,— не ответила она прямо.

— Тоже, поди, не воз денег-то у него, сам строится.

— От спыток не убыток. Спрошу у Ксении, не купят ли... Чего уж делать, отец, до краю дожили. Нарушим корову. В огороде посажено дородно, новой бы картошки дождаться, может, и перебедуем. На сенопункт работать пойду. Ничего не жаль, только бы в своем дому жить!

Но утром, когда доила Боденку, вся улилась слезами, припав к теплому коровьему боку. Боденка, словно понимая, замерла.

Когда всходил яснорогий месяц и, густея, падали на землю влажные сумерки, мужники со стройки расходились по домам, а Дементий после них долго еще тюкал топором, шаркал рубанком: готовил задел на завтра. На стук топора и заглянул к нему как-то Анатолий Придворов, который собирался уже въезжать в новую избу.

— Охолони, сосед! Ты прямо что дятел: круглы сутки долбишь.

— Кончаю...— устало ответил Дементий.— Пора и на боковую, твоя правда.

— В аккурат эдак мы в спецпоселке колотились в тридцатом году.— Анатолий присел на бревно, угостил Дементия папиросой, закурил и сам.

— Это у раскулаченных?

— Ну! В Жарах-то который. Время к осени, сентябрь на дворе, а бараки не готовы, живут, бедолаги, в шалашах и с ребятишками. Одежонка-обутка изорвалаась, чуть не босые все. Меня-то туда по наряду отирали как плотника, вольных плотников там порядочно было. Ладно. К зиме хошь не хошь, а под крышу людей запихать надо. Пластаемся, стало быть, от свету до темок, не успеваем. Тут от начальства приказ: для ускоренья дела чистых полов да потолков не настилать, делать черные, обмазать глиной. Плинтусов не наколачивать, никакой тебе отделки, лишь бы скорее.

— Успели до зимы-то?

— Только что успели. Зато и бараки получились, что те решета, не знаю уж, как оне там перезимовали. Виши, и сами-то кулаки поначалу не больно поворачивались: слух был, будто привезли их на лето только, бараки срубить, а потом по домам распустят. Вот и работали спустя рукава. Нужда прижала, зашли под крышу.

Норма у них была — три метра на человека. Трех-то, знамо дело, не выходило, потому — перегрузка. Вповалку на нарах спали, без матрасов, без ничего. Печи худые, из сырца, дымят — спасу нет, а тепла — чуть.

— Теперь-то обжились.

— Сейчас, говорят, полегче. Да и отпускать стали кое-кого из лесу-то, в ту же Ясеньгу, дома собственные ставить разрешили, кто заслужил...

— Вот и я не хуже их бьюсь, как рыба об лед. Сто раз покаялся, что из деревни-то сорвался...

— Брось! Какая ваша беда! В своем дому да на хорошей работе — так ли еще заживешь! Ребята подрастут, помощники, живи да радуйся. Ты, Дементий Ильич, вперед гляди, надежду имей. Без надежды нам, брат, нельзя, тоска съест!

— Оно так...

Вечером другого дня на стройку пришел один Иван Молчальник. Егор Курышев взял отпуск, еще днем в мастерской остерег:

— Извиняй, Дементий Ильич, ежели что, а пока не откошусь, я тебе не помощник. Сам понимаешь...

— Как не понимать! Спасибо тебе, Егор Лаврентьевич, и так сколь вечеров ухлопал!

— Надо бы довести домишко-то до ума, да вишь вот...

— Крышу покроем с Иваном, ничего...

Только приоровились работать вдвоем, прибежал Пелин, сызнова во хмелю:

— Чего, Демеха, станови бутыль, счас мы тебе весь скат закроем!

— Иди-ка, Коля, проспись! — твердо сказал Чужгин. — Никаких тебе бутылей боле не будет. Хватит, на-бутылился!

— Вона как! Вона ты как заговорил, едрена вошь! Сруб под крышу подвел, так Пелин не нужен стал? Гони деньгу за работу!

Заранее зная, чем кончится разговор с Пелиным, Дементий успел приготовить его долю и теперь, не торопясь, достал деньги, которые занял у заведующего столяркой, протянул Коле:

— На, считай. За работу спасибо, а боле не нуждаюсь.

— Гляди, сосед! — с угрозой сказал Пелин, помусолив пальцы, пересчитал деньги.

Обычно молчаливый как камень, Иван Молчальник сплюнул вслед Пелину, который тут же побежал в лавку.

— Ботало! Давно гнать трэба було!

— Да ведь как?— огорчился Дементий.— Все, думаю, помошь какая-никакая...

— Не работник!— Молчальник осуждающе качнул головой.— Не, не работник. Пьянь.

И больше не прибавил ни слова до самой темноты. А когда пошабашили, сели на бревно закурить, Молчальника прорвало.

— Ото, Дементий Ильич, я став сликвидированный, як класс. За що? За то, що усю жизнь робыв, рук не складав? Бувае в мэнэ думка: а що, ежли весь наш класс мужиковский сликвидируют? Кто робыты станет? Пелины? Воны вам нароблять! Последнее розвеют ветром... Не-е, мэнэ сликвидировать не можно, докы руки маю. Разве що пулей!

— Богато, знать, жил, Иван Федорович, у себя на Полтавщине?

— Справно. Волов две пары дэржав, конэй, пять коров було на хутори. От прыкинь: скильки уходу за скотыною? Що я, пыв? Гуляв? Тильки очи закрыешь, да знову на баз. Гирше каторги! Отоспався — у Ясеньги...— цигарка Молчальника вспыхнула, донесся горький смешиш:— И цэ колы б думка була: разбогатию, руки складу, на пырыни остатни дни проваляюсь: у тому боци жинка, у цьому — сладка горилочка. Нема ниякой думки, да николи и думать було: праця, праця, праця... Навищо? Кому воно треба?

Дементий, пользуясь небывалой разговорчивостью Молчальника, спросил:

— Как тебя, Иван Федорович, из спецпоселка-то отпустили?

— Та як? Уси нормы пэрэкрыв, дали послабленье, тильки щоб из Севкраю нэ тикав.

— Тянет, поди, на родину-то?

— Що про цэ балакать...

Молчальник встал, затоптал окурок, протянул руку:

— Бувай!

— Счастливо, Иван Федорович!

Шагая домой, Дементий не переставал удивляться: вот тебе и Молчальник! В мастерской рта не откроет, мало кто от него слово слыхивал, почитали чуть не за

немого, из-за угла пыльным мешком шлепнутого, а он вишишь ты... Не зря и детки, два сына-школьника, тихие, незаметные, а себе на уме. Руки-то у обоих золотые, в школьной столярке на уроках одни пятерки им ставил.

«А что? — подумал Дементий. — На работающих руках мир держится. Не на лозунгах, не на собраниях, не на широгоровских речах. Почем знать, не оттого ли и Ясеньга строится, пухнет, как на дрожжах, что колотятся в ней, розыху не зная, работающие мужики?»

Чужгин торопливо оглянулся вокруг: не вслух ли заговорил? Но тихо и пустынно было в поселке, лишь постукивал па путях товарник да тянуло запахом гари с клепочного завода, где денно и нощно жгли в ямах дре-весный уголь для вновь отстроенного спирто-порошково-го цеха.

Дома ребяташки давно спали, прикорнула и Анна, но тотчас встала, чтобы покормить мужа. Хлебая при коптилке жидкие щи, устало слушал нерадостный шепот жены. Дидеры согласны купить корову: дешево, а все какое ни на есть подспорье: хоть неотложные долги да налог заплатят...

Дементий прикинул в уме: Курышев и Молчальник с расчетом не торопят. Миша Клыков печь начнет класть — тоже до нового года потерпит, а там, даст бог, полегче вздохнут: в дому верстак поставит, станет мало-малы прирабатывать, да и Анне на сенопункте зарплату станут платить. А корова, и верно, на долги да на обновы детишкам...

«Корова — дело наживное. Главное — изба. Не на-ми сказано: горе тому, кто плачет на дому, а вдвоем то-му, кто плачет без дому», — подумал Дементий и коротко ответил жене:

— Продавай.

— Уговорились с Ксеньей, по литре молока эту зиму станет давать, — шелестел голос Анны, едва доходя до сознания.

Он только прилег и снова поднялся до солнышка, побежал за узкоколейку в поселок, к срубу: чем дальше, тем, кажется, больше прибывало всякого дела на стройке. Строгал и дорожил тесины на крышу взамен прохудившихся, пока не пригрело солнышко, и только собрался пошабашить — к срубу завернула подвода: Миша Клыков привез глину на печь. Скидали лопатами на чистое место, к бережливо сложенным кирпичным клеткам.

— Кирпича-то, думаешь, хватит? — озабоченно спросил Дементий.

— Должно хватить. А я к тебе на весь день. Опечье хоть сделаю, пока на сепокос не турнули.

— Добро! — обрадовался Дементий. — Анну и Гришку пошлю пособлять.

— Гришке-то накажи, пускай за моим Валькой забежит. Всем занятье найдется.

Миша, понизив голос, спросил:

— В мастерской у вас ничего не говорят?

— Насчет чего?

— Секретаря райкома, слух идет, в Ожеге забрали. Да и бывших-то наших, из Севкрайкома: Иванова, он потом лесным комиссаром служил, до этого... Конторина, тоже, сказывают, шлепнули.

— Не нашего ума дело.

— Я насчет того, что язык ноне надо одерживать. Везде уши. Перевернут да перевернут — кряду на Соловки и загремишь. Я уж и ночами худо стал спать: ну, как постучат? Мало ли где чего, бывает, болтанешь!

— Да... Все с оглядкой, все молчком, вот до каких времен дожили! Ладно, Миша, пошлю ребят, все помошь.

Выслушав мужнин наказ, Анна оставила Дашу нянчиться, а сама с Гришкой чуть не весь день толкалась в новом доме, помогая Мише Клыкову. Нарадоваться не могла, когда стали делать опечье. Сразу в избе вроде жилым повеяло, хоть начуй: и пол, и потолок, и стены свои. Рамы Дементий недавно вставил, застеклить осталось. Не сегодня-завтра кончат крыть крышу. Ох, скорее бы перебраться из интернатской комнатушки — до того надоело, сил нет!

— Что, Анна? — балагурил Миша Клыков. — Своим домком запахло! Рада, небось?

— Да как не рада, знамо, рада!

— Запахло домком, запахнет и дымком! Вот складу тебе сугревушку, стой знай у печи, да кали плечи, вся и заботушка!

— Ой, Миша, наших забот не перезаботить!

— Ничо! Вон у тебя сколь помощников растет, верно, Гришка? Матка-то с отцом устареют, так станешь кормить?

— Не! — ответил Гришка. — Хлеба куплю, а едят пусть сами, кормить не стану!

— Вишиь вот, каковы помощнички-то! — сквозь смех вздохнула Анна. Гришка, засмущавшись, убежал из избы.

Перед вечером, проведав ребятишек и надев свое единственное, темное с белыми цветочками платье, Анна взяла паспорт, причесалась, вышла на улицу. Начинался сезон приемки сена от колхозов, сенопункт набирал временных рабочих.

Она прошла новой улицей Пролетарского поселка, мимо своей будущей усадьбы. Дальше дорога шла между длинным бараком слева и срубом дидеровского дома справа, заворачивала, оставляя с правой руки двухэтажную школу, а там, за школой, как бы впадала в высокие арочные ворота. Под аркой устроены были весы, на них взвешивали возы с сеном. По левую сторону от весов, на широком, оплетенном колючей проволокой поле тянулся навес, куда укладывались прессованные кипы. Под навесом сейчас пусто, только теплый ветер шевелит, гоняет по деревянному полу сухие былки: старое сено вывезли из Ясеньги, нового пока не запасли. Ближе к лесу чернела сенопунктовская конюшня, а сбоку от арочных ворот-весов глядел новыми рамами канторский домик.

Анна вошла на высокое крыльце домика. Робея, постояла несколько минут. Не доводилось ей прежде устраиваться на работу: в деревне — свое хозяйство, в школе тоже помогала только.

Заведующего сенопунктом Пашу Суслова Анна знала худо и теперь боялась: а ну, как не возьмет? Беспокоилась зря, люди Суслову требовались позарез. С каждым годом труднее стало набирать в сенокос временных рабочих. Клепочный завод, леспромхоз, железная да подвесная дороги давно прибрали к рукам свободное население Ясеньги, а домохозяйки в эту пору чуть не поголовно уходили косить сено для своих коров на участки, выделенные мужьям по месту работы.

Невысокий крепыш, молодой и бравый Паша Суслов усадил Анну на стул, поглядел паспорт, расспросил, где работала раньше. Предложил:

— А чего тебе, Чужгина, временно оформляться? Давай на постоянную к нам!

— Да ведь у вас вся и работа в сенокос.

— Не вся, Анна Александровна, не вся. План по сеносдаче колхозам увеличили. Будем летом в скирды ме-

тать, а прессовать да отгружать придется всю зиму. Так как? Оформлять на постоянную?

— Коли так... Пишите...

— Соня! — крикнул Суслов счетоводу в соседнюю комнату. — Оформи Чужгину на работу, как положено! Иди к ней, — уже по-свойски обратился к Анне Сулов. — На работу с завтрашнего дня, с восьми утра. Да учти, в сенокос у нас день ненормированный, и вечера придется прихватывать, и выходные.

— Чего уж. Раз надо, так надо...

А сама со страхом думала о ребятишках. Хорошо, Даша пока дома. Уедет, чего делать? Хоть матушку репку пой. То, что Даша уедет с октября на маслодельческие курсы в Вельск, давно решено, и направление выхлопотала Анна в Ясенгском маслозаводе. Ладно, до октября долгонько еще, да и в своем дому станут жить, как-нибудь... А на сердце все беспокойно, все ноет и ноет в груди: ой, что-то будет, что-то будет!

Первые дни она особо не уставала, расчищали место, готовили подсирдники. Появились и редкие возы с сеном, везли их молоденькие ребята, развались на высоких возах, прижатых сверху жердями и затянутых веревками. Подъехав к сенопункту, спрыгивали с возов, вели лошадей под уздцы к весам — там весовщик прикидывал тяжесть воза и отправлял сгружать. Квитанции ребятам отдавал на обратном пути, взвесив пустую телегу и отняв ее вес от начального.

Анна рядом с другими бабами стояла на скирде, принимала и укладывала зеленое пахучее сено. Работа ей полюбилась: и в деревне век свой метала да вершила стога, а тут, на скирде, что росла, пухла, как опара на дрожжах, под ласковым летним ветром, не успевавшим осушать пот, скоро вернулась и былая сноровка, и сила. Будто и не рожала девятерых, будто скинула добрый десяток годов, утопая в дурманах сенных нош, радовалась, что столь споро прибывает скирда. А воза все подваливали и подваливали, молодые деревенские крепыш-допризывники, выхваляясь перед бабами, кто больше да выше закинет навильник, упарились до свекольной красноты. Анна знай подгоняла:

— Шевелись, шевелись, ребятки! Веселей!

И снова хватала ноши, пластами прилаживала на скирде, плавно обуживая бока, когда подходило время вешить. Скирды на сенопункте клали не в пример де-

ревенским, длинные и широкие, стогов пятнадцать уходило в такую скирду, и вершить их надо было умеючи.

Сноровку Чужгиной скоро приметил Кустов, назначил старшой в пятерке временных работниц. Под начальством у Анны оказались Маша Тоцкая да Анна Мастерова, Тоня Лютарович да Павла Кириенко. Все бабы лет тридцати с хвостиком, все домохозяйки, у каждой полон дом ребятишек, за которыми глаз бы да глаз, а какой уж там глаз, когда пообедать и то некогда путем. В сенокосную пору либо с собой брали узелок, либо старшим ребятам наказывали притащить на зубок.

В один из таких дней перед обедом Анну толкнула в бок Маша Тоцкая:

— Погляди-ка на Дашку-то на свою!

Анна оглянулась и замерла: на возу, что отъезжал от весов к скирдам, сидела Дашутка, хохоча и взвизгвая, отбивалась от наседавшего на нее белокурого парнишки. Заметив мать, закраснелась, кубарем скатилась с воза. Анну ошарашило, вилы опустила, стояла сама не своя. Выросла ведь девка-то! С каких бы, кажется, и харчей, а округлилась, и под платьем, на груди, заметно припухло.

— Обедать, бабы! — скомандовала она и подошла к лесенке у торца скирды. Принимая от Даши узелок с вареной картошкой и бутылкой холодного чаю, выговарила:

— Ты что! С эких-то годов лапаться почала!

— Да ну, мам! — Даша вновь залилась, как маков цвет, отвернулась.

— Что за парень? Откудова знаешь?

— Да из нашего класса он, Сашка Копытов...

— Из Щетинской?

— Ага...

— Гляди, девка!

И долго после обеда не могла успокоиться: видела, что ехала Даша на порожней телеге с белобрысым, а тот отчаянно крутил над головой вожжи, погоняя лошадь. Потом забылась: возы все подкатывали, обвально сыпались пласти сена, бабы едва успевали хватать ноши, разравнивать по скирде, уминать, не замечая ни ссадин, ни налипшего к потному телу сенного сору, ни горячего солнца, во всю мочь прижаривающего с истомно синего неба.

Усталость одолевала под вечер, когда солнышко кло-

чились на покой и разгружались последние возы. Ноги делались деревянными, руки не поднимались, и все плыло перед глазами в розовом закатном тумане, все качалось, как в вихлястой, неустойчивой лодке. В один из таких вечеров у Тони Лютарович закружила голова, и полетела баба с высокой скирды, хорошо, что прямо на воз, с которого кидали сено, а кабы на землю? Насмерть бы.

Когда темнело, еле сползали на землю по лестнице, ничего не мило, кажется, тут бы на скирде прямо свалилась да и уснула без просыпу.

Ладно, что Сережку отвадила от груди, со скирды не убежишь покормить. Девятый месяц всего парню, худой, тощий растет заскребышек, то и дело болеет, на жаре и то простыивает, кашляет. Нет того догляду от Дашки, хоть и привыкла нянчиться с малых лет. Нужто не выживет? И такая жаль теснилась в душе Анны в эти минуты, ни одного из ребят вроде бы так-то не жалела...

В поту да в работе без выходных оглянуться не успела — подскочил август. Стала спадать горячка на сенопункте: теперь возили сено больше из дальних колхозов и целыми обозами. Разделяются бабы с обозом и отдыхают до нового. Суслов перевел Анну на пресс:

— Приглядывайся, осваивай дело. Тут тебе, почитай, всю зиму колотиться придется.

А чего приглядываться — проще простого: гоняют по кругу лошадь, привод работает, глотает пресс с одной стороны рыхлое сено, жамкает, уминает. На выходе кипу обвязывают веревками да возят под навес, в штабеля.

В получку Анна глазам не поверила: за месяц выдали триста семнадцать рублей двадцать восемь копеек — намного больше, чем получал в столярке Дементий. Когда Анна отдала деньги, он повеселел:

— С эдакой зарплатой так мы, мать, и новоселье справим! Зови гостей!

— Куда звать-то, и печь не докладена.

— Печь Миша днями доделает, с сенокоса пришел. К сентябрю переедем. Мне и так уж Стеблов проходу не дает, когда интернат освободишь?

На переезд Анна выпросила неделю: надо было побелить печь, изобиходить избу, приладиться к новому месту, да и ребят собрать в школу: перемыть, перелатать одежонку. Суслов отпустил, хоть и сморщился, как от кислого, а чего сделаешь: без малого два месяца трубила баба на сенопункте без выходных и сверхурочно.

Дом поглянулся Анне, припал к душе. С родительскими хоромами, ясно, не сравнишь, не тот простор, не разбежишься, ну да зимовка — зимовка и есть: большая изба с русской печью, с лавками в переднем углу, с полицами в кути, с широкими укладистыми полатями. По переду, что глядел на большую дорогу, три окна. В пристенке между вторым и третьим взгромоздили посудный шкаф — чуть не достал до потолка.

Меж первым и вторым окном Анна приспособила старое зеркало в темной раме, в переднем углу прикрепила материну икону. Дементий неодобрительно пошевелил усами, однако смолчал: икону и место под нее Анна отвоевала еще при переезде в Ясеньгу.

От шкафа до самой печи желтела переборка с проемом и косячками для будущих дверей, за ней — спальня с самодельной деревянной кроватью и Сережкиной кроваткой-качалкой. В большую комнату кроме лавок, стола да двух венских стульев и ставить нечего, придется ребятишкам зимой спать на полу, на печи да на полатях. В теплое-то время все на чердаке приспособились, и матрасы там изложены.

Меж спальней и кухней заборки пока тоже не было, к кухонному окну приткнулась все та же интернатская тумбочка-столик да с другой стороны медный рукомойник над тазом, поставленным на табуретку. Под окном от тумбочки до рукомойника тянулась широкая лавка, а над окном — такая же по ширине полица. Меж задней стеной и печью — проход к дверям.

В сенях толстая дверка вела в тесную кладовку, у глухой стены, отгородившей двор, поднялась крутая лестница на чердак. В прихлевок и дальше, в хлев, надо ходить через улицу. Закрыты хлев и прихлевок не общей, а отдельной односкатной крышей, вплотную прижатой к глухой стене дома.

Недоделок много: и плотницких, и прочих. Крыльцо и то Дементий срубил временное — торопились уйти из

школьного интерната. Анна любовно выбелила печь известкой, стены и потолок вымыла щелоком, пол добела вышаркала березовым голиком с дресвой.

На новоселье Дементий пригласил Клыкова, Курышева и Молчальника. Сходил к Стеблову. Тот помялся сперва, потом отказался, сослался на недосуг. Анна падумала позвать Пашу Суслова. Начальник сенопункта, посмеиваясь, сказал:

— А что, Анна Александровна, как не один приду-то?

— С женой и зову, Павел Петрович!

— Жену как раз и не возьму, а вот Николая Ивановича придется уважить...

— Какого Николая Ивановича? — испугалась она.

— А нашего управляющего из Ожеги. Соколова.

— Ой, Павел Петрович, ты что? У нас ведь по-деревенски все, попросту!

— Он и сам простой да деревенский. Приедет завтра нас проверять, так вечером к вам и приведу, не обескудь!

— Приходите... Чем богаты, тем и рады...

У нее было заварено домашнее пиво: для новоселья чуть не год хранила на солод полпуда ржи да щепотку хмеля. А тут встревожилась: не полюбится деревенское питье управляющему, так больше и угощать нечем — вина-то чуть. Сказала Дементию, тот недовольно покрутил седой ус:

— На кой леман зовешь-то? Сиди при ем да оглядывайся, слова не скажешь. Растворяла — начальство! Тыфу! Ну, бабий ум! И верно, как коромысло: и косо, и криво, и на два конца!

— Я чего скажу — не ходите?! Стыдобушка!

— Вина прикуплю, а наперед думай вертоголовой-то башкой! Приглашательница, едрена корены! Может, и к Широгорову сбегаешь?

— Не съест тебя Соколов. Посидит да уйдет.

Управляющего она видела всего один раз и то издали, со скирды, когда тот в самую горячую пору приезжал в Ясеньгу и обходил с Сусловым сенопункт. Только и запомнилась белая шляпа — редкость по здешним местам. Теперь и самой неловко, что придет этот шляпник в дом, что угощать ему доведется, а чего сделаешь, слово не воробей...

Гостей ждали в субботу вечером. Анна с ног сби-

лась: закуски, хоть и немудрящей, надо было много. Ладно, что картошки вдоволь да луку. Усмехнулась: в нашем kraю, как в раю, картошки да луку не приесты! С утра раскатала сочни, напекла пирогов-налитушек. Рыжиков корзину Даша с Гришкой недавно приволокли, попробовала — усолились. Малосольных огурчиков достала, рыбы нажарила,— Дементий накануне бродил с дорожкой по Куне, три хороших щуки попали. Мяса нет, беда, без мяса — какая закуска?

Мужики собрались засветло, курили у порога, растворив настежь крайнее к двери окно, что под полатями. Негромко переговаривались.

— За мукой-то не ходил? — спросил Курышев Мишу Клыкова.

— А и не торговали седни. Бывай, на пекарню всю увезут. Спрашивал продавца-то сельповского, так жалится: всю муку на пекарне испортили, клещ какой-то привязался ли, что ли...

— Да сказывают, большой вагон привезли.

— Вагон привезли, верно. Кузнецов, председатель-то сельповский, как узнал про вагон, так с утра пораньше в деревню укатил, чтобы, значит, не хлопотать об разгрузке-то. Ожигин, заготовитель,— к продавцам, а те тоже спрятались. Пришлось самому выгружать, мужиков искать да...

— Делать-то никому ничего неохота! — заметил Дементий.

— Слух идет, растрата в сельце большая,— Курышев, заплевав окурок, кинул его через открытое окно.

— Не мудрено,— согласился Миша.— Товар возят в лавках — шаром покати. Ни спичек, ни сахару, язви их в корень!

Анна споро собрала на стол, фыркал и клокотал са-мовар, а Суслова с Соколовым все не было. За шкафом в кроватке часто сказывался Сережка, путалась под ногами Гелька, и Анна пожалела, что отпустила Дашу. Гришка с Веркой наелись пирогов и тоже убежали на улицу.

— Давай садитесь, мужики! — пригласил Дементий.— Не идут, так сами и виноваты. Была бы честь оказана.

— Погоди, поспеем! — остановил его Курышев.

— Что, Анна, какова печь-то? — спросил Миша Клыков.

— Ой, Мишенька, не знаю, как тебя и благодарить! Больно уж люба: и тепла, и увариста, и угару не слыхивали...

— То-то! Клыковские печи бабы сроду не хаяли!

— А вы чего, робята, женок-то не привели?

— На что их? — засмеялся Миша. — Оне не курят!

От крыльца донеслись мужские голоса, потом в дверь постучали.

— Заходите, заходите, пожалуйста! — встретила на пороге новых гостей взволнованная Анна.

Дементий за руку поздоровался с Соколовым и Сусловым, посадил обоих в передний угол. Мужики в полу-глаз разглядывали Соколова. Обличьем управляющий райзаготсеном был прост, сероглаз и улыбчив, хоть и не молод — где-то за сорок. Мелкие, цвета еловой коры кудерышки вились над высоким, загорелым лбом. Разговоры смолкли, каждый приструнил себя в мыслях: кто знает, какая у этого Соколова власть, какие знакомства. Не полюбится иное слово, так по нынешним временам...

Долго не ладилась за столом беседа: говорили больше о доме, о том, какая и где требуется доделка.

— Перво-наперво, руби, Ильич, баню! — уговаривал Курышев. — С твоим семейством в клепочную банюходить не с руки!

— Верно! — поддержал его Миша Клыков. — Я тебе знашь какую каменку складу? Изнасу не будет!

— Не до бани пока! — отговаривался Дементий. — Не до жири, как говорится, быть бы живу...

— Дом справный, куда с добром! Бревна-то виши, как новые! — Суслов огнил большой глоток пива. — Главно, рядом все: и река, и школа, и магазин, и от вокзала недалеко.

— Я що тоби кажу, Дементий Ильич! — вступил вдруг в разговор раскрасневшийся от двух стопок Молчальник. — Треба колодезь готовваты. Ось побачь: коло твого дому е родник, мабудь. Мисце высоко, а в городи — вода? Пиймай цю жилу.

— Может, и не родник. Может, Куна подпирает, высоко держит, — возразил Курышев.

— Полно, какая Куна! — заспорил Миша. — Весной, оно конечно, вода высоко, а летом? Ключ, не иначе, верно Иван толкует!

— Полный-то дом не осилил, Дементий Ильич? —

спросил Соколов.— По семье, так зимовка-то и маловата? Пятеро, сказывают, у тебя?

— И с зимовкой в долгую, как в шелку,— недовольно ответил Чужгин.— Что вы все про дом да про дом! И так он за лето мне надоел хуже горькой редьки. Переехали, так и ладно! Скажи-ка, лучше, Николай Иванович, чего у вас в Ожеге насчет войны слыхать? Германец-то обожрется!

— Фашизм — сила большая,— осторожно сказал Соколов.— Читаете, поди, как зажали республиканцев в Испании?

— До нас-то не доберутся?

— Вряд ли. А и доберутся, так не страшно. Мы ведь теперь тоже не лаптем щи хлебаем. И танки есть, и авиация лучшая в мире.

— Вон Чкалов-то, нани в Америку маханул!— поддержал Курышев.— Да и армия слава богу. Чуть не полтора миллиона под штыком.

— Ешьте, гостеньки, закусывайте!— угощала Анна.— Ты что, Демеша, не наливаешь?

— Давайте еще по одной!— Дементий наполнил рюмки, подлил из ендovy пива в стаканы.

Миша Клыков, уже захмелевший, полез в спор:

— Армия, стало быть, верно, большая. Дак и вредители там не маленькие сидят! Ить поставили, язи мать, к стенке Тухачевского да Якира! Славно, знать, прода-вали армию-то!

— Полно, Миша, там без нас с тобой разберутся,— торопливо перебил его Дементий и попросил жену:— Дай-ка лучше, мать, балалайку!

— И верно, судачат да судачат! Сыграй, Демеша, хоть попляшем!

Анна принесла балалайку. Хозяин бойко, жилки за-подергивало, рванул «русского». И откуда что взялось в Анне! Легче легкого поплыла по янтарным половицам, взмахивая платком, складный стукоток стареньких башмаков узорчатой вязью вплелся в лихой перебор струн. Словно ветер пролетел по застолью, даже старый Молчальник удивленно таращил глаза — так неуловимо и дерзко переменилась владелица нового дома! Не спускал с жены влюбленного взгляда Дементий: вот и означилась в ней былая деревенская красавица Анька Люлинцева!

Чертом вылетел на середину горницы районный на-

чальник Соколов, такие стал отчебучивать фигуры — ходуном заходила изба. А Чужгин с задорным блеском в серых глазах все терзал и терзал балалайку, все частил и частил, вплетая звонкую струнную удаль в чечеточный перестук каблуков.

Только раззадорилась Анна, только в полную силу расплясалась, вгоняя Соколова в горячий пот, как дэнесья из-за переборки тонкий заливиштый плач. Выбежала туда, к Сережке, а пляску было уже не остановить: славно играл Дементий!

Гуляли долго, накурили так, что пришлось открывать дверь в сени, а самим курякам перебираться на крыльце под осыпные августовские звезды. Наконец мужики разбрелись по домам. Суслов тянул за собой на очлек Соколова, а тот все отмахивался: заговорился с Дементием, вспоминая Петроград, где отбывал военную службу.

— Да ты иди, как торопишься, Павел Петрович! — предложил Дементий. — Мы с Николаем Ивановичем на чердаке ночуем, ночь теплая...

— Точно, Паша, ступай! Чего еще твоих-то середи ночи будить! Ночую я у Дементия Ильича.

— Воля твоя! — сказал Суслов. — Я завтра утром загляну.

Анна с фонарем слазила на чердак, постелила соломенные матрасы, кинула подушки. Улеглись, а беседе конца нет. Подпивший Дементий давно забыл всякую осторожность, наседал на Соколова с заковыристыми вопросами:

— Вот ты мне скажи, Николай Иванович, как ты равенство понимаешь?

— Обыкновенно. Перед законом все равны: хоть тебя взять, хоть, к примеру, секретаря обкома. Нарушил — отвечай. Поработал хорошо — награду получай.

— Перед законом, это я понимаю. О другом речь. Вот я — простой рабочий, столяр. А Степа Широгоров — председатель сельсовета. Ежели мы с ним равны, так почто такое получается: я живу, как он захочет, а от меня евонная жизнь никак не зависит? Он, гляди, сунул меня на болото, а мог бы в другое место? Мог бы. Нет, сделал, как его левая нога хочет. Какое тут равенство?

Соколов закинул руки за голову, раздумчиво спросил:

— У тебя, кажется, два сына?

— Два, да почему...

— Погоди. Прикинь: и ты, и твой сын перед законом равны. А разве можете вы жить, чтобы один от другого не зависел? Ну как сын-то в иную пору рассудит: отцу, мол, хорошо,— делает, что его левая нога захочет, а мне того нельзя, этого нельзя... Вырастет сын, а ты устареешь,— сам от него зависеть станешь, верно? Так что абсолютного равенства нет и быть не может.

— Опять же тут тонкость, Николай Иванович! Я своему зависимому Гришке лучший кусок отдаю, сам не даем, недопью. А в жизни как? Ответь по совести: начальнику легче прокормиться, чем простому работнику?

— Тоже...— замялся Соколов,— тоже, смотря какой начальник.

— Стало быть, легче. Тут самая главная причина и есть, отчего многие спят да кресло во сне видят. Оттого и начальников расплодилось — пальцем некуда ткнуть. Неужто поубавить нельзя?

— Да ведь как без начальства, Дементий Ильич?— шуткой хотел отбиться Соколов.— Руководить нашим развитием надо? То-то и оно!

— Руководить... У нас на клепочном с двадцать девятого года больше десятка директоров сменилось, а план только о прошлом году, при Масалове, вытянули. Зато сейчас сызнова на станции двенадцать вагонов клепки лежит неотгруженной. Третий локомобиль за пятилетку доламываем, это — как?

— Дураков не сеют, не жнут, сами родятся. Мало еще у нас, Дементий Ильич, грамотных кадров. Часто руководителя хорошего, стоящего, днем с огнем не найдешь. Сталин-то не зря говорит: «Кадры решают все!» А мы пока что только-только неграмотность доламываем...

— И малограмотные хапать-то горазды. Вон у нас Степа Широгоров...

— Знаешь, в чем твоя беда, Дементий Ильич?— перебил Соколов.— В том, что тебе один человек весь белый свет заслонил. Учи: Широгоров — не Советская власть, а временный ее представитель в вашем поселке. Временный! ...А кроме Широгорова? Другие что, тоже хапают?

— Не скажу, что многие. Был и у нас честный директор Прокопий Масалов, себя не жалел, а долго ли насидал? Забрали, увезли куда-нибудь лес валить...

— Темно ты на жизнь смотришь! Одно неладно, другое не по нутру. Так далеко зайти можно!

— Вот и поговорили,— хмыкнул Дементий.

— Ты правильно пойми! Ведь коли все так рассуждать станут, что тогда? Случись беда, война, к примеру, а у нас классовое чутье потеряно. Как воевать с червоточиной-то в душе? Не поднимешь в атаку таких людей, не пойдут на смерть!

— Пойдут и на смерть, Николай Иванович. Отродясь бывало: в семье споры да неуряды, а пришла беда, все забудут, встанут воедино друг за дружку. Так и тут. Россия не виновата, что кто-то не по правде живет. Вот и думаю, что надобно нам сегодня правду-то становить, по правде жить, чтобы после пальцем не тыкали!

— А сам-то, Ильич, по правде живешь?

— Я — по правде. Ежели бы не по правде, можно бы и получше прожить: там украдешь, тут обманешь... Только, Николай Иванович, начни мы все жить не по правде, так, пожалуй, станем думать: где выгода, тут и правда!

— А ведь верно! — засмеялся Соколов. — Ради выгоды многие горазды правдой-то спекульнуть. На губах призывы да лозунги, а по-за словами рука в государственном кармане. Ну, чего ты, Дементий Ильич, на меня-то с такими речами наел? Не боишься?

— Надоело уж бояться-то, Николай Иванович! Да и не похож ты на доносчика, нюхом чую.

— Гляди, с другими язык одерживай. А то попадешь на Колыму — кто ораву-то кормить станет?

— А вон Миша Клыков говорит: посадят, так и хрен с им, ребятишек хоть не кормить! Опять же, всех не пересажаешь...

— Это смотря какую разнарядку спустят.

— Как так?

— Шучу.

— А по-моему, начальнику от народа отрываться никак нельзя. Временно бы их выбирать, чтобы знали: сегодня начальник — завтра рядовой. А то станут опять господа да работяги, только уж господа-то не те, не благородные — на языке словеса, а на уме одно чванство да нажива, а еще проще сказать, хапанье из котла общего! Мне, дескать, все дозволено, своя рука владыка!

— Насчет хапуг ты, Ильич, верно говоришь. Да, про-

лазы эти, кто из шкурной выгоды за власть уцепился, они ведь не только сами опасны. У волка и выводок волчий. Ты думаешь, он, пролаза-то, не пристроит свой выводок к теплым местам? Да оглянуться не поспеешь, вокруг него все одна масть — волчья!

— Ничего, выходит, не поделать? Опять и будут верхние да нижние?

— Верь одному: партию не обманешь. Придет время, во всем и со всеми она разберется. Цель святая у нас, небывалое общество строим, так что сквозь грязь да тычки не раз пробираться придется...

— Говорят, пока солнышко взойдет, роса очи выест!

— Давай-ка спать, а то и впрямь солнышко взойдет!

С того памятного разговора и завязалась тесным узелком дружба Дементия с Соколовым. Ни разу, приезжая в Ясеньгу, не обходил теперь Николай Иванович дом Чужгиных.

Пока приживались в новой избе, латали большие да малые плотницкие прорехи, убирали огород да запасали дрова на зиму, подступило время отправлять на учебу Дашутку. На два года приходилось отрывать от себя девчонку, главную помощницу — не шутка!

— Ничего, мать! — утешал Дементий. — Как-нибудь перебьемся, зато — специальность! Маслодел! По нынешним временам хорошая специальность — первое дело!

— Да разве я против? — вздыхала Анна. — Только больно уж хлопотно станет без Даши. Опять же, пальто ей справлять надо, а деньжонок-то — кот наплакал. Ты хоть бы заказ какой взял...

— Поприжал теперь с заказами. Днями Широгорова встретил, он мне, будто в шутку, и говорит:

— Скоро ли за патентом придешь?

— За каким еще патентом? — спрашиваю.

— Верстак в новом дому поставил?

— Нет пока, — говорю.

— Вот поставишь, так будем считать, что на дому у тебя мастерская. А кустарным иромыслом без патента заниматься не дадим, поимей в виду!

— А ты чего?

— Да чего я? Пропади пропадом этот промысел!
Без верстака проживу.

— На одной-то зарплате скоро выходишися...

Пришлось опять в долги залезать, чтобы пальтишко Дашутке спрятать да в дорогу собрать. Наплакалась Анна досыта, проводив дочь: первый раз в жизни отрыгала от себя кровное. Потом опять забылась в работе на сенопункте да в хлопотах домашних — как прокормить телушку. Боденку в поселок и перегонять не стали, с рук на руки передала Дидерихе и поскорее ушла из хлевушки, скрывая слезы. Добро, хоть несмышленая Звездка еще осталась в новом просторном хлеву.

Сережка и Гелька теперь до полудня, пока не прибегали из школы Гришка с Веркой, беспризорничали. Младшему пошел второй год, он стал ходить, лез куда надо и не надо. Глаз бы да глаз за парнишкой, но та и беда, что глядеть-то некому. По утрам Анна вынимала его из качалки, усаживала на половики, тут до обеда и ползал на тянувшем от двери сквозняке.

К зиме переехали в новую избу Дидеры, а хмурым декабрьским утром прибежала к Чужгинам простоволосая, заплаканная Ксения, вызвала Анну в сени и, размазывая тряскими руками слезы, срываясь на прерывистый шепот, рассказала, что ночью арестовали мужа, увезли в Ожегу.

— Ой, Аннушка, подруженька, выручай, ради Христа! Спрячь ты у себя кое-какие книги! С обыском ведь придут, а я чего понимаю? Может, не те какие-нибудь книги-то у него лежат? Найдут, так не отчитаешься, засудят годов на десять!

У Анны льдисто захолодело в груди, обмякли ноги. Помолчала минуту, перебарывая себя, сказала:

— Неси, Ксенья. Укрою на чердаке, а там уж что бог даст...

И торопливо перекрестилась.

12

Высунув кончик языка, Гришка обстругивал ножом деревянный брусок. Тонкие стружки летели к порогу.

— Опять солиши? — строго спросила Гелька, свесив голову с печи. — Ой, Глишка, долго тебе еще до ума!

— Сиди да не сказывайся!

— Ой ты пустоголовой! — продолжала браниться

Гелька, подражая матери, но не удержалась, спросила: — Чего мастелишь-то?

— Загогулину, — без улыбки ответил брат.

— А на что?

— На то! Сбегай, качни Серегу, виши, зашевелился. Что и за парень, часу не проспит!

— Сам качни!

— Ох и вредина ты, Гелька!

— Скажи, на что загогулина, так качну.

— Пропеллер будет. К аэроплану.

— И полетит? — вытарашила голубые глаза сестренка.

— Еще как! Давай сбегай, качни!

Гелька убежала за печь, оттуда донесся ее ласковый голосок:

— Это кто у нас встает-то? Это Сележа у нас встает! Выспался?

— Пался... — пролепетал Сережка.

— Глиши! Достань Сележу из кроватки, он выспался!

— Пусть в кроватке сидит, холодно на полу! — приказал Гришка, которому неохота было отрываться от дела. В ответ раздался обиженный рев. Гришка встал, прихватил с шестка молоко в бутылке с надетой на нее соской, отнес брату. Завидев бутылку, тот сразу перестал орать. Гришка вытащил его из качалки, сунул на половик:

— Играйте тут, некогда мне! — и ушел доделывать пропеллер. За этим занятием и застал его Валька Клыков. Поглядел, склоня голову набок, брякнул:

— Нет, лучше Юрки Дидерова не сделать. Он свою модель по чертежам из книжки собирает.

Гришка помолчал, потом небрежно сунул пропеллер на подоконник.

— Коли хочешь знать, самолетики — одно баловство, от ничего делать. На него не сядешь, не полетишь. Я знаешь, Валька, чего хочу выстроить?

— Чего?

— Подводную лодку, вот чего! Уж покусает локти-то Дидеренок!

— Боек больно. Она ведь железная.

— Наплевать! Деревянная еще лучше. Хошь поверху плыви, хошь на дно опускайся.

Валька открыл рот — интересно! Вдвоем нарисовали

чертеж. По чертежу лодка напоминала гроб, в крышку которого вставлялась труба-перископ и чтобы воздух проходил — дышать. Порешили строгать доски после уроков в прихлевке у Чужгиных: все равно Гришку бегать не отпускают, за няньку сидит.

Загорелись ребята не на шутку. К марту выделали свою лодку на загляденье: легкая вышла, плотная, с зауженными концами, со съемной крышкой. Когда все было готово, начали собирать. За сборкой и застал их Дементий, заглянувший в прихлевок.

— Это что же за аппарат? — спросил шутливо.

— Лодка! — краснея от гордости, ответил сын.

— Хм... А почто сверху-то забрана?

— Так ведь подводная!

— Плавать ладите под водой?

— Под водой...

— Ты, Гришка, моим топором-то орудуешь? Дай-ка! — Дементий взял топор, потрогал ногтем острие и в несколько взмахов перерубил пополам струганые доски. Гришка и Валька чуть не завыли в голос, а Дементий наставительно сказал:

— Жаль трудов ваших, да лучше лодку изрубить, чем после гробы строгать. Так-то, подводники!

А к Ясеньге валом подкатывала весна. Вздулись и почернели дороги, осел снег на берегах Куны, парко дымились отвалы мерзлых опилок у клепочного завода. Влажные ветры пахли снеговой талиной и теплом. Сильно, молодо шумели сосны в Пролетарском поселке, обильно роняя на ноздреватый снег в огородах серые, отжившие иголки.

В один из теплых пасмурных дней Гришку остановил возле школы широкоплечий ясноглазый парень, из-под шапки у него выбивались белые лохмы волос.

— Ты ведь Чужгин? — спросил он приветливо.

— Ну! — сердито ответил Гришка, высвобождая плечо от тяжелой пятерни.

— Даша-то у вас все учится в Вельске?

— Да...

— Как она там?

— Ничего...

— Не сulkится домой-то?

— В июле, может, приедет.

— А кто ей у вас письма пишет? Ты?

— Я...— покраснел отчего-то Гришка.

— Станешь писать, от меня привет передай. Скажи, Сания Копытов из Щетинской кланяется. Не забудешь? Сообщи, что я все в деревне живу, до армии дома буду, не отпускают меня из колхоза. Ежели не забыла, так пусть и мне письмушко черканет, ладно?

— Ладно,— буркнул Гришка.

Письма Даше и вправду писал он,— отец ленился, а мать не умела, научилась она в ликбезе выводить лишь свою фамилию, да и то с маленькой буквы. Вот и усаживала Гришку, подсказывала, чего надо писать. Сперва Гришка не хотел писать старшей сестре о Копытове, но потом, вспомнив его приветливую улыбку, все-таки написал, как он просил.

В самую распутьцу, когда на дорогах чавкала и пузырилась мазутной черноты грязь, умер сосед Чужгиных, арестованный Дидер. Сказывали, что после долгого следствия признали Дидера невиновным, а когда объявили ему постановление, тучный немец схватился за грудь и повалился замертво — разорвалось сердце. Хоронили его не в Ясеньге: Ксения с Юркой ездили к месту заключения, но тело увезти им не дали. К лету Дидеры продали дом, корову и уехали куда-то к родственникам. Прощаясь, Анна хотела принести подруге коробью с книгами, которая все хранилась на чердаке за печной трубой, укрытая тряпьем. Ксения наотрез отказалась:

— Спали их, Аннушка, ради бога! Не до книг мне, не знаем, где и сами-то голову приклоним. Сожги от греха!

Дом у Дидеров купила полячка Елена Ковальская с двенадцатилетней дочерью Ядвигой. Никто не знал, каким ветром занесло их в Ясеньгу, да и не старались узнатъ: столько пришлого народу сбилось вокруг маленькой станции, а у каждого свое горе, своя нутряная боль, ворошить которую не было ни нужды, ни охоты.

С весны навалились на Чужгиных заботы о будущей зиме. Куна нынче расхлестнулась не на шутку, подтопила даже край огорода, снова довелось рыть канавы, воровать с ивняком, корням которого не было ни ^уброки-износа. Кроме трех прошлогодних грядок, разделя... еще пять: чужгинскую землю на школьном участке Стеблов отдал учителям. Кровавые мозоли на огороде набили не только Дементий с Анной, но и Гришка, и да-

же десятилетняя Верка. Анна не щадила никого, да и как иначе? Иначе — голодуха зимой...

Только разделались с огородом, Дементий стал таскать Гришку в лес за Куну: там выписал он дрова, надо было пилить да разделывать, а кроме дров, отобрать десятка три бревешек на ямный сруб. В подполье под домом, которое выкопал в прошлом году Дементий, с ранней весны подступала вода, чуть не подмочила картошку. Хранить урожай в старой яме у интерната — тоже не с руки, далеко. Дементий разобрал старый сруб в карьере, перевез, что погоднее, бревешки, тронутые гнилью, испилил на дрова, и теперь бревен на новый сруб не хватало.

Место под яму приглядели у самой дороги, там, где сходились чужгинский и дидеровский огороды и где стояла высокая мертвая сосна с голыми сучьями. Дементий прикинул, что если спилить да выкорчевать сосну, яма будет, что надо: на бугре, рядом с домом, просторная и сухая.

Отдуваясь от комарья, валили они с Гришкой двуручной пилой сочные мелколистные березки, ржаво-зеленый осинник, стройные, бронзово-гладкие сосны, обрубая сучья, пилили на кряжи. Дементий скоро уставал, садился смолить табак, а может, и Гришку берег: не велика сила у парня, в шестой класс перешел. Как-то спросил:

— Не надумал, куда после школы-то?

— Нет... — смутился сын.

Хотелось разного: и моряком стать, и летчиком, и машинистом на юрком паровозе, на таком точно, какие с веселыми гудками днем и ночью пролетали мимо Ясеньги.

— Думай, сынок. Два года пролетят — свистнуть не успеешь.

А Гришке два года казались вечностью. Много воды утечет в Куне за два-то года!

Днями на Гришку наваливались все большие и маленькие заботы по дому: в магазин сбегать, за ребятишками приглядывать, огород от мокрицы чистить, кур по-

воды, дров натаскать, — всего и не перечтешь. «...оть бы Даша скорее приехала!» — мечтал он иногда.

И дождался — приехала долгожданная, сняла с неокрепших Гришкиных плеч половину ноши, хоть ненадолго, да сняла.

Как стахановцу, клепочный завод отвел Чужгину по-кось на дальней прибрежной луговине, арендованной у колхоза «Челюскинец» для заводских рабочих. Взяв отпуск, Дементий полный день тюкался в прихлевке: чинил и укорачивал грабли, переставлял косы на короткие косьевища. Запасать сено припадало втроем, с привезавшей на каникулы Дашей да с Гришкой. Анну в сезон приемки и на день не отпустили с сенопункта. Она тужила: больно малы помощники у мужика, да и дома большухой остается десятилетняя Верка. За сенокос-то все сердце изболится — не стряслось бы беды.

Муж скруто успокоил:

— Жилы рвать не станем. Сколь покосится, то и наше.

На другой день они уехали, погрузив инструмент и поклажу на заводскую подводу. Анна долго глядела в спины идущим за подводой косарям. Сутуло и тяжело, по-стариковски, вышагивал Дементий, рядом с ним семенила в разбитых сапогах повязанная белым платочком Даша, а Гришка, как козленок, босой и простоволосый, шустро бежал впереди всех, протирая кулачонками заспанные глаза.

Анна вздохнула. За долгую зиму вдали от родного дома Даша почти не переменилась, не подросла и не посмелела, все такая же тихоня, молчунья стеснительная, только глаза повзрослели на исхудалом лице. Об учебе, о будущей работе говорила неохотно, так и не могла разобрать Анна, припала ли к душе дочери хорошая, на ее взгляд, специальность. Одно поняла: тоскует Даша на чужой стороне, тянет ее в Ясеньгу и, похоже, не только к родителям тянет. На другой же день по приезде наладилась по чернику в Щетинскую, а ягод принесла — чуть. А ведь тот-то беляк, Сашка-то Копытов, в Щетинской живет...

Она вернулась в избу. Младшие еще спали: Сережка в кроватке, девчонки на полу в большой комнате. Анна без стука отставила заслонку, ухватом выдвинула ближе к шестку чугун со щами, чтобы Верка не опрокинула, доставая его из печи. Поставила на шесток блюдо с пшенной кашей, подернутой красноватой пленочкой. Приготовила молоко Сережке, вздохнула: все держат парня на покупном, своего целый год не пробовали, да и

будет оно не скоро, Звездка только по весне обгулялась.

Уходя на работу, Анна с минуту задержалась на крыльце, поглядела, все ли ладно в огороде, не порхают ли капусту да огурцы придворовские курицы. Спохватилась, заторопилась на сенопункт.

Сено пока что не возили, но дела хватало: скирды нынешним летом порешили ставить рядами, первый — у дальнего края огорожи, и все на новых местах, новые и подскирдники надобно ладить. Самые упакистые деньки подступают, подкатывают: не сегодня-завтра, многое через неделю захлестнет сенной вал, продыху не даст.

«Как-то мои там переживут? — подумала Анна. — Верка-то сильно ненадежна: егозлива, пакостлива, боявесь в кого и уродилась такая вертоголовая! Это не Даша».

Верке в первые дни страх нравилась роль суповой хозяйки: и Гелька, и Сережка ходили у нее по струнке, а нет, так разговор короток, возьмет да и наступит, и пожаловаться некому: мать на работе, отец с Гришкой и Дашей на дальнем лугу. Но командовать мелюзгой Верке скоро надоело, а дома сидеть, к ребятишкам привязанной, — нож острый. Стала таскать их за собой на улицу: сперва через дорогу на лужайку, к приземистому бараку, потом к сельсоветскому магазину, а в один особо жаркий денек, когда забежали соседские девчонки звать купаться с плотика на Куне, повела всю ватагу на реку, выше того места, где выкапывали бревна клепочники.

Большой бедой кончилось бы это купанье, кабы не Гелька. Прибежав на реку, девчата скинули платьишки и залезли в воду на мелком месте, а Сережку усадили на плот, приткнутый к берегу. Он сперва забавлялся, хлопая ладошкой по воде, что голубыми окошками светилась между неплотными бревнами, да маловато показалось простору, пополз к краю плота, потянулся и булькнул с головой. Добро, хоть ручонкой догадался обхватить крайнее бревно плотика. Всплеска девчонки не услыхали, сами плескались и визжали. На счастье, Гелька оглянулась и не увидела братца на плоту. Кинулась во все лопатки, успела схватить Сережку за рукав рубашонки и заорать. Подскочила сестра, вдвоем вытащили парнишку из воды, а он, очумев от страха и удивления, даже не ревел, только сплевывал воду да таращил серые глазенки.

Гелька рассказала вечером матери про Сережкино ку-

панье, и вица из голика прогулялась по сухим Веркиным ногам. После того малышам житья не стало. Усвищет сестрица бегать, а их запрет в дому: хоть песни пой, хоть волком вой. Одна радость, когда придет с сенокоса Гришка за хлебом. Каждый раз принесет лесного гостинца: либо пару сладеньких дудочек, либо туесок княжны, а то и переспелой земляники на веточках. Прибежит он, весь в волдырях от кусачих оводов да мошек, и прилипнут младшие к брату, как смола: он и поигрет, и загогулину какую-нибудь выстрогает вместо игрушки, хоть и самому невтерпеж на реку сбегать.

Лето задалось худое, через день да каждый день поливали дожди, кошенина парнилась и гнила. За полмесяца наскыркали с грехом пополам два небольших стожка, с тем и вернулись домой. До конца отпуска Дементий успел еще вывезти из лесу нарубленные с весны бревешки на ямный сруб и дрова.

Дождливым днем, когда из-за непогоды сорвалась подвозка на сенопункт и жена пораньше прибежала с работы, Дементий позвал ее пилить сухую сосну, что росла в песчаном углу огорода. Анна заколебалась:

— Спилить недолго, а ну, как на гряды свалится? Скольз картошки нарушим!

— На дорогу свалю,— пообещал муж.

Он раскидал огорожу в том месте, куда валиться сосне, сделал надруб. Пила со звоном врезалась в сухую, перестоялую древесину. Через полчаса Дементий уже обрубал сучья, потом распилили ствол на бревна и склали их тут же, за огородом. Гришка крутился возле, помогал, а к кухонному окну лепились две бледные рожицы: Сережкина да Гелькина. Даша на то время ушла за хлебом, Верка убежала встречать нетелку.

— Тять, а когда пень-то корчевать станем?— спросил сын, пособляя загораживать проем в огороде.

— Завтра уж, видно, поковыляем. Сладим ли еще с сатаной? Не сладим, так жечь придется. Ишь, выставился...

— Давай подроемся под него поглубже, все равно тут яму копать.

— Завтра...

И последний день отпуска почти весь вылетел у Дементия на войну со смоляным раскорякой. Вроде подкопались, все корни перерубили, подваживали длинной слегой, а пень все, как влитой. Осилили-таки к вечеру.

Полешки, годные в печь, Дементий занес в избу, кинул на пол под устье печи.

— Все, Гришка! — сказал устало. — Отзвонили мы свой отпуск! У тебя-то еще маленько осталось, а мой так весь вышел!

— И яму не выкопаем?

— Ямой в воскресенье займусь.

Дементий посидел на крылечке, дымя цигаркой, полюбовался ясным до звона вечером и вдруг хлопнул ладонями по коленям:

— А что, Гришук, не махнуть ли нам на реку?

— Ага! — обрадовался сын. — Я счас, червяков нарою в огороде!

Не дождавшись Анну, не поужинав, взяли с собой кусок хлеба с солью, удочки, огородом выбрались на берег Куны и двинули вверх по течению к темнеющей вдали чистой воде за концом залома.

Окунь на зорьке брал жадно, с маху топил поплавки, заглатывал наживку чуть не до брюха, но попадался больше мелкий — в ладонь.

— Нет, эта забава не по мне, — сказал Дементий, вытащив с десяток окунишек. — Ты сиди, как охота, а я дорожку покидаю.

Гришка заерзal: и от клева отрываться неохота, и поглядеть, как схватит у отца на дорожку здоровая щучина — невтерпеж. Любопытство пересилило: закинул и воткнул конец удилища в берег — надолго.

— Тять, я — с тобой!

— Оставь удочки-то, никто не тронет.

Для дорожки у Дементия припасено особое березовое удилище, метров шести длиною. Такую березку: тонкую, длинную да прямую не вдруг съшешь, надо по чащобам полазить. К удилищу привязана толстая леса, плетенная из конского волоса, на конце — длинная стальная проволока, а уж к ней крепится самодельная блесенка.

Взмахнул отец удилищем, булькнула блесенка аж на середине реки. Повел, не спеша, к берегу. Первые забросы были пустые, и Гришка пожалел, что оставил уловистое место, брел следом, отставая, оглядывал низменный с редким ивняком этот берег и обрывистый, с галечными отмелями, с соснами на самом обрыве — тот. На траву пала роса, холодила босые ноги, комарье приступалось настырнее, кусалось больнее. Гришка уже на-

меревался повернуть обратно, но тут удилище в руках отца задергалось, будто его отнимали, вода взбурлила, мощный всплеск пронесся по сонной, с волокнами туманца реке.

— Попалась, которая кусалась! — весело крикнул Дементий, выбрасывая на берег большую щуку. — Вот, Гришук, и добыча! Так и в жизни: нет-нет, да и повезет. Главное — терпенье да труд, а повезет обязательно!

Возвращались, когда изрядно потемнело на улице, но в окнах поселка почти не виднелось огней: летом лампы мало кто жег, берегли керосин.

Тихо в чужгинском доме: девчонки утянулись спать на чердак, Анна в потемках шебуршилась у печи, готовя на завтра пойло корове. Обрадовалась, увидев рыбу:

— А я-то не могу и толку дать, чего сварить к завтрему. Вот молодцы какие: и на уху, и на жареху принесли! — и, бросив свои дела, принялась кормить добычников, а потом чистить рыбу.

Дементий уже заснул, когда Анна толкнула его в бок, потрясла за плечо.

— Чего тебе? — сонно спросил он.

— Глянь-ка, Демеша! Да отвори глаза-то!

Он мотнул головой, с минуту непонимающе смотрел на пол у печи, где свалены были полешки от смоляного пня. В темноте они будто горели синим пламенем.

— Буди Сережку! Гришку буди! — тихо прошептал Дементий.

Анна взяла Сережку из кроватки, унесла на кухню. Сын разлепил скованные сном глаза, захныкал, хотел удариться в рев и — замер. Прямо на полу горел костер. Холодное и белое пламя исходило из сваленных в кучу дров. Казалось, вся изба озарилась, но жара не чуялось.

Сережка протянул ручонки к холодному диковинному костру.

— Не бо-бо, не бо-бо, иди, пощупай! — Анна тихонько опустила его на пол, и Сережка протянул ладошку к озаренному светом полену, коснулся его, засмеялся в восторге:

— Не бо-бо! А горит!

Гришку разбудить не смогли — умаялся парень.

После сенокоса Гришка словно прилип к отцу: меньше манили ребячью проказу да игры, потянуло к мужиковскому делу. По дому управит, чего мать накажет,

сбегает выкупается и чешет, сверкая босыми черными пятками, в церковь, в клепочную столярку. Мужики скоро к нему привыкли, добродушно пошучивали:

— Гляди, Дементий Ильич, заткнет тебя за пояс молодой столяр!

— Заткнет, так спасибо скажу! — улыбался польщенный Дементий и поручал тринадцатилетнему сыну какую-нибудь немудрящую работенку: доску начерно обстрогать, клей развести: склеить из готовых частей табуретку, либо выдолбить стамеской паз в заготовке.

И привык бы, наверно, Гришка к столярке. Но в один из августовских дней, правясь на работу к отцу, он нос к носу столкнулся с Валькой Клыковым.

— Ты куда? — спросил приятель, и Гришка заметил, что конопатое лицо Вальки похудело, вытянулось, а глаза стали тусклыми, печальными.

— В мастерскую...

— А я — на поезд. В Ожегу поеду.

— В Ожегу? — удивился Гришка. — Почему?

— Мамку в больницу увезли, проводать надо. Айда со мной?

— У меня и денег на билет нету... — смутился Гришка.

— Думаешь, у меня есть? — кисло усмехнулся Валька. — На подножку запрыгнем да и ту-ту!

Поезд они ждали не у вокзала, не там, где пассажиры садились, а с другой стороны путей, на лужке. На подножку не залезали, пока паровоз гудок не подал. Жутковато стало, когда застучали, набирая обороты, колеса, замелькали под ногами шпалы, сливааясь в серую полосу. Потянул встречный ветерок, остужая накаленную солнцем железную дверь в тамбур, поплыли мимо далекие дома, речка Ясеньга под мостом сверкнула. Вольно сделалось на душе, боялись только, не открыл бы дверь проводник, не втащил бы за уши в вагон — штрафовать.

В Ожеге спрыгнули, нырнули под вагон, выскочили с другой стороны к высокому, блестящему желтой краской вокзалу. Расспросили, где районная больница, и пошли в ту сторону по деревянным мосткам, разглядывая приземистые дома.

Пока Валька ходил к матери, Гришка слонялся во дворе больницы меж рослых берез. Хотелось есть, да и

на душе скребли кошки: узнают дома про самовольную поездку — не поздоровится!

Наконец Валька появился в дверях больницы, вытирая глаза.

— Ну как она?

— Худо... — вздохнул дружок. — Не встает и с кровати. Доктор сказал, не меньше месяца пролежит. Хоть бы жива осталась...

Гришка молчал — чего скажешь? Молча вышли за больничную ограду, обратно к вокзалу.

— До поезда-то долго, — почесал Гришка в затылке. — И жрать хочется...

— Ладно, перетерпим.

Справа от вокзала ветвились на стрелках стальные пути. На многих стояли товарные составы, а по свободным деловито сновали закопченные паровозы.

— Гляди, гляди! — Гришка дернул дружка за руку. — Паровоз-то в избу зашел!

— Ха-ха-ха! — раздалось за спиной столь раскатисто, что ребята чуть не присели. Испуганно обернувшись, увидели мужика в промасленной спецовке, в форменной фуражке.

— В избу, говоришь? — повторил он и снова белозубо расхохотался. — Это, брат, не изба, а депо! Там паровозы ремонтируют. Охота поглядеть?

— Охота... — смущенно сказал Гришка.

— Пошли, покажу. Первый раз, стало быть, в Ожеге?

— Первый... Мы из Ясеньги.

— А знаете, как паровоз в обратную сторону разворачивается?

— Знаем! — соврал Гришка.

— Как?

— Ему большую петлю из рельсов делают. Все заворачивает да заворачивает, пока назад не повернет...

— Ну, с вами не соскучишься! Ишь ты, выдумал — петлю! — снова засмеялся железнодорожник.

Они прошли в широкие ворота, и новый знакомый показал на широкую площадку с рельсами:

— Вот это называется — поворотный круг. Поставят на него паровоз, включат мотор, круг и повернется на сто восемьдесят градусов. То на юг ехал, а после разворота, пожалуйста, — поезжай на север!

Он провел их через все депо и выбрался на другую улицу через узкую дверь.

— А вы, дяденька, тут работаете? — спросил Гришка.

— Нет, я машинистом работаю, вот только что из поездки. Вы, чай, голодные, ясенжане? Айда теперь ко мне в гости!

— Нам нельзя... — испугался Валька. — Поезд скоро!

— До поезда еще глаза выпучишь. Через три часа поезд. Пошли, без разговоров! Я тут рядом, вон в том домишке живу.

Дом, на который показал машинист, был маленький, но ухоженный, обшит вагонкой, на окнах — белые наличники. На крыше торчало странное сооружение, похожее на колесо с крыльями. Заметив, что ребята не спускают с него глаз, машинист объяснил:

— Там у меня домашняя электростанция. Подует ветер, закрутит колесо, а от него динамка вертится, ток дает.

— Здорово! — ахнул Гришка.

В чисто прибранной комнатке ребят встретила жена машиниста Вера Ивановна, улыбчивая и краснощекая.

— Покорми нас, мать, виши, все трое из поездки! — пошутил машинист, уходя переодеваться.

Ребята присели в уголок, поджимая под стулья босые запыленные ноги. Вера Ивановна споро собрала на стол, поставила три тарелки, нарезала хлеба, сгоняла ребят вымыть руки.

— Завидую я вам, пацаны! — сказал новый знакомый, со смаком хлебая наваристые щи. — Вам ведь в какое время жить? В век скоростей! Годков через двадцать такие паровозы по нашим путям пойдут — закачаешься! Как птицы станут летать!

— А на машиниста долго учиться? — несмело спросил Гришка.

— Почто долго? В Няндоме школа ФЗО открылась, на помощников машиниста учат. Два года после семилетки, потом годика три помощником, а там сдавай экзамены на машиниста, принимай паровоз! Я вам, ребятки, точно скажу: лучше нашей специальности нет! Ведешь состав, а кругом простор, воля, ветерок тебя обдувает... Ну, конечно, и поглядывать надо, дисциплинка у нас железная. Одно слово — транспорт!

Вернулись ребята в Ясеньгу, и скучно показалось

Гришке в родном поселке. Даже в мастерскую к отцу перестало тянуть, зато часто стал бегать на станцию, провожать паровозы втайной надежде увидеть в кабине знакомого машиниста.

— Мне бы, тять, динамку маленьку достать! — сказал он как-то отцу. — Я бы электричество дома изладил.

— Это как?

— А склеили бы с тобой колесо ветряное, да на крышу поставили бы... Легонькое только надо. Закрутится оно от ветра, завертит динамку, а от нее провода в избу, к лампочке...

— Путаник, однако, из тебя вырастет, Гришка! — пошутил отец. То тебе самолетики, то подводная лодка, а тут вот динамка затребовалась... Ты к одному какому-нибудь делу прикипай душой-то, больше толку будет. Вот хоть бы столярное, к примеру...

— Нет, тять, — упрямо кивнул сын вихрастой головой. — Я уж точно теперь знаю, кем буду.

— Кем?

— Машинистом на паровозе. В Няндоме, сказывают, училище открыли, на помощников машиниста учат. Туда после школы и поеду.

— Ну-ну... — недоверчиво протянул Дементий. — А топор все одно учись в руках держать. Мужику без топора нельзя.

Вечерами выкопали на огороде яму, стали рубить сруб. Дементий отдал сыну небольшой, с топорищем по парнишечьей руке топор, сам наточил его до бритвенной остроты. Шагу не отступал от сына, не столько сам рубил, сколько ему руку ставил, показывая, где и как обтесать, как чашку вырубить, как желобок. К случаю и расскажет чего-нибудь из своей длинной жизни. Оттого затянулась работа дольше, чем надо: один-то Дементий давно бы управился, да только думал, что худа от такой затяжки не будет, а парня сноровка выручит не раз.

Однажды, когда вот так же вдвоем колупались у сруба, вскинул глаза Дементий, а на дороге, опершись руками на изгородь, стоит Николай Иванович, наблюдает. Чужгин подошел, вытер руку о рубаху, протянул:

— Чего давно не бывал?

— Я и сам заскучал по Ясенъге, да все, виши, забыты. Ведь, кроме Ясенгского, еще три сенопункта у меня, а все в разных углах района. И своя база в Ожеге — успевай знай поворачиваться!

— Заходи в избу, чаю попьешь.

— Нет, Ильич, на поезд тороплюсь.

— Час еще до поезда-то, поспеешь.

— Вот тут и покурим,— Соколов присел на бревно.

— Гришка, сбегай, поставь самовар!— наказал Дементий, усаживаясь рядом. Гришка воткнул топор в бревешко, улыбнулся гостю и между грядками полетел в избу.

— Растет!— поглядел ему вслед Соколов.— А у меня старшему шесть годочеков только. Поздновато женился...

— Ты, Николай Иванович, вроде как не в духе? Али стряслось чего?

— Особенного ничего. Лето, виши, худое больно, с планом горим. Приезжал вот на сессию сельсовета, снимал стружку с председателей колхозов. Кстати, помниши, ты на Широгорова-то жалился? Верно ведь я говорил: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Сняли его сегодня.

— Неужто? И за что?

— Проверка из района была, по всем колхозам ездила. Накопали много. Колхозных уставов нигде нет, акты на вечное пользование землей не вручены. Хлеба прорву испортили из-за недомолота: сгноили, попросту говоря. Семенного зерна всего половина была засыпана. А со скотиной... Падеж несусветный. В «Красном пахаре» назем стали вывозить из овчарни, так больше десятка ягнят нашли, в назем зарыты. В сельпо растрата оказалась на шестьдесят тысяч. Ваш клепочный подкачал: план-то на треть всего сделали. Вот и пришлось Широгорову отдуваться. Сняли за неспособность к руководству.

— Поделом вору мука. Кого выбрали-то?

— Северова. Не здешний, из района. Ничего вроде мужик.

— А Широгорова куда?

— На сельпо перекинули.

Дементий громко захохотал.

— Ты чего?— тоже улыбаясь, спросил Соколов.

— В реку, знать, кинули щуку-то! Так оно у нас и ведется. Ну да леший с ним, в сельпе-то скорее проворуется. Пойдем, Николай Иванович, в избу, самовар, поди, поспел.

— Нет-нет, Дементий Ильич! На минутку, так и за-

ходить нечего, а на большее время не позволяет. Побегу на станцию. Пока!

Чужгин глядел ему вслед и жалел, что не случилось времени у Николая Ивановича, больно хотелось отвести душу в разговоре с понимающим партийным человеком.

Настроение незаметно испортилось, и вечером он ни за что ни про что разбранился с Анной, которая подъехала к нему на подводе Сашки Копытова. Жена выгрузила с телеги громоздкую деревенскую ступу и окованый железом пест.

Даша помогла матери перетащить ступу в избу, потом попросила, краснея:

— Мам, можно я с Сашкой до речки прокачусь?

— Поезжай, коли охота,— разрешила мать.— Да не долго, гляди!

— Я скоро!

Загремев, откатилась телега, на ней чуть не в обнимку уселись Копытов с Дашей. Дементия, который сидел на крыльце, кольнуло, что дочь спросилась у матери, а не у него. Виду, однако, не подал, только подковырнул жену:

— Ай да баба-яга! Где экое добро-то выкопала?

— Ой!— махнув рукой, рассмеялась Анна.— Разговорились этта с бабами: у одной овса пригоршня запасена, другой ячменю полмешка привезли, а истолочь не в чем. Я и вспомнила деревенскую-то ступу, вот бы, говорю, девки, завести-то чего надо. А тут парнишко из Щетинской случился, Сашка Копытов. Я тебе, тетя Анна, говорит, ступу-то привезу, у нас дома лишняя есть. Не обманул ведь, привез седни...

— Ох, деревня!— в сердцах оговорил Дементий жену.— Твоя бы воля, так весь бы хлам из отцова дома перетаскала!

— И перетаскала бы!— не поддалась Анна.— Что за хлам за такой? Кросны новые кинули, а без кросен-то я, как без рук! Сколь бы холстины наткала, всех бы ребятишек одела!

— Станут они твсю холстину носить!

— Да ить с голой задницей не пойдут! Коли нечего, так оденешь и холщовое. Суконного-то не припас!

— Об одном тряпье и думаешь, мать твою так!— Дементий встал, пошел в дом.

— А у тебя и об тряпье думки нет! Хоть голышом

семья ползай! — крикнула Анна вдогонку и неожиданно для себя заплакала.

Дементий долго возился с чем-то на чердаке, потом прогремели лестничные ступеньки, он рванул дверь и вскочил, как ошпаренный, в избу, размахивая толстой книгой.

— Ты откуда это приволокла?

Анна испугалась не на шутку. Полгода прятала она лубню с дидеровскими книгами за печной трубой, нарочно закидывая ее самыми бросовыми и грязными тряпками, чтобы никого не потянуло рыться в куче рванья. И надо же, чтобы именно сегодня наткнулся на книги Дементий.

— Ксенья Дидерова оставила... — виновато сказала она.

— Когда уезжала, что ль?

— Когда Евгенья арестовали...

Дементий с изумлением посмотрел на Анну.

Вся минутная злость улетучилась куда-то, уступая место восхищению: ну и отчаянная же баба! Он растерянно крутнул двумя пальцами сивый ус, проворчал для порядка:

— Тебе и бомбу принесут, так укроешь? Да разве можно так? А ежели там запрещенные книги-то? Нашли бы, так обоих укатали на Колыму!

— Велела Ксенья-то истопить, а мне жаль показалось. Тоже, чай, думали люди, старались...

— Схожу, разберусь. Может, чего и скречь придется, — примирительно сказал муж, и Анна облегченно вздохнула: пронесло грозу. И не надеялась, что так легко обойдется ей опасное самовольство.

Остаток вечера Дементий просидел у чердачного окошка, прикрыв лаз у лестницы крышкой, даже Гримшу не пустил, разбирался с книгами. Из всей лубяной коробки отобрал три политические брошюры, которые показались подозрительными, остальные книги бережно сложил обратно. Чего только там не нашлось: «Илиада» Гомера, трагедии Шекспира, Некрасов, Тургенев, Пушкин, Никитин... Подосадовал: такое богатство лежало над головой, а он все зимние вечера играл в дурачка с Мишой Клыковым!

Спустился с чердака, кинул в растопленную Анной печь отобранные брошюры, приобнял встревоженную жену:

— Ништо! Не горюй, хоть зимой будет чего почитать. Зря только сразу мне не сказала. Тоже, поди, сердчишко-то беспокоилось?

— Хотела спалить, да...— Анна, всхлипнув, уткнулась мужу в плечо.

— Ладно, мать! — провел он мозолистой ладонью по густым волосам Анны.— Худое все, считай, пережили, одно хорошее осталось. Детки растут, корова отелится, крыша своя, сена запасли... Да нас теперь ни с которого боку пушкой не прошибешь!

И почуял, как промокла рубаха под правым предплечьем.

* * *

Летело над Ясеньгой лето тридцать восьмого, молодое и резвое. Торопливо гнало в рост травы, огородную овощь, грибную да ягодную лесную дань. Гнулся над верстаком в столярке Дементий. Грохотали под окнами чужгинского дома телеги с сеном, металась по скирдам Анна, не видя из-за слепящего соленого пота ничего, кроме дурманных сенных пластов. Заливисто ухали паровозы, протаскивая составы навстречу друг другу на юг и на север. Свистели теплые ветры в столбах диковинной подвесной дороги, не смолкали лучковые пилы и лошадиное ржанье на жарких лесных делянках. Плакали светлыми смоляными слезами могутные, в обхват, сосны да ели, прощаясь с родимыми корнями перед тем, как пуститься в далекий путь к студеному морю, а потом лечь в широкие трюмы нерусских пароходов. Плакали, смеялись и пели жители скороспелых поселков на крутом перепутье нескладной своей судьбы, но жили, прививались к новым местам и растили под крышами разномастных домов да бараков светлую по-росль военного поколения...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Поезд шел под уклон. Отпыхиваясь белыми клочьями, паровоз выметнулся из лесного прогала, грохотнул мимо семафора, что вскинул железную руку, козыряя пассажирскому. Справа прочастили столбы подвесной дороги, чумазые костры бревен, платформы.

Григорий Чужгин спрыгнул с низкой подножки еще на ходу и беспокойно переминался, поджидая, когда уйдет состав, освободит дорогу в поселок. Было ему и весело, и гордился он оттого, что возвратился в Ясеньгу не босоногим парнишкой, а рабочим самостоятельным человеком. Слесарь-паровозник, это вам, товарищи, не фунт изюму!

Проводив поезд, он вразвалку, одерживая себя, зашагал через пристанционную луговину к рослым соснам, что табунились в центре Пролетарского поселка. Солнце щедро грело молодую, дружную зелень луговины, быстро сушило дороги. В огородах гнулись женщины — садили картошку. Завидев Григория, многие распрымлялись, глядели пристально, гадая — чей? Уз-нав, здоровались, ахали, дивились:

— Вырос-то, батюшки!

Расступились сосны, открыв просторную лужайку между бараком и домом Пелиных, песчаную дорогу за ней и дом с двускатной крышей. Радостно стукнуло в груди, запощипывало глаза — родной дом, он и есть родной. Все тут, в поселке, гляделось по-старому, только вдоль дороги стояли свежевкопанные столбы с натянутой на изоляторы проволокой. «Радио провели!» — догадался Григорий.

Дверь в сени была распахнута настежь. Григорий вошел в избу, приветно окинул глазами печь, верстак, стол, посудный шкаф, зеркало в темной раме, икону в углу. Девчушка колобком вывернулась из-за печи, облилась широким румянцем, кинулась к нему, взмахнув крохотными косичками:

— Гриша приехал!

Он сунул чемодан к порогу, сгреб сестру в охапку:

— Ух ты, какая вымахала!

У шкафа с посудой, без штанов и босой, стоял карапуз. Сунув в рот палец, он с серьезным любопытством разглядывал гостя.

— А Серега-то, Серега-то у нас! Что, брат, давай руку!

Малыш боязливо протянул тонкую ручонку. Григорий ухватил его за бока, подбросил к потолку...

— Силен, мужик! Как вы тут? Одни сидите?

— Тятя с мамой на работе, а Верка по хлеб убежала,— ответила Гелька.— Мы тебя жда-али! Каждый день вспоминали: может, завтра Гриша приедет?

— И ты ждал, Сережка?— спросил Григорий, усаживая брата на лавку. Тот кивнул и снова сунул в рот палец — застеснялся.

Григорий швырнул фуражку на верстак, открыл чемоданчик, вынул ярко раскрашенного Ваньку-встаньку, сунул братишке;

— Держи!

Потом положил на стол кулек разноцветных конфет-горошинок, при виде которых восторгом брызнули речи глаза.

— Ты, Гелька, во второй перешла?

— Ага!

— Огород посадили?

— Внизу еще гряда осталась, сыро больно.

Сережка, зажав одной рукой неваляшку, другой то и дело доставал изо рта желтую конфетную горошину, разглядывал и опять клал в рот, все теснее придвигаясь к брату. Григорий потрепал его взъерошенные волосенки, встал, заглянул за шкаф в спальню, сунулся на кухню. Ничего не переменилось в родном доме, всякая вещь стояла на своем месте. Правда, из кухонного окошка не виднелась, как прежде, школа, сгоревшая позапрошлой зимой. Сейчас на пожарище навалены

бревна, поднимается новый сруб — школу отстраивают заново.

— Тебя покормить, Гриш?

— Да ведь скоро с работы придут? Подождем...

— А вон мама уж идет!

И верно: за окном, у которого стоял верстак, быстро мелькнул темный платок Анны.

— Сынок! — мать крепко обняла его, хотела поцеловать, но Григорий смущенно высвободился.

— Надолго ли отпустили-то?

— Пятого июня велено в Вологде быть.

— Что уж больно и мало-то, неделька всего!

— Десять дней, как положено.

Анна захлопотала на кухне, не переставая разговаривать, сбивалась с пятого на десятое.

— В бане-то давно не был?

— Давненько.

— Завтра воскресенье, так сходишь в клепочную. Отца всего избранила: который год бьюсь, чтоб баню срубил, а у него и в умушке нет. То ли бы дело — своя-то банька! Что же Верка-то, кобыла, долго не идет? Хлеба ни крохи, а она опять, поди, по поселку с ребятишками шастает!

Словно почуяв, что ее ругают, прибежала Верка, маленькая, с птичьим лицом, принесла хлеб, заходила возле Григория, удивляясь:

— Важный-то какой стал! Как барин!

Вернулся с работы отец. Большой семьей, как раньше в интернате, уселись за длинный, накрытый холщовой скатертью стол. Не хватало только Даши, и Григорий спросил, стараясь говорить солидно, по-взрослому:

— Чего Дашка пишет?

— Работает на маслозаводе в Первунинской. Лишка-то не распишется, вроде тебя: жива, здорова, да и до свиданья.

— Значит, говоришь, в Вологду направили? — отец погладил седые усы.

— В дело. Слесарем.

— Не вышло из тебя машиниста?

— Да я ведь писал. Приказ вышел ФЗУ на ФЗО перестроить. Собрали нас, кто на помощника машиниста учился, говорят: отделение ваше закрывается. Кто хочет, оставайтесь, будем учить на слесарей по

ремонту паровозов, а кто не хочет — на все четыре стороны. Я спросил, куда после на работу направят. А это, сказали, по вашему усмотрению: хошь тут, в Няндоме, хошь в Вологду. Подумал-подумал, да и остался...

— Ну и ладно, хоть в городе станешь жить, на большой дороге,— Анна ловко вытерла передником под носом у Сережки, который, открыв рот, глядел на брата.

— А ты, тятя, чего с клепочного ушел? — спросил, в свою очередь, Григорий.

— Пришлось. Главно-то из-за коровы. В леспромхозе на вырубках дают покосить, да и налогом не столь прижимают. А работа одинакова, только тут больше по ремонту: рамы в бараках изладить, стекла врезать, полы перестлать,— всякое такое.

— И зарплата больше?

— Не намного. Да ведь время мне, сынок, и о пенсии подумывать. В сорок четвертом шестьдесят стукнет, три года осталось. А у лесников надбавка к пенсии, тоже не помешает...

— В депо устроюсь, стану вам помогать.

— Теперь нам полегче, Гриша,— сказала Анна, подавляя суп в блюдо.— Вы с Дашей, считай, на своих ногах, а у нас — огород, корова, да и крыша над головой. Не пропадем!

— Еще Верка в няньки уйдет! — вмешалась Гелька и сразу получила подзатыльник от старшей сестры.

— Как это — в няньки?

— Виши, побраница я ее маленько — дома дела по уши, а она по поселку собак гоняет. Заревела да и брякнула: «Не стану с вами жить, уйду в няньки!»

— Привязались, поесть не дадут! — Верка бросила ложку, встала из-за стола.

— Сядь на место! — повысил голос Дементий, но Верка уже вылетела в сени, хлопнула дверью.

— Вот вертушка-то! — Анна хотела было подняться, муж отговорил:

— Ничего! Губа толще, так брюхо тоньше! — и повернулся к сыну:

— Не забыл, как дрова-то рубят? Выписал я недавно лесу за Конихой, надо бы свалить да разделать.

— Завтра?

— Тянутъ нечего, тем боле что у меня выходной.

Нарубим, так пусть сохнут. Может, заодно и на баню бревешек повыбираем.

Похлебав на верхосытку молока, Григорий прошелся по избе, постоял у верстака: на нем лежали гладко обструганные дощечки с четко проявлением древесным рисунком. Взял одну, повертел, любуясь.

— Шкафчик висячий наладился сколотить, — пояснил Дементий, тоже подходя к верстаку. — А то бумага какая заведется, и положить некуда, сuem за божницу.

— Под лак шкафчик?

— То-то и оно, что не под лак. Охота достичь, чтобы дерево самосильно заиграло: без лаку, без краски...

— Трудно.

— Не просто, — согласился отец, сворачивая цигарку.

Григорий положил дощечку на место, взялся за фуражку.

— В клуб схожу.

— Долго-то не бегай, рано разбужу — нахмурился Дементий, который только что настроился по душам потолковать с сыном.

Григорий в раздумье постоял на крыльце: одному идти в клуб как-то неловко, а приятели поразъезжались после семилетки на учебу да на работу. Нет и закадычного дружка Вальки Клыкова — поступил в речное училище в Великий Устюг. Григорий слегка вздохнул, крепче надвинул фуражку и зашагал к узкоколейке.

На клубе висел амбарный замок, зато из тополевой рощи у начальной школы зазывно летели звуки гармошки: кто-то старательно играл вальс. На закате подхоложенный майский воздух стал как бы льдисто-тонким, полная луна ярко посвечивала с просторного неба. Маленьким показался под этим небом клепочный заводик, игрушечными — дома и бараки.

В тополевой роще, обнесенной низеньким штакетным заборчиком, сумерки плыли гуще, плотнее, лунный свет дробился в клейких, с сильным тополиным запахом листьях. Около гармониста толпились парни и девушки с Пожарища, из поселка. Чужгин почти всех знал в лицо, но все были старше его, и хотя многие здоровались за руку, он застеснялся. Его дернули за рукав и, обернувшись, Григорий увидел конопатое лицо Димки Ломунова.

— Здорово! — приятель протянул руку, и Чужгин удивился: рука слабосильного прежде Димки показалась железной.

— Привет! Ты откуда взялся?

— Нет, это ты — откуда? — захохотал Димка. — А я все дома. На бирже в леспромхозе лес грузим.

— А я отучился. В Вологду направили.

— Гляди-ка! В саму Вологду! — Димка с уважением посмотрел на него.

— Чего у вас клуб-то не работает?

— А заведующего не могут найти. Вот и топчемся тут, у школы. Эй, Машка! — окликнул он. — Погляди, кто приехал-то!

— Чужгин! Ой, какой интересный стал! — Маша Золотова, тоже бывшая одноклассница, подошла, поздоровалась.

— Да и ты...

— Что — я? — лукаво спросила она, поправляя коротенький рукав белой кофточки.

— Прямо невеста!

— Бери замуж!

— А чего? Собирайся, поедем в Вологду! — он шутливо приобнял девушки за плечи. Маша, непонятно, то ли прижалась на секунду, то ли толкнула его плечом, отвела руку:

— Далеко больно! — и отошла к подругам, толпившимся возле гармониста.

Григория даже в жар бросило. А с чего бы? Ведь и за косы ее таскал, и боролись, бывало, и в прятки играли вместе...

Под тополями начались танцы. Танцевать он не умел, стоял, прислонясь к стволу тополя, не спускал глаз с кружившейся в вальсе Маши, с ее белой кофточки, с полных улыбчивых губ.

Подошли поздороваться Молчальниковые ребята: крепкие, как дубки. До того похожи друг на друга, что Чужгин частенько путал, который из них Лешка, а который — Сашка. Школу они закончили годом раньше. Хоть и отличниками были, поступать не поехали, потому как в анкете надо написать «сын кулака», а с такой анкетой не примут ни в одно училище. Так и жили дома, работали на клепочном, дожидаясь призыва в армию.

В поселок возвращались гуртом: Молчальники, Дим-
5—4290

ка Ломунов, Григорий не отставали от знакомых девушек, будораживших сонный поселок звонким смехом. Чужгин снова подивился, как незаметно и быстро повзрослели они: Наташка Кострова и Ядя Ковальская, Маша Золотова и Настя Хвойникова. Рядом с ними шли две девушки постарше, Дашины подруги Женя Лютарович да Таня Варт. По тому, как настойчиво преследовали их неразговорчивые братья Молчальники, нетрудно было догадаться, из-за кого они весь вечер проторчали у тополей.

Над поселком тлела в истоме светлая майская ночь, у реки далеко и чисто гремели соловьи, изредка ухал паровоз, будто рядом выстукивали колеса на стыках.

— Жалко школу! — вздохнула Маша. — Теперь уж за своей партой не посидишь...

— Новую построят!

— Новая — это для других, нас туда и не потянет...

Долго сидели на бревнах, вспоминали учителей, перемалывали всякую всячину. Григорий завладел теплой рукой Маши и тихо радовался, что она не отнимает руки. Дивился сам на себя: отчего в седьмом-то не замечал Золотову, да и после, в Няндоме, ни разу не вспомнил? Где глаза-то у него были в ту пору? И сладко млило сердце, когда Маша, чуть заметно, сжимала руку...

Утром Дементий еле растолкал спавшего на чердаке сына. Солнце только что встало, сквозь щели в застремах сиялось под крышу, наполняя чердак почти звонким бронзовым светом. То там, то сям в поселке горланили петухи, мычали коровы, лаяли собаки, иногда в этот разноголосый шум врывался стальной стук проходящего поезда.

Умывшись и перекусив на скорую руку, мужики собирались в лес. На плече Григория тонко позванивала двуручная пила, за пояс старых штанов заткнут топор. Другой топор и сумку с едой нес Дементий. Отцовские старые сапоги хлябали на ногах Григория, и он пожалел, что не надел под портянки шерстяные носки, как советовала мать.

Миновали старый интернат, где больше двух лет ютились в крохотной комнатушке на втором этаже, прошли мимо начальной школы, мимо тополевой рощи. Григорий поиском глазами тополь, под которым вчера

стояли с Машей. Теплая волна ласково оплеснула грудь изнутри. Скорее бы вечер!

Он немного поотстал от отца на деревянном мосту через Ясеньгу, поглядел на крутые берега, с которых катались зимой на санках да на лыжах, полюбовался на чистую воду, прозрачным валом летевшую под мостом. Церковь на холме, издали легкая и белая, как лебедь, вблизи удивляла щербинами и выбоинами, разваленной колокольней.

— Ломают церкву-то? — спросил отца.

— На кирпич придумали разобрать весь верх. А какой тут кирпич — одна щебенка. Раньше кирпич-то на мертвый раствор сажали, легче разбить, чем один от другого отодрать. Зря ломают, попусту, да никому ведь ничего не докажешь...

В лесу было еще росно, крепко пахло черемуховым цветом, свежей листвой. Воздух звенел от птичьего пересвиста, легкий ветерок увязал где-то в вершинах, не достигая земли. Отец с сыном часто обходили прозрачные озерца последней снеговицы. Вспотели, пока выбрались к отведенной Чужгиным делянке. Дементий, заметно побледневший, повесил сумку с едой на сучок, присел на валежину, достал табак.

— Перекурим да и начнем. Не привык еще курить-то?

— Нет, — ответил Григорий, приглядываясь к деревьям, пытался на глаз определить стволы, годные в сруб на баню. — Пробовал, да не понравилось.

— И ладно. Одна морока с этим куревом: кашель долит, грудь жмет... Да и махорка все переменная. Я уж нонче сам в огороде табаку посеял, рассады в Молчальника выпросил. Ну, давай приниматься, — Дементий растер окурок ногой, встал, взялся за топор.

Они работали до обеда почти без перекуров, свалили с десяток деревин и напилили чурок. Ель да сосну потолще вымеряли и отпиливали аккуратно: на баню.

— Придется тебе, Гриша, денька три-четыре поваландаться, окорить бревешки, пока не завяли. Присохнет кора, потом не отдерешь, да и гниль привяжется...

— Сделаю, чего там! Окорить недолго...

Сели обедать. Дементий неохотно жевал испеченный Анной пирог, запивал молоком из бутылки, шурясь на яркое, словно новорожденное солнце, которое не заслоняли больше густые зеленые вершины.

— Тяжел я, Гришка, стал на подъем,— вздохнул отец.— Много ли поковырялись, а уж руки-ноги, как не свои. Ты дальше-то учиться не надумал?

— Не знаю, тять...— тоже раздумчиво ответил Григорий.— Как еще вот устроюсь? В Вологде можно, в случае чего, в вечерний техникум поступить...

— Главно, сынок, мастерство наживай. Любую штуковину так отделай, чтобы не стыдно было после в руки взять. Чтобы всякий поглядел да и сказал не раздумывая: Чужгина работа! Тогда и от людей уваженье, и самому полегче. А в армию призовут, тоже просись поближе к машинам, раз уж к этому занятью у тебя стремленье...

— До армии два года еще кукарекать! — засмеялся Григорий.— Да там, поди, не больно и спрашивают!

— Войны бы не случилось только,— будто не слыша сына, продолжал Дементий.— А жизнь на поправку, кажется, идет. Может, и не придется вам мыкаться, как нашему брату, старикам. Но ежели тugo прижмет, помни, что у тебя в Ясеньге дом. Худо ли, бедно ли, а тут, в куче-то, перебьемся... — Дементий помолчал, огладил пальцами седые усы, встал: — Пойдем, стаскаем бревенки в одно место.

Они настлали подкладки и стали переносить отобранные на сруб бревна из разных концов делянки. Григорий первым подбегал к комлю, чтобы отцу доставалось нести вершину, но к одному бревну не поспел. Дементий рывком приподнял сырой еловый кряж и вдруг выронил его, охнул, согнулся пополам.

— Тять, ты чего? — испугался сын.

— Сейчас... — перевел дух Дементий. Лицо его побелело, как березовая кора.— Неловко поднял-то, резануло — спасу нет...

Он с трудом опустился на бревно, которое только что поднимал, по лицу покатились крупные капли холодного пота. Григорий в страхе топтался рядом, спросил дрожащим голосом:

— Домой-то дойдешь?

— Погоди, отдышишь...

— А то давай за лошадью сбегаю?

— Не надо. Лучше инструмент собери.

Прибрав пилу и топор, Григорий заткнул второй за пояс, накинул сумку, помог отцу встать и, придерживая его за локоть, повел к дороге. Из нарядного и привет-

ного лес сразу сделался чужим, тени деревьев зловеще легли под ноги черными крестами. Дементий брел медленно, стараясь не оступиться, но все-таки оступался и тогда болезненно охал, останавливался, прислушиваясь к рези в животе, в самом низу. Ноги его дрожали. У дороги Григорий, не в силах больше смотреть, как мается отец, прямо-таки приказал:

— Ты сиди тут, а я к дяде Мине Клыкову сбегаю, лошадь возьму!

— Давай,— покорно согласился Дементий, прислонясь к шершавому стволу старой придорожной сосны.

Григорий бросил на землю топор, скинул хлябающие сапоги и босой, что есть мочи, припустил к белеющей в створе дороги церкви.

Возле церкви, у входа в клепочную мастерскую, стояла подвода. Лошадь, запряженная в телегу, сонно опустила голову, полуприкрыв глаза. Григорий с разбегу запрыгнул на телегу, схватил вожжи и, ударив ими по конскому крупу, закрутил над головой. Телега прогрохотала, выкатываясь на дорогу, из церкви выскочил мужик, покрыв Чужгина трехэтажным матом и пропустил вдогон.

— Стой! Стой, мать твою, курва семибатюшная! Голову оторву гадине!

Под хлесткими ударами лошадь неслась галопом, телегу кидало из стороны в сторону, она кряхтела, трещала, казалось, вот-вот рассыпается, а Григорий все яростнее крутил вожжи над головой. Хозяин подводы отстал, но все бежал следом, запинаясь и матерясь.

Дементий сидел на корточках у той же сосны, держался за живот. Развернув лошадь, Григорий помог отцу лечь на телегу, сунул в изголовье сумку и свой старый пиджак, тронул шагом. Встрепанного, употребившего мужика, хозяина подводы, встретил на полдороге. Он шел, тяжело опираясь на увесистую дубину, и запаленно дышал.

— Я тебе, сукину сыну, покажу, как коней угнать! — половчее перехватив дубину, мужик побежал к подводе. Григорий схватил лежавший рядом топор, встал на телеге:

— Не подходи! Голову отрублю! Не видишь, человек помирает!

Хозяин подводы перевел глаза на больного и тут же опустил налку.

— Однако, Демеша Чужгин? — изумленно спросил он, враз остывая.— Демеша! Чего стряслось-то?

— С пупа сорвал, однако, Николай...— слабо проговорил Дементий.— Ты уж извиняй... За лошадь-то...

— Об чем разговор! — Николай Шилов, колхозный бригадир с Пожарища, взялся рукой за грядку телеги, зашагал рядом.— Ты б мне, парень, кряду сказал, куда гонишь, а то скочил на телегу, был да нет. Бревно поднял, что ли?

— Бревно...

— Это бывает. Ну-ка, парень, поворачивай к Годовичих! Мастачиха она по энтым делам, лучше всякого фершала. Виши, скрутило сердягу, в чем душа...

Избенка Годовичихи, низенькая и дряхлая, притулилась невдали от церкви. Сама бабка ничуть не переменилась: сгорбленная, сухая, разве что глаза поутикли, подернулись дремной пленочкой. Она вышла к телеге, пощупала живот Дементия юркими, как ящерки, пальцами, скомандовала:

— Заносите в избу!

С помощью сына и Николая еле переполз Дементий через Годовичихин порог. Стонущего, его положили на широкую, до глянца затертую лавку.

— Идите на волю! — снова приказала бабка.— Даст бог, на своих ногах убредет.

Григорий долго топтался возле избушки. Каялся, что зря послушал Николая, надо было довезти отца до больницы. Чего она понимает — знахарка! Николай же спокойно сидел на телеге, дымил цигаркой.

— Не бось! — успокаивал он младшего Чужгина.— Годовичиха, брат, слово знает. Ей хворобу прогонить, все одно, что нам с тобой до ветру сходить!

И верно: меньше чем через час вышел Дементий из Годовичихиной избы на своих ногах, от лошади отказался, хоть и предлагал Шилов довезти его на телеге. Храбрился зря: к вечеру ему стало хуже. Анна сбегала за фельдшером, и тот, осмотрев больного, сказал, чтобы утром непременно доставили его в больницу.

Дементий дышал тяжело, с хрипом, стонал и кашлял. Присмиревшие девчонки утянулись на чердак, а Григорий, натаскав воды из колодца, присел возле отца на табуретку.

— Вот так, Гришук, и жизнь наша! — превозмогая

боль, улыбнулся Дементий.— Сегодня бродишь, а завтра на погост понесут...

— Не мели пустое-то! — в сердцах выпалила стоявшая у стола на кухне Анна.— Срядился, готово дело! Ты деток сперва подними: Сереге-то от роду четыре с хвостиком!

— Медицина у нас хорошая! — убежденно сказал Григорий.— Вылечат!

Но на другой день, прощаясь в больнице с отцом, уже переодетым в линялый застиранный халат, Григорий впервые в жизни почуял, как снизу в грудь, куда-то в подвздошье, подкатил острый, маятный холодок. Было так, словно забрался он по приставной лестнице на высоченную крышу, а теперь вот убрали лестницу, и что хошь делай, хоть садись на конек да плачь.

2

В общежитии депо, куда поселили Григория Чужгина, обитали холостые, бесквартирные парни. В угловой комнате на втором этаже жило двенадцать человек — слесари, кочегары, два помощника машиниста. Перезнакомился не сразу: сутки у ремонтников ломающие, депо работало в три смены, а паровозные бригады постоянно мытарились в поездках. Только один из слесарей — веселый Ванька Анучин — попал в бригаду с Григорием. Беловолосый, улыбчивый, он в первый же вечер, поглядев на сидящего у тумбочки новичка, скомандовал:

— Ну, голова елова, вологодских девок видал? Ага, не видал. А охота. Надраивай штиблеты, турнем в КОР.

— Чего это? — недоверчиво и несмело спросил Григорий.

— Это, братец ты мой, клуб одичавших ребят. Нас с тобою тата обыскались. Давай, давай, шевелись!

— Какое первое дело машиниста перед рейсом? — спросил Иван, когда вышли из общежития.

— Проверить приборы и механизмы!

— Вот и врёшь, голова елова! Первое дело — заправиться. Стало быть, шуруем в столовую.

Завернули в деповскую столовую, которая не закрывалась круглые сутки, кормила паровозные бригады.

У длинной стойки, где буфетчица выписывала талоны и наливала желающим пиво из бочки, стояло человек шесть паровозников в лоснящихся от машинного масла спецовках. Один, усатый, с усмешкой поглядел на Григория.

— Во, какой птенчик у нас вылупился!

— Птенчик оперится, а драной вороне век без хвоста летать! — отбрил Иван.

Мужики сдержанно хохотнули, усатый просверлил Анутина черным глазом:

— Давно тебя, белобрысик, не колотили.

— Да виши, тебе некогда, а боле некому!

— Выберу время!

— Станешь мяукать, усы завьем, голова елова!

Усатый сунулся было к Ивану, но пожилой сосед из очереди со смехом придержал его за плечо:

— Уймись! Связался черт с младенцем!

Иван взял по кружке пива. Григорий однажды пробовал пиво в Няндоме — не поглянулось, горькое. Да ведь не скажешь про то Ивану, сразу как-нибудь обзовет! Кружку выпил, хоть и с натугой, зато залпом, не отрываясь, и сразу зауважал себя: взрослый человек, захотел вот и выпил, и отчета никому давать не обязан.

Пообедав, Гришка и Ванька Анутины вышли из столовой. Перелезли под товарными составами через пути, вынырнули прямо к большому, в розовых завитульках вокзалу. Мимо бесчисленных ларьков, сараюшек пребрались к пятиэтажке и свернули на соседнюю улицу. Здесь, в сквере, красовалось кирпичное здание с шатровым верхом, похоже — драночным. Это и был клуб железнодорожников. Посмотрели объявления: листки зазывали в северный народный хор, в драматический и танцевальный кружки. Афиша обещала вечером танцы под духовой оркестр. Другая кричала крупными буквами: «Сегодня — новая победа советской кинематографии — звуковой художественный фильм «Валерий Чкалов»!

— Мировая картина! Шик! — обрадовался Иван. — Идем без разговоров! А там и танцы подоспевают, станем выбирать тебе подругу жизни!

— Ну на фиг! — смутился Григорий. — Больно надо! А сам подумал о Маше Золотовой.

Крепкий узелок завязался у них в ту неделю, ко-

торую Григорий провел в Ясеньге. Днями он пропадал в лесу: расколол и сложил в поленницу дрова, окорил да стаскал в одно место бревенки на баню. Уламывался до того, что еле выползая к дому, а поотлежавшись, вскакивал, переодевался, бежал на игрище. Там они с Машей, не сговариваясь, норовили отколоться от ребячей гурьбы, ускользнуть на берег Куны. На заломе засиживались за полночь, слушая голосистых заречных соловьев. Григорий касался Маши плечом. Хотелось поцеловать ее, да не мог осмелиться, только вздыхал украдкой, глядя на точеный ее профиль, на пухлые губы, притущенные сумраком белой ночи.

Он так втянулся за неделю в это, без единой скучной минутки житье, в щемяще светлые вечера над родной туманной рекой, что, услыхав накануне отъезда паровозный гудок, прямо-таки дрогнул от неохоты куда-то ехать и что-то сейчас ненужное ему делать в далеком паровозном депо. Днем проведал в больнице отца, который шел на поправку, а на закате снова наладился из дома.

— Ты, Гришка, хоть бы вечерок посидел! — ворчала Анна. — Уезжаешь завтра, а я тебя еще и не видела!

— Чего глядеть-то? — отшутился Григорий. — Вот он я, весь на виду!

— Ему на нас глядеть неинтересно! — съязвила Верка. — Он все на Машу Золотову любуется!

— Затрещала, сорока! — густо покраснел Григорий и торопливо нахлобучил фуражку.

В ту ночь засиделись на бревнах чуть не до рассвета, но только проводив Машу, у самой ее избы, ткнулся Григорий губами куда-то между щекой и носом бывшей одноклассницы. Она тихонько охнула, приглушенно рассмеялась и кинулась на крыльцо...

Все это вспомнилось ему теперь в Вологде. Чем-то сейчас занята? Вспоминает ли? Только бы не забыла, хоть минутку коротеньку погрустила бы, а ему так больше никого не надо, никаких девок вологодских.

Иван не отступал:

— Подруга жизни нам всегда нужна! А выбрать есть из кого, сам увидишь! Цветник на полянке, голова елова!

— Ну на фиг! — повторил Григорий и решил про себя, что никуда он не пойдет, ни на какие танцы. Мах-

нет после кино в общежитие, завалится на койку, ста-
нет думать о Маше.

Он так и сделал: на уговоры Ивана не поддался, и
через четверть часа после кино уже стоял на Горбатом
мосту, широкой дугой нависшем над железнодорожны-
ми путями. Вечер плыл тихий, светлый, степенно пе-
реливался в белую июньскую ночь. Под мостом, стуча
и отпыхиваясь, бегали маневровые паровозы, закида-
вали к ногам прохожих ошметки пара и дыма.

Григорий оперся на перила и долго смотрел на
север, туда, где разветвлялись железнодорожные пути:
одни заворачивали к Ленинграду, другие — к Архан-
гельску. Сесть на паровоз, так не больно и далеко ро-
димая сторона: прогрохочет железнная лошадка по мосту
через реку Вологду, пролетит мимо Прилуцкого монас-
тыря и почнет считать километры, весело щокая на
рельсовых стыках, все ближе к Куне, к отцовскому
дому, к Машеньке Золотовой! Вздохнул. Теперь уж до
отпуска не бывать, а отпуск без малого через год, в
мае сорок второго...

«Письмо надо Маше написать, вот что!» — обрадо-
вался Григорий хорошей мысли и чуть не бегом пус-
тился к деповскому общежитию.

На одной из коеч в их комнате лежал, закинув руки
за голову, пожилой человек в нижней рубахе. При-
глядевшись, Чужгин смутился: мужчина оказался тем
самым паровозником, что остановил в столовой усатого,
который собирался броситься на Ивана Анучина.

— Здравствуйте! — пробормотал Григорий.

— Здорово! Нагулялся?

— В кино ходили...

— Хорошее кино?

— Хорошее. «Валерий Чкалов».

— А-а... Где Ивана-то потерял?

— На танцы остался.

— А ты что же?

— Неохота...

— И правильно. Успеешь еще по танцулькам набе-
гаться. В депо станешь работать?

— Ага. Слесарем.

— Добро. Ну, давай знакомиться, — он сел на кой-
ке, протянул широкую руку. — Зовут меня Петр Степа-
нович, помощник машиниста. Можешь дядей Петей.
А тебя?

— Григорий,— потупился он.— Гришка...
— Так Григорий али Гришка?
— Григорий.
— Верно! Нос человеку задирать негоже, а и ниже всех становиться не резон. Что за Гришка? Рабочий парень, стало быть, Григорий, ну, по-крайности, Гриша. Водку пьешь?

— Нет...
— А я уж было подумал. Лихо ты пиво дуешь!
— Да я и пиво-то первый раз...
— Не привыкай, Гриша. Пьяный рабочий хуже безрукой поварихи, особо в нашем путейском деле. Любишь слесарить?

— Не особо. Я тоже хотел машинистом сделаться, да ФЗУ переформировали.

— Была бы охота, работа не убежит. У нас частенько на курсы помощников набирают. Оно и лучше, коли сперва возле паровоза походишь, приглядишься, как узел к узлу прилажен. Ты ведь теперь вроде паровозного лекаря, каждую болячку у машины нюхом чуять обязан!

Чужгину не полюбился назидательный тон соседа.
«И этот учить принял! — неприязненно подумал он.— Небось сам знаю, чего обязан, а чего не обязан!» — он слегка нахмурился и присел к тумбочке писать письмо Маше...

Чужгин скоро втянулся в деповскую жизнь. Определили его в тендерный участок подъемочного ремонта паровозов. На поворотном круге паровоз отсоединяли от тендера, угоняли на паровозный участок, а за тендер брались слесари из бригады Григория. Они отсоединяли каретки с колесными парами, чистили тендера, простукивали и проверяли каждую заклепку. За сутки участок выпускал на линию один тендер: первая смена разбирала, вторая латала изъяны, третья — собирала.

Вместе с неунывающим Иваном, наскоро перекусив в заводской столовке, Чужгин бежал на смену, снимал номерок на одной доске в проходной, перевешивая на другую. И начиналось:

— Гришка! Ты — маленький, ну-ка полезай в тендер, сливной люк откроешь!

Поначалу боялся лезть в черную дыру, куда при заправке паровоза хлестала толстая водяная струя. Внутри тендера пугала темнота, пахло там сырым ржавицей.

вым железом, под ногами, меж стальных переборок хлюпали остатки воды. Потом глаза привыкали, находит крышку сливного люка, откручивал болты и принимался чистить тендер от грязи да тины. Вылезал чумазый, весь в липкой ржавчине.

Через две недели получил Григорий первую получку и, ошелев от радости, не знал, куда истратить свои семьдесят девять рублей. Хотел половину послать домой, но из Ясеньги написали, что отец поправился, живут хорошо и чтобы он не расстраивался, а спрятал себе одежонку. Иван, которому дал почигать письмо, согласился:

— Что верно, то верно. Надо тебя, голова елова, приводить в божеский вид. В воскресенье по магазинам дунем, рубаху тебе покупать.

Воскресное утро пало ласковым, и ребята, позавтракав, подались через Горбатый мост в город. Политые водой улицы встретили их благодной тишиной, одна извозчикья лошадь цокала подковами по булыжной мостовой да редко-редко, стреляя синим дымом, пробегали легковушки. В огородах у деревянных домов копошились домохозяйки: окучивали картошку.

— Где народ-то вологодский? — удивился Иван. — Не иначе все под Соборную горку наладились, загорать. По медицине, так один фунт загара все равно, что килограмм мяса, веришь, нет, голова елова?

— Я бы лучше мясо взял.

— Надо брать обое. Айда, на рынке потолкаемся.

В центре города людей сновало больше, но вели они себя странно: сбивались в кучки, возбужденно переговаривались. Около уличного репродуктора на площади Революции гудела порядочная толпа.

— По какому случаю митинг, граждане? — громко и весело спросил Иван, подходя ближе. Пожилой рабочий повернулся к ребятам, сердито отрубил:

— С луны свалились? Война!

— С кем? — оторопел Иван.

— С немцами, с кем еще!

Чужгин неверяще уставился на рабочего, а к сердцу подкатила пополам с любопытством тревога. Война! Где-то станут бабахать пушки, строчить пулемеги, понесутся в атаку неудержимыми конными лавами эскадроны, сверкая стальными шашками! Жаль, что ничего

не увидит, мал еще, не возьмут, так и отшумит война без него...

Толпа все гомонила, гудела, прибывая, потом гул словно отнесло ветром — начал говорить Молотов.

— Дела, как сажа бела,— протянул Иван, когда зазвучала музыка, растерянно почесал пятерней затылок и вдруг ухватил Григория за локоть:

— Айда в депо. Верняком мобилизацию объявили, а у меня первый срок, голова елова! — и, не оглядываясь, широко зашагал к вокзалу. Григорий бросился следом.

В депо ребята узнали, что скоро будет митинг, на котором должны сказать, как теперь жить и что делать. Ждать оставалось часа два. Друзья заглянули в деповскую столовую, пообедали на скорую руку и вернулись в цех, где намечался митинг. В цехе толкалось много народу: рядом с насквозь промасленными слесарями и паровозниками стояли и ходили празднично одетые люди, те, кому выпало отдохнуть в воскресенье. Лица у большинства тревожные, но тревожные по-разному: с болью, с гневом у тех, что постарше, с наигранным бесшабашьем и жадным любопытством у молодых. Там и сям, в кучках, переговаривались, спорили, строили догадки:

— Вот сволочи! — с каким-то удивлением возмущался высокий слесарь. — Ты мне скажи, кто их, гадов, трогал? Чего надо паразитам!

— Фашисты, одно слово. Пограбить невтерпеж. Известно: грабить — не работать, что хапнул, то и твое.

— А совесть? Ведь договор...

— Ищи у бандюг совесть!

— Не знают, где и ночевала!

— Не дрейфь, мужики! Дадим им по сопатке! Только бы до фронта дорваться!

— Еще как дастся?! У немца — сила...

— Да и мы не лыком шиты!

— Худо, что врасплох захватили, стервы!

— Говорят, железнодорожников брать не станут. Всем поголовно — бронь.

— Не свисти, дед! Это как же — не брать?

— А в магазинах седни что деется! Не проголчешься!

— Все подчистую хапают.

— Жулье, спекулянты!

- Кому война, а кому — мать родна...
— Ты брось эти паникерские штучки!
— Кто паникер? Я?!
— Полно, мужики!
— Не хватало еще меж собой-то цапаться!
— Злость на немца поберегите!
— Управимся! Дай срок, резервы перекинут, вышибем со свистом, полетят аж до самого Берлина!
— Ага, тебя только дожидаются. Без тебя все дело встало.
— Месяц, два от силы...

За обрешеткой пригнанного на ремонт паровоза появились трое. Григорий узнал начальника и партийного секретаря, третий был незнакомый.

— Товарищи! — секретарь поднял руку, смиряя гул голосов под высокими сводами цеха. — Сегодня в четыре часа утра гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны напала на нашу Родину. Может, в эти вот самые минуты рвутся снаряды да бомбы в мирных советских городах, гибнут ни в чем не повинные женщины и дети. На подлую провокацию гитлеровской банды мы, железнодорожники Страны Советов, ответим стахановским трудом, а если надо будет, в любую минуту сменим рабочий инструмент на винтовку и встанем в первые ряды бойцов Красной Армии. В связи с суровым моментом грозной опасности какие наши главные задачи, товарищи? Во-первых, не допускать ни малейшей паники, неустанно крепить военную дисциплину. Во-вторых, усилить охрану депо, перекрыть все лазейки шпионам и диверсантам, которые спят и видят вывести из строя советский железнодорожный транспорт. Чтобы вы знали, товарищи, с сегодняшнего дня железные дороги переводятся на военное положение. Многие из вас уйдут на фронт, оставшимся придется работать за двоих. Ни минуты простоя! Все силы — на разгром фашистской нечисти!

Выступали и другие, но все было уже понятно из речи партийного секретаря: бронировать деповцев не станут, большинству молодых слесарей придется идти на фронт. Паровозные бригады мобилизуются вместе с паровозами.

Иван Анучин ждал, что его возьмут сразу: на другой, ну, в крайности на пятый день, а повестки все не было и не было, хотя половина деповских слесарей уже

распрощалась с работой; иные на годы, большинство — навсегда.

— Бюрократы! — ругался Иван.— Это они, головы еловы, засекли, что мне восемнадцати нет! А не одна ли сутлема, ежели через два месяца стукнет! Покудова ждешь, вся война кончится!

Мастер слесарей Лыжов стал зажимать молодяжку в ежовые рукавицы.

— Дисциплину содержите, ребятушки, в аккурате. Согласно законов военного времени,—то и дело приговаривал он.

Жизнь трудно, со скрежетом, с недохватками и слезами стала заворачиваться на военные рельсы. Внешне в депо переменилось немного: построжала дисциплина, наладилась светомаскировка да прибавилось черной работы. Григорий по-прежнему лазил чистить тендера. Однажды во влажных, пахнущих ржавью и тиной потемках что-то грохотнуло под ногами, ударившись о стальную переборку. Он пошарил руками и поднял круглую посудину с дужкой. Отвернув болты, слил воду, вычистил грязь, вылез, держа в руке странную находку, которая на свету оказалась расписной эмалированной кастрюлей с привязанной к ушкам алюминиевой проволокой.

— Раззява! — сказал Иван про хозяина кастрюли.— Это он, голова елова, на заправке хотел водичкой разжиться, а ума-то нет, сунул посудину сразу под всю струю, и вырвало из рук, как миленьку!

Вскоре чайники, кастрюли, котелки, вышибленные из слабых рук беженок мощной заправочной струей, стали часто попадаться в тендерах.

Многое переменилось в общежитии. Ушли на фронт ребята, к которым привык Григорий, появились новые: белобилетный кочегар Степаков и только что выпущенный фээшунник Володя Гриньков, которого определили работать в одну бригаду с Григорием. С ним сошлись сразу, парень оказался расторопный и дело знал.

Ночами Чужгин, Анучин да Гриньков часто вызывались дежурить на крыше депо: вдруг да прорвется фашистский самолет, осыплет станцию зажигалками! Но Вологду, густо забитую составами, не бомбили.

— Найти не могут! — убежденно доказывал Володя Гриньков.— Вологда вся зеленая, что тебе лес, да

и светомаскировочка — будь здоров! Попробуй, разгляди сверху!

— А я слыхал, что под Вологдой, в болоте, ложный город устроили! — добавил Иван.

— Как так?

— Просто дело, елова голова! Провода натянули, лампочки там-сям приткнули, а поверху прикрыли, да неплотно, чтобы инде отсвечивало. Немец летит ночью, возрадуется: огни! Да и ухнет все бомбы на болото!

— Здорово придумали! Молодцы!

В городе теперь не бывали неделами. Может, и не выбрались бы, да погнала нужда: бельишко заносилось дочерна, а постирать не с чем, мыло давно все вышло. Вдвоем с Володей Гриньковым после ночной смены наладились за мылом в центральный магазин. Но ни там, ни в других лавках купить было нечего — пустые полки лоснились затертым деревом.

Хуже стало с кормежкой: все жиже варили супец в деповской столовой, встанешь из-за стола, будто и не ел. Чтобы не так сосало под ложечкой, привыкся Григорий курить, забивать голод табачной горечью, благо махорку выдавали исправно. Желудок обмануть, хоть и нелегко, да возможно, а тело не обманешь — худел день ото дня.

Взяли в армию Ивана Анутина, дождался часа. В ночь перед отправкой долго сидели вдвоем возле общежития.

— Зря ты, Вань, боялся, что война скоро кончится, — сказал Григорий. — Конца ей, похоже, не видать...

— Сказанешь тоже, голова елова! Кто конца войны боится? Разве что дурак круглый. Да кол ей в глотку, и Гитлеру заодно! А ты просись на паровоз кочегаром. Станешь составы на фронт водить.

— Я уж думал... Ты мне оттуда напиши, Вань!

— Напишу. Гляди, носа не вешай!

Скучно стало без Ивана. Завидовал ему Чужгин: воюет дружок, отводит душу в опасном мужицком деле. Бросил бы Григорий депо, сорвался бы на фронт, да где там! В августе только шестнадцать исполнится, на просьбу перевести в кочегары и то получил отказ. А кругом, куда не взгляни, плакаты зовут бить немца. В проходной депо: «Смерть гитлеровским кровавым собакам, стремящимся поработить и ограбить народы Советского Союза!». В цехе подъемочного ремонта —

лозунг: «Будем беспощадны в разоблачении трусов, паникеров и шептунов, не дадим им места в нашей среде!».

Все чаще писали газеты про издевательства врага над мирным населением на оккупированных территориях, про грабежи да расстрелы, про насилия над женщинами и детьми. Читал, и вонзались ногти в ладони, ненужным, мелким казалось топтанье вокруг расхлябанных на военных дорогах тендеров. Не стерпел, пожалился соседу по комнате, который хоть и редко, а возникал в общежитии, серый от недосыпа да остервенелой работы.

— Что хошь, дядя Петя, не могу я боле по тендерам ползать, когда такое творится...

— За чем дело встало? — насмешливо прищурился переведенный недавно в машинисты дядя Петя. — Надо, братец, дать тебе полк да и кинуть на самый главный фронт! Что, кишка тонка? То-то! Не может он, видите ли! Будто не знаешь, какие пробки на дорогах, сколько поездов неделями с места не трогается! А поезда, между прочим, с пополнением, с боеприпасами. Паровозов перебито-перекалечено — счету нет! Ремонту пропасть, слесарей — раз-два и обчелся. Сегодня в конторе видел — девчонок слесарями оформляют, это как, по-твоему? А хошь я тебе военную тайну открою? И не одну, а сразу две. Парень ты вроде надежный, язык за зубами держится. Так вот, вчера только на буйском направлении более ста эшелонов скопилось! Соображаешь? Говорят, сам Сталин позвонил нашему первому секретарю обкома и приказал: все дела — в сторону, занимайся только железной дорогой! Нет, Гришенька! Ты считай, что каждый оживленный вами паровоз — снаряд по фашисту, не мене! Да где там — боле! Много боле! Стало быть, не канючить надо, а вкалывать, как на фронте, чтобы небу жарко было.

От работы Григорий не бегал. Все чаще предлагали оставаться сверхурочно, а то и на вторую смену. Широкий, продутый сквозняками, прокопченный цех стал ему знаком и привычен, как родная изба. Служалось, и ночевал тут, в подсобке, прижав ноги к горячим батареям.

Октябрьским вечером перед концом смены, только-только присмолил цигарку, позвали:

— Чужгин, иди на проходную, там женщина тебя спрашивает!

Обтер руки ветошью, с дымящейся цигаркой в зубах вразвалку зашагал из цеха, гадая, кому занадобился. Не иначе, Маруся, комендантша из общежития: та иной раз забегала к слесарям, когда посылку из деревни общежитским привозили или вызывали срочно в военкомат.

Сунулся в проходную и оторопел, покраснел, как вареный рак, не зная, куда спрятать цигарку: у стены стояла мать в старой, видавшей виды оболочке. Она похудела и ростом будто сделалась ниже. За плечами горбом торчала туга набитая холщовая котомка.

— Гришка! Да ты разве куришь? — вместо приветствия спросила Анна, всплеснув руками.

— Курю... — виновато выдавил он.

— Так что не написал, я бы хоть самосаду привезла, отец ноне много наростили... Нет и нет письма, все сердце изболелось, собралась проведать. Каково живешь-то?

— Ничего. Ты, мам, погоди, я у мастера отпрошусь да провожу тебя в общежитие, одну-то не пустят...

Лыжов поморщился, но отпустил: до конца смены оставалось всего ничего.

— Как там, дома? — спросил Григорий, забирая у матери узел.

— Живем... — скруто ответила Анна. — Пальто тебе спростили, привезла, да шапку. Зима на носу, а ты в одной тужурочке...

— Что я — сам не заработаю? — набычился Григорий. — Лучше бы ребятишкам чего купили!

— Мужиков всех в армию загребли, подчистую, — будто не слышала мать. — Пашу Суслова у нас убили, начальника-то на сенопункте, помнишь?

— Помню. Жаль мужика... Как у отца здоровье?

— Бродит... Работы много, тоже военные все заказы: лыжи делают, сани да палки лыжные, — Анна невесело засмеялась: — Чуть в армию не ушел старик-то у нас!

— Ну?!

— Писал заявление в военкомат. Слава богу, не взяли по здоровью. Какой из него боец: под шестьдесят, да и ноги еле волочит. У уж и побранилась, как узнала: ой ты, говорю, дурак сивой! Виши, чего выдумал!

— Золотовы не уехали никуда? — спросил Григорий.

— Куда ехать? Отца в армию тоже взяли, Машка

в леспромхозе работает, на шпалорезке, за старшую осталась дак... Живут, ничего...

«На шпалорезке! — внутренне ахнул Григорий. — Это Маша-то? Ее ли тоненькими ручонкам ворочать бревна? Уламывается, поди, бедняга до полусмерти, оттого, наверно, и на письмо не ответила.

Анна привезла сыну свежей картошки да ржаных колобков, которые в один присест смолотили оголодавшие слесаря. Ночевала в общежитской кухне на первом этаже. Перестирала одежонку и заторопилась домой.

— Поживи хоть денек-то еще! — уговаривал сын.

— Нет, Гришенька, недосуг. С работы еле у Соколова выпросилась, да и ребятишки одни, а от отца какой додгляд — цельный день в мастерской. Как вот уехать-то, не знаю... Билета не достать, да и поезда стоят сутками!

— Не расстраивайся, отправлю! У меня все машинисты знакомые, не в вагоне, так на паровозе увезут.

И верно: тем же днем договорился с поездной бригадой, обещали доставить мать в Ясеньгу без больших задержек в пути. Анна, не скрывая набежавших слез, рас прощалась с Григорием, наказав напоследок:

— Попросись у начальства-то, может, когда и опустят домой на денек: грязное привезешь да хоть картошки возьмешь, все поддержка...

3

Радио у Чужгиных с первого дня войны не выключалось — Дементий не велел. И в день рождения младшего сына, воротясь из мастерской в девятом часу, он все гнулся у стола, палил самосад, дожидалась сводки информбюро. Сводка не радовала. «В течение десятого октября, — вещал диктор, — наши войска вели бои с противником на всем фронте. Особенно ожесточенные бои продолжались на Вяземском, Брянском и Мелитопольском направлениях...»

Гелька за столом, отмахиваясь от дыма, решала уроки. Дементий сходил на кухню, бросил окурок в поганое ведро, потом вернулся, взял с верстака тоненькую дощечку, подержал и без стука положил обратно. Как грянула война, и думать забыл про висячий шкафчик. Бревна на баню тоже свалены кучей у двора — не до них.

«Вяземское направление! — билось в голове. — Вязьма-то от Москвы рядышком, эвон куда допустили!

Нет, неладно чего-то творят. То ли воевать не умеют генералы, то ли...»

— Тяты! Мамка скоро придет? — свесил голову с печи Сережка, глядел тоскливо.

— Должно, скоро, — Дементий подошел, потрепал огрубелой ладонью мягкие вихры малыша. Вздохнул: пять годов исполнилось парню, а и побаловать в такой день нечем — принес вон четыре обрезка от бракованных лыжных палок, четыре тоненьких кругляшка — и будь доволен. Ишь, ждет не дождется мамку с подарком. Хоть бы безделицу какую догадалась прихватить, а то ведь уревится от обиды...

— Так, говоришь, пять годков стукнуло? Мужиком стал?

— Мужиком!

— Молодец! Расти скорее, да Гитлера пойдем бить.

— Я ему ка-ак дам! — взмахнул Сережка обрезком лыжной палки.

— Так ему, поганцу!

— Вояки! — хихикнула Гелька, убирая тетрадки.

— Сама-то вояка-бояка! — обиделся Сережка. — Девок на войну не берут, верно, тятя?

— Где уж им! — улыбнулся в усы Дементий. — Кишка тонка!

В сенях загремело: воротилась с работы Анна. Именник живо слез с печи, ткнулся в колени матери.

— Сереженька-то у нас все не спит! — устало сказала она, развязывая платок. — На-ко, гостинца тебе принесла со станции, — и сунула сыну обломок льняного жмыха каменной крепости.

— Колоб, колоб! — запрыгал он от радости.

— А мне? — спросила Гелька чуть не со слезами.

— Обоим хватит зубы обломать. Расколи им, отец!

— Что долго сегодня? — спросил Дементий, стукнув молотком по колобу, отчего тот развалился на три куска.

— Кипы в вагоны грузили. Четыре вагона велено было к ночи отправить. Хлебов Ваня и до се на станции валандается.

Иван Хлебов, фронтовик с перебитой, висевшей плетью рукой, был направлен в Ясеньгу начальником сенопункта вместо взятого на фронт и уже положившего голову под Киевом Павла Суслова.

— Умотался мужик, одне глаза остались. Бабы его

от кип-то гонят, да где там! Хватит кину-то за обвязку здоровой рукой и прет волоком к вагону, а самого ветром шатает. Пока вагоны не опечатал, никого не отпустил. А Верка где?

— Она, кажись, к Нелиным убежала,— неуверенно ответила Гелька.

— Козу не подоила?

— Не...

— Сатана-девка! Хоть бы ты, отец, постращал!

— Жизнь настрашает. Хватит горького по поздри...

— Собирай на стол, скожу Майку подою да ужинать станем...

Гелька сунула в холщовую котомку кусочек жмыха, отколотый отцом, принесла скатерть. Анна тем временем зажгла фонарь и, прикрыв его полой оболочки, направилась в хлев, где одиноко зябла невзрачная коза Майка. Корову под осень пришлось продать, потому как сена не накосили, некому было: с работы и на день не отпускали, а покосы отводили на дальних лесных вырубках — за ночь не обернешься. Взамен коровы купили козу, вредную, зато с хорошим удоем — хватало и Сережку с Гелькой побаловать молоком, и пустые щи забелить вместо сметаны. Все-таки подспорье, особо теперь, когда продукты по карточкам стали давать: на рабочего по четыреста граммов хлеба в день, да на иждивенца по двести. Чужгиным приходило полтора килограмма на семью. Хлеб пекли сырой, тяжелый, отрежут полбуханки на пять-то ртов, и будь здоров.

Вернувшись в избу, Анна застала всю семью за столом. Хотела было побранить Верку, виновато отводившую глаза, но и на ругань сил не осталось: молча ополоснула руки, села на свое привычное место.

— Что, Серега, сряжайся в садик! — сказал Дементий, пошевелив ложкой жидкие щи в большом блюде. — Сегодня Заломов заявление подписал.

— Слава тебе, господи! — обрадовалась Анна. — У меня уж никакого спокою не стало: как там, думаю, один-то, хоть бы не наварзal чего, не убился...

— Пойдешь в садик-то? — спросила Гелька брата, который, насупившись, старательно дул на горячие щи, подставив под ложку хлебную корку.

— Отправляют, так чего сделаешь! — рассудительно ответил Сережка. Все рассмеялись.

— Не горюй, Сережа! — сказала Верка. — В садике хоть накормят, не станешь, как дома на печи, в зуба-рики играть!

— Ты-то, гляжу, оголодала! — оборвал ее отец.

— Не оголодала, да и сыта не бывала! — дерзко ответила Верка.

— Не так еще брюхо-то подведет, ежели война за-тянется! Скажи спасибо, хоть щами кормят!

— А Пашка Заломов каждый день в школу пироги носит!

Дементий хмыкнул и замолчал. Заломов — начальник леспромхоза, может, и печет у него баба пироги, кто их знает...

— Когда вести можно? — спросила Анна про садик.

— Справку в больнице возьмешь да и веди.

— Ну и слава богу.

Поутру мозглая октябрьская сырость кинула Дементия в дрожь, едва спустился с крыльца. Он крепче запахнул полы изношенного до дыр полушибка, зашагал широким, как ему думалось, солдатским шагом, но со стороны казалось, будто движется он на ходулях.

«Мужики теперь в окопах сидят, — размышлял Дементий, проникаясь острой жалостью к ним, далеким, в шинелишках, пропитанных ледяной моросью, пробитых озноенным ветром. — Может, и пошевелиться нельзя, и головы не поднять. Пуля, она ведь и в слякоть прямо летит, не поворачивает, Эх, ребята! Выпала вам судьбина нежданно-негаданно! Сейчас жив, а через час — покойник... Скольких уж похоронили — не счесть!»

Он обычно ходил в мастерскую не большой дорогой, которая делала крюк у переезда, а тропой: она пересекала железнодорожные пути вблизи вокзала. Тут на путях часто стояли длинные составы, приходилось подлезать под вагонами, ежели не торчали на тормозных площадках часовые, которые не полпускали близко к поезду, гнали в обход. Сегодня на запасном пути тоже чернел в сумерках состав из крытых вагонов. Возле него копошились люди, и Дементий пожалел, что не пошел через переезд: теперь, коли завернут, крюк будет еще больше. Однако его никто не окликнул, не остановил, а приблизившись, он понял, отчего: вагоны до отказала были забиты детьми и женщинами, многие из которых пользуясь долгой стоянкой, выбрались размять ноги.

«Эвакуированные»,— догадался Чужгин, и хватаясь руками за рельсы, пролез под вагоном на ту сторону, к вокзалу. Здесь толчая была гуще, и он, постояв минуту, понял, что часть беженцев выгружается в Ясеньге. Забив крохотный вокзальчик, эвакуированные громоздили теперь узлы и котомки на крыльце, на двух куцых скамейках, а то и прямо на черной, пропитанной мазутом земле. То тут, то там вспарывал студеную темноту утра детский плач и быстро затихал, переходя в испуганные, приглушенные всхлипы.

Шагах в сорока от вокзала, у кучи сваленных как лопало шпал, сбилась толпа, слышались негодующие возгласы, которые перекрывал чей-то знакомый визгливый крик. Дементий протолкался поближе и осталенел: словно наседка над цыплятами, нависла над парящим ведром вареной картошки соседка Чужгиных Пелиха. Со всех сторон к ней тянулись руки с юбками, кофтами, платками. Пелиха зорко приглядывалась к тряпкам, выхватывала из рук, мяла ткань в пальцах, потом сгребала вещь куда-то под телогрейку и, нагнувшись, вынимала из ведра пяток мелких, теплых картошин, сыпала в подставленные ладони.

Дементий не сразу сообразил, в чем дело, а когда сообразил, злоба винтом вкрутилась в грудь. Оттолкнув баб, он схватил за дужку ведро с картошкой, сунул в толпу:

— Разбирайте всю! Даром!

— Чего хватаешь, мать...— обложила его матом Пелиха, подскакивая и норовя вцепиться ногтями в лицо...— Да я те все зыркала выцарапаю!

— Цыц, Наталья!— оттолкнул ее Дементий.— На людских слезах нажиться ладиши? Спекулянтка лешевая! Заткнись, а то в милицию сдам!

Соседка кинулась от него прямо в свалку, спасая ведро с картошкой, но было поздно: люди торопливо расходились, порожнее ведро валялось на боку. Пелиха схватила его за дужку и вдруг завыла тонким, надрывным голосом, будто по покойнику.

— Распелась!— сорвался на крик Чужгин.— Сварю я тебе ведро картохи, не вой! А еще раз на таком деле поймаю — сидеть тебе, баба, в казематке!

И, не слушая притчаний Пелихи, круто повернул на тропу: за опоздания по головке не гладили.

Вход в мастерскую загораживала подвода с тесом.

Женщины, Клавдия Николенко и Марфа Суляк, скидывали тяжелые тесины прямо под окна столярки.

— На что этого сырья-то наворочали? — спросил еще не остывший от недавней стычки Дементий.

— Нам где знать? — отрезала Марфа. — Велено, вот и привезли, и будь доволен!

Она с натугой приподняла конец длинной сырой тесины, сдвинула к краю воза.

«Ой, не бабье дело с тесом-то валандаться! — подумал Дементий. — Каждая тесина, считай, с полбревна. А тоже кого и пошлешь, коли людей раз-два да обчелся. Все дыры бабами затыкают. На шпалорезке мужиков нет, Лида Карпова газогенераторный трактор водит, Соня Андреева — помощником моториста на подвесной, а Лена Гузий аж за электроды взялась, сварщицей устроилась. Бревна в вагоны и то женщины вручную грузят! Ничего не попишешь, лихая беда привалила!»

Столярная мастерская при леспромхозе до войны занималась ремонтом квартир в бараках, и держали там всего двух столяров. Теперь же мастерской дали план на сани, лыжи да лыжные палки для армии. Взамен ушедшего на войну второго столяра в мастерскую перевелся с клепочного Иван Молчальник да взяли четырех парнишек, не доросших до призыва, среди них и Димку Ломунова. Так и тюкались: двое старых и четверо малых.

Тес, который сегодня привезли, не годился ни на сани, ни на лыжи — толст больно. Дементий понял, что будет новый заказ, и не ошибся. В мастерской начальник подсобных производств, он же, по совместительству, слесарь Владимир Степанович Мурашко растолковывал Молчальнику срочное задание: сколотить четыреста топчанов — их намеревались поставить в бараках, где расселяли эвакуированных.

Дементий подошел к верстаку, над которым склонились мужики, разглядывая чертеж.

— Ага, Дементий Ильич, вот кстати, — сказал, освобождая место, Мурашко. — Гляди, работа простая, да надо скоро, сегодня уже сто человек выгрузили в Ясеньге, днями еще привезут.

На неуклюже намалеванном чертеже с трудом угадывалось изголовье лежака, поставленного на козлы.

— Ось, кабы нэ ця загогулина,— показал Молчальник желтым ногтем на изголовье,— скорийшэ бы зробилы...

— Ребятишек поставим укосины да плашки пилить,— возразил Дементий.— Нельзя без изголовья! Многие приехали безо всего, сам только что видал. Не кулак под голову класть! Народу бы добавил, Степаныч! Работа простая, любая бабенка отпилит по размеру, а все скорее...

— Рад бы, Ильич, да где его возьмешь, народ-то? Нету народу...

— А заданье какое?

— Заданье срочное, опять говорю. Полсотни топчанов в сутки — это самое малое.

— Опомнись! Худо-бедно, на топчан три тесины. Обстругать только и то — сто пятьдесят! А козлы, а изголовье? Нипочем не управиться. Добавляй народу, тех же эвакуированных...

— Верно! — обрадовался Мурашко.— Все одно их на работу устраивать. Потолкую в kontore.

— Вот-вот, потолкуй. Да скажи, чтобы тес посуше выбирали. Привезли прямо из-под пилы, пар идет, на долго ли такая лежанка? Враз рассохнется да развалится.

— Тесу не обещаю, пилить не успевают.

Дементий послал молодяжку затаскивать да кроить на доски тесины, мимоходом спросил Молчальника:

— Ребята пишут?

— Була писуля вид Сашка,— охотно ответил Иван.— Отличился хлопец, медаль «За отвагу» заробыв. А Лешка як в воду канув. Чи жив, чи ни...

— Жив! — уверенно обнадежил Дементий.— Ты, главно, худого не думай. Жив!

— Як бы так... — вздохнул Молчальник и пошел за тесиной.

Работали допоздна, но сколотили только тридцать семь топчанов, хоть Мурашко слово сдержал, прислал женщин из эвакуированных. Прислать-то прислал, да ни одна раньше ножовки в руках не держала, доску перепиливали битый час. Дементий кусал ус, злился, стружка дождем сыпалась из-под его рубанка, а взглянет на работниц, и злость как рукой снимет: слабенькие, изможденные, ручки, как спички... Какая уж тут споровка, какая скорость!

Домой вернулся поздно, чуть не за полночь. Ребятишки спали, Анна, неразговорчивая, насупленная, хлопотала на кухне, тут же, на кухонном столе, при слабом свете коптилки покормила мужа.

— Ходила за справкой-то? — спросил он.

— Ходила! — буркнула в ответ.

— Белены объелась? — сжал зубы Дементий.

— Да ты беленой-то облопался! — взорвалась жена. — Скажи на милость, ты почто с Пелихой связался? Всю меня изругала седни, на весь поселок крику да сраму было!

— Паразитка! За пару картошин беженцев обдирает, как липку! Посадить мало шаромыгу! За картошкой, поди, прибегала? Отдала?

— Нагребла ведро, а то бы и не отцепилась, чисто репей! Только спровадила — из сельсовета бумагу привнесли.

Анна сняла с полавошника листок шершавой бумаги, протянула. Дементий с трудом разобрал линялые, полуистертые буквы от пишущей машинки:

«Сим предлагается в порядке помощи фронту сдать в текущем году двенадцать килограммов сущеного картофеля». Ниже стояла неразборчивая подпись и сельсоветская лиловая печать.

— Мешка два высушить надо на двенадцать-то килограмм! — сердито выговорила Анна. — Да ведь и после Нового года запросят, а ты Пелихе цельное ведро подарил! Не воз картошки-то накопали, только-только до весны дотяну...

— Дотянем, мать! Всем тяжело — такая бойня идет...

Анна присела на табуретку, облокотилась на кухонный столик. Как всегда, выговорившись, она добрела. Только грусть и тревога полнили голубые глаза.

— Неужто надолго, Демеша?

— Надолго.

— За Гришку переживаю. Затянемся, так через год и его заберут...

— Не знаю... Годом навряд ли отделаемся, под самой ведь Москвой стоит...

— Думаешь, и дале пойдет?

— Нет, — Дементий упрямко качнул головой. — Дале не пустим.

Анна невольно усмехнулась. Ишь, генерал запечный: «Не пустим!» Будто сам фронт держит.

— Кто не пустит-то? Мы с тобой?

— Да и мы с тобой. Учи: коли народ не захочет, так его бомбами засыпь — не покорится. Погоди, вот очухаемся, оклемаемся, попре-ем его, гада! Не бывать тому, чтобы Россию немец осилил! В рожу плой вся-кому, кто такое сморозит!

— Развоевался! — с грубоватой лаской сказала Анна. — Ложись спать, воин!

— А что? — крутнул Дементий обвисший ус. — У ме-ня еще того... ружье из рук не вывалится!

Анна долго не могла уснуть, — сумно было на душе, томили смутные предчувствия. Успокаивала себя: с чего бы тосковать? Мужик дома, детки здоровы, Даша с Гришкой не под пульами, на хорошей работе оба. А каково Дуне Придворовой? И муж, и сын на войне. У Молчальников вон, тоже двое воюют. Поди-ка, и Ди-деров Юрка теперь на фронте. Вот у кого горе, так горе — у Ксеньи! Но страх не отпускал, ворочался в груди зыбко, удушливо, и не было ему ни конца, ни предела, как не было просвета в знобкой осенней夜里...

Перед октябрьскими праздниками принесли Дуне Придворовой похоронку на мужа. Беспамятно кричала соседка, выли бабы и в других ясенгских домах — каждый божий день клали мужики головы, исходили горячей кровью на предзимних российских фронтах.

Стоя у самого репродуктора, слушал Дементий речь Сталина на октябрьском параде.

«За четыре месяца войны, — говорил Сталин, — мы потеряли убитыми триста пятьдесят тысяч и пропавшими без вести триста семьдесят восемь тысяч, а раненых имеем один миллион двадцать тысяч человек. За этот же период враг потерял убитыми, ранеными и пленными более четырех с половиной миллионов человек...»

И хоть большие были цифры, непостижимые, а утешали — все-таки потери у нас в два раза меньше, чем у немца, стало быть, скоро выдохнется Гитлер, скоро побежит от Москвы...

После праздников, а прошли они сумеречно, тоскливо, в Ясеньгу приехал Соколов, привез распоряжение высокого начальства прессовать сено круглые сутки: армия требовала все больше и больше фуражка. Колхозам установили дополнительные задания по сеноноске. Соколов на сенопунктовской лошади самолично обхажал всех председателей, выявляя сенные «излишки», состав-

лял акты на вывоз, обрекая колхозную скотину на голодный паек. Заодно скупал остатки кудели у колхозников: по пригоршне, по две, а потом разделил эти остатки меж сенопунктовскими работницами — прядь и сучить веревки для обвязки сенных кип. Ношу кудели принесла домой и Анна.

Накануне отъезда Соколов ночевал у Чужгиных. Дементий, предупрежденный женой, отпросился с работы пораньше: давно не виделся с Николаем Ивановичем, охота было поговорить. Но Соколов отмалчивался, хмуро выпил стакан кипятку, заваренного чайным напитком. Пристально разглядывал исхудалые личики детей, сидевших за столом. Анна подвинула ближе к нему блюда с парящей картошкой, квашеной капустой, с грибами.

— Поешь, Николай Иванович, чего воду-то зыришь?

— Спасибо, Александровна, поем...

Он взял с тарелки брускочек липкого пайкового хлеба, бережно подержал на весу и положил обратно.

— Худо с хлебом?

— Как везде,— пожал плечами Дементий.— Карточки-то везде одинаковые. Да ты не береги, сыш!

— Скоро еще хуже будет! — невесело пообещал Соколов.— Знаешь, сколько муки району на декабрь выделили? Три тонны пшеничной да сто сорок тонн рожной, обойной. А населения у нас боле пятидесяти тысяч. Вот и попробуй этой мучкой всех накормить. Колхозников уж и за едоков не считаем — у тех трудодни. И дальше, по всей видимости, легче не станет. Так что экономь, Александровна, картошку, особо семенную храни, чтобы весной поболе посадить. В картошке все спасенье наше, так и знайте.

— Думаешь, не управимся с войной до весны?

— Нет, Ильич, не управимся. Долгая война получается, затяжная...

— Как же допустили-то до такого? Давно ли пели: «Чужой земли не надо нам и пяди, но и своей клочка не отдадим!»?

— Эх, Дементий Ильич! Много чего пели! Поменьше бы нам петь в ту пору, побольше соображать! Помнился мне последнее заседание исполкома, в аккурат накануне войны, где-то около двадцатого июня. Думаешь, готовились, думали, что война не сегодня-завтра? Ка-

кое! И не чаяли беды. Я все вопросы того исполкома иззубок помню: сколько целины поднимать в сорок втором году, о строительстве навозохранилищ, о ходе искусственного осеменения скота, о выполнении плана мясозаготовок... А ведь так не только у нас, и в других местах тоже. Лучше надо было готовиться, раз война на носу висела...

Наутро Соколов чуть свет подался на сенопункт, где в конторском домике по-походному жил Иван Хлебов. Попутно заглянул в сенопунктовскую конюшню, позвал в контору конюха Игната Петухова.

— Овес для коней остался у нас? — спросил Игната.

— Почитай, не кормили еще. Как скосили да обмолотили, так и храню.

— Много ли намолотилось?

— Мешка четыре будет...

Несколько лет назад сенопункту нарезали землю для подсобного участка. Половину разделили под картофельные грядки, а на другой Павел Суслов распорядился сеять овес, чтобы подкармливать зимой шесть сенопунктовских лошадей. Сеяли овес и весной сорок первого.

— Вот что, — сказал Николай Иванович. — Овес бабам раздайте, всем поровну.

— А кони? — испугался Игнат.

— Для коней сено припасено. Да и прессовать на них будем, соображаешь? Чтобы лошадь вокруг сена ходила да с голоду пропала? Не боле того съедят, что Красовский на базах в Вологде каждый год гноит, верно?

— Верно-то верно, только опасную ты штуку затеял, Николай Иванович! — сказал Иван Хлебов. — Не положено целевой овес на сторону отдавать.

— А бабам круглые сутки на морозе топтаться положено?! — вскипал Соколов. — Или они для нас — хуже лошадей, и заездим, так не жаль? Разделите, без шума только, а спишите на коней.

— Гляди, твой ответ...

— Отвечу.

Вечером того же дня Анна принесла домой узелок овса, высушила в печи, затаила на самый черный день.

Пала зима. Радостью подмосковной победы прошумели над Ясеньгой первые метели, в снежную заверть укутывая сенопункт. Днем и ночью у длинного навеса

топтались сменные лошади, разевал жадную пасть пресс, ненасытно глотая сено. Не хватало веревок обвязывать кипы. Хлебов с великими трудами выбивал моток-другой алюминиевой проволоки, тут же, у пресса, рубили ее на длинные концы, которые сразу шли на обвязку. Анна, отстояв полсугодия на морозном ветру, наворочавшись с пудовыми кипами, брела домой, кормила ребятишек и садилась за прядлку. Мерно жужжало веретено, наматывая кудельную нитку, и мнилось порой в полуза забытьи: не веретено крутится волчком в нечутких ее пальцах, а весь мир завертелся в горячечной, кроваво-снеговой карусели, и не будет тому верченью ни конца ни края...

4

Первунинская тонула в пухлых снегах под январским солнцем. Отдымали печные трубы, лишь кисейное марево колыхалось над белыми крышами. И, кроме закуржавевшей лошади, тащившей дровни по большаку, ничто не двигалось, не шевелилось среди трех десятков старых домов. На дровнях жались друг к другу учительница Зина Решетова, Даша Чужкина да колхозный счетовод Нина Зайцева, избачиха Нюра Киселева покукала лошадь. Вся первунинская интеллигенция привилась в районный центр заготовлять дрова для паровозов.

— Чего приуныли? — повернулась к подругам Нюра, обряженная в овчинный тулуп. — Ну-ка, секретарь, запевай!

Даша, выбранная недавно секретарем Первунинской комсомольской организации, отмахнулась:

— Поди к лешему с песнями-то! Гони давай, хоть потрясет, все потеплее!

— Н-но, Гнедко! Нажимай, наяривай, девок уговаривай!

Гнедко покосился на возницу лиловым глазом из-под обицавелых ресниц и, подстегнутый вожжами, прибавил ходу.

Запевай, подруга, песню,
Запевай, которую хошь.
Про любовь только не надо,
Мое сердце не тревожь! —

завела Нюра звучным, глубоким голосом и закашлялась — перехватило горло.

— Что скоро напелась? — засмеялась Зина Решетова.

— А и песня в стужу не летит наружу... Но-но, лодыры!

— Нам-то еще полдела! — сказала Даша. — Ребята сейчас околевают в окопах! Зуб на зуб, поди, не попадает...

— В одних-то шинелишках! — подхватила Нина Зайцева.

— В ботиночках да в сапожонках! — поежилась Зина. — Без ног можно осться!

— Вернемся с Ожеги, девочки, надо будет сызнова по домам пробежать, — предложила Даша. — Соберем, чего потеплее, да посылками на фронт — ко Дню Красной Армии.

— Навряд ли соберем, — вздохнула Нина. — Два раза ходили, чего было, все бабы отдали...

— Ой, и последнего не жаль, лишь бы фрица одолеть! — не оборачиваясь, глухо кинула Нюра.

— От Коли-то ничего не было? — спросила ее Даша, уловив надсаду в голосе заведующей избей-чинтайней.

— Третий месяц ни слуху ни духу...

Девушки притихли, задумались каждая о своем, не замечая уплывающего назад соснового бора, прореженного косым солнцем.

Туго затянув платок, Даша глубже зарыла ноги в сено, брошенное на застланные досками дровни. Ей тоже больше месяца не было письма от Саши Копытова, и душа у нее болела.

Последний раз виделись они с Сашей года полтора назад, летом сорокового, когда Даша заезжала в Ясеньгу после учебы, получив направление на молокозавод в Первунинскую. Саша встречал ее у поезда, извещенный заранее письмом. Он подрос и разматерел, белесые усики пробивались на верхней губе цыплячьим пухом. Подбежал, раскинув руки, будто собираясь обнять, но, остановленный пугливым Дашиным взглядом, скраснел, схватился за чемодан.

— Здорово! Как доехала-то?

— Ничего, — смущенно и радостно ответила Даша, украдкой поглядывая по сторонам, нет ли знакомых, не видят ли: потом разговоров не оберешься. И шепотом:

— Ждал?

— Да уж ждал-ждал и жданки потерял. Ноне твоя очередь. Ждать-то. В армию берут,— огоршил он ее сразу.

— Когда? — с трудом выдавила из себя Даша, и почувствовала, как сердце сорвалось с места.

— Днями отправка.

Она не дала проводить себя домой, пообещав вечером прийти в бор за Куной. В том бору и провели они два коротеньких вечера, а теперь каждое мгновение тех минуток, слово каждое перебирала в памяти Даша как самое заветное, самое дорогое. Обещала она Саше дождаться его, что бы ни приключилось, хоть камни с неба. Светло, спокойно было на душе, пока не загремели бои, пока не посыпались в деревню похоронки. А когда нагляделась, как каталась по полу молодая вдова Катя Балукова, будто ножом резануло: ведь и его могут! Могут, единственным мигом, на мах и — навсегда! Она гнала от себя тосклые мысли, суеверно боясь, что пуля и найдет его как раз в тот миг, когда представит она Сашу мертвым, а тревога день ото дня пухла, копилась в груди колючим комом.

Что бы ни делала теперь Даша, все, казалось ей, делала для него одного. Отправляла ли в район сливки, снаряжала ли хлебный комсомольский обоз на станицу, выпрашивала ли у колхозниц теплые вещи для армии, думала: это — Саше.

В декабре проводили неделю комсомольской помощи семьям фронтовиков, рубили в лесу дрова. И она, пурхаясь в снегу, мокрая, усталая, радовалась, напишет Саше про дрова, пусть знает — и его семье помогают, пусть не беспокоится. В редкие свободные минуты спицы из рук не выпускала, связала шарф, рукавицы, изрезала на портянки старую кофтенку и отправляла Саше посылку.

Постепенно весь фронт, все бесчисленные войска, мерзущие в завьюженных окопах, под разрывами бомб и снарядов, как бы слились для нее в одно родное лицо. Это он, Саша, заслонил страну своей спиной. Стало быть, и ей, Даше, себя не жалеть, выкладываться до изнеможения, до лютой усталости, потому что только такая работа и могла ему помочь выстоять, победить.

Даша покосилась из-под платка на присмиревших, иззябших подруг, толкнула плечом одну, другую:

— Ну-ка, девоньки, разомнем старые кости!

Высвободив ноги, спрыгнула на дорогу, побежала за подводой, тощая, как подросток, Нина Зайцева и Зина Решетова тоже соскочили с дровней.

Нюра принялась нахлестывать Гнедка погонялкой, и тот рванул крупной рысью.

— Стой, бешеная! — задыхаясь, вся в клубах пара, не выдержала Зина. Девушки на бегу разогрелись. В Ожегу добрались только под вечер.

Счетовода Нину Зайцеву определили вывозить на Гнедке дрова из лесу, а Нюру, Дашу и учительницу Зину Решетову поставили на разделку: пилить бревна на метровые чураки и колоть их на плахи.

Почти все паровозы в первую военную зиму перевели на дрова, а чтобы проехать от Ожеги до Вологды, надо сжечь тридцать кубиков, ни много ни мало. На разделку дров райком мобилизовал больше сотни колхозников из тех, кого не отправили на зимние лесозаготовки. Кроме того, на складе топлива мытарилась чуть не половина райцентровских рабочих и служащих.

Еще в Первунинской председатель сельсовета Синицына сказала девушкам, что работать им придется десять дней, потом пришлют смену.

— Пропали каникулы! — огорчилась Зина Решетова, когда их определили на постой к одинокой старушке, жившей неподалеку от станции.

— Что поделаешь! — сказала Даша привычное. — Война!

Работа на складе топлива начиналась в семь утра. Девушки с трудом разыскивали десятника, безрукого бледнолицего человека, который подвел их к длинному штабелю мерзлых, вывалянных в снегу бревен.

— Вот тут и пилите да колите на плахи. Норма — два куба на человека. В поленницу складете, вечером приду обмеряю.

— Колоть по очереди станем, — предложила Даша. — Часа через два меняться, верно? — и взялась тонкими руками за комель обледенелого бревна. Натужилась, но оторвать от земли, чтобы закинуть на попечину, не смогла.

— Погоди, не надсажайся, Дашутка! Давайте все вместе! — остановила ее Нюра.

Втроем еле-еле подняли конец бревна, положили на толстый чурбак. Отпилили первую чурку, и Нюра взялась за топор, но сколько ни тюкала по неподатливому

торцу, топор лишь отскакивал, либо вязнул в сырой древесной мякоти.

— Да ее в жизнь не расколоть! — чуть не плача, пожаловалась Нюра. — Нельзя ли чурки-то покороче пилить?

— Нельзя, — Даша подошла к ней, взяла топор. — Ежели все разной длины напилим, так замаются после кочегары.

Она примерилась, как ловчее расколоть длинную чурку, еще не ударив, поняла, что не расколоть, не хватит мочи. И вдруг неизвестно откуда налетевший порыв безудержной злобы взметнул тяжелый топор. Чурка спружинила, топор отскочил, но Даша все чаще, раз за разом злее колотила лезвием в одно место, выдергивая застrevавший топор, и все била, била, била, пока чурка не свалилась набок, так и не расколовшись.

— Очумела, Дашка! — крикнула Нюра. — Погляди на себя — чисто бешеная!

— Злостью тут не возьмешь... — тихо сказала Зина, дуя на руки. — Надо клинья тесать, один выход. Давай-те вот от березы отпилим коротыш на клинья.

— Так мы до обеда с одним поленом провозимся! — Зина Решетова горестно моргала обиженевелыми ресницами.

— А надеяться не на кого, Зиночка! Все равно никто не поможет...

Девушки отпилили березовый чурбачок сантиметров на тридцать. Даша расколола его на пластины. Каждую пластину заострила топором с одного конца. Вставила клин в упрямую чурку, несколько раз стукнула по ней обухом, с каждым разом сильнее. Чурка нехотя, со скрежетом, треснула. Вторым клином удалось развалить ее пополам.

— Вот так и придется...

— Какая тут норма! — безнадежно махнула рукой Нюра. — Хоть бы по кубометру-то на брата осилить!

— Осилим! Глаза боятся, а руки делают, — упрямо сказала Даша. — Пока норму не выполним, со склада не уйдем, вот и весь сказ.

Зина согнулась над бревном, держась за рукоятку двуручной пилы, Даша ухватилась за другую, на утоптанный снег полетели белые, с рыжинкой, опилки.

Часа через два втянулись, принаоровились, работа стала ладиться. Даша с удовольствием подумала даже,

что есть и у нее кой-какая силешка. С мужицкой, ясно, не сравнишь, а все-таки не зря второй год возится с молочными флягами на сливпункте, там тоже сила нужна, не легонькие. Да и начальница попалась с ленцой.

Что есть, того не отнимешь. Чуть что, подойдет, приобнимет: «Я, Дашенка, на часок домой сбегаю Петьку проведать, не набедокурил бы чего, ты уж тут притляди...» А часок-то в иную пору в полдня оборачивается, и вертится Даша, что белка в колесе.

— Даш, а верно говорят в деревне, что начальница-то твоя погуливает? — будто угадав ее мысли, спросила Нюра.

— Не зна-аю, — выпрямилась Даша. — С кем ей потуливать-то, и мужиков не осталось. С дедом Силантием, что ли?

Девчата прыснули: дед Силантий и по избе бродил, держась за стенки.

— Кто захочет, так найдет, — не унималась Нюра. — Замечали, будто уполномоченные из района к ней по ночам шастают...

— Ой, навряд ли! — не согласилась Даша. — Мужика недавно в армию проводила, Петька маленький...

— Может, и врут, — Нюра забила клин в очередную чурку. — Уполномоченным этим лафа теперь! Во все четыре стороны бабы края. У нас только, в Первунинской, с десяток невест, не считая солдаток.

— Пропадает товар! — засмеялась Зина Решетова.

— Скоро подешевеет наш товар! — то ли в шутку, то ли всерьез сказала Нюра. — И чего жались, береглись? Коля-то мой уж как добивался, устояла, не допустила. И теперь жалею, хоть локотки кусай!

— Ну уж ты ляпнешь!

— А что, неправда? И сами так думаете, да признаться стыдитесь.

Девушки опустили головы.

— Дождемся своих! — сквозь зубы сказала Даша. — Верьте, девчонки, дождемся!

— Твои бы слова да Богу в уши! — вздохнула Нюра.

Сколько ни старались девчата, ворочая до позднего вечера бревна непослушными руками, норму они не вытянули, разделяли на троих чуть больше пяти кубометров.

— Ничего! — успокоил десятник, глядя на их посерев-

шие, измученные лица.— Первый день мало кто и управляетя: пока приоровившись, то да се... Завтра на-верстаете.

— Это сколько же надо уламываться, чтобы паровозу один раз до Вологды доехать? — ужаснулась Зина Решетова.— Их ведь вон, паровозов-то, сколько, а ездить надо от Архангельска до Тихвина!

— И мы не одни! — возразила Даша.— Погляди, на-роду-то, как в муравейнике! Тут уж не о себе заботуши-ка...

— Ой, девки, побежали скорее! — позвала Нюра.— На мне все коробом смерзлось, как в броне брошу, ей-богу! Больно уж студено!

Утром, еще по темноте, девчата заняли отведенное им место и снова начали скатывать со штабеля тяже-ленные, промерзлые и обледеневшие бревна, пилить и колоть. Работали молча, уныло, казалось, что и вчераш-него не осилить, до того ныли руки, ноги, спины. Через час только заповорачивались проворнее: мороз стоять не позволял, щипал лица, сводил пальцы. И вздымались на поперечину тяжеленные кряжи, звенела пила, посы-пая крупой опилок растоптанный сыркий снег, бухал по измочаленным клиньям обух топора, раздирая чурки. Отрывисто, зло ухали паровозы, проскакивали мимо в клубах пара и дыма, оседала на склад топлива густая сажная копоть...

Перед самым отъездом Дашу вызвали в райком ком-сомола. Знакомая секретарша Ольга Воронова обрадо-валась:

— Это здорово, что разыскали тебя, Чужгина! Са-дись. Значит, так: приедешь на место, в деревню,— все силы на лесозаготовки, на сбор золы и куриного помета. Побывай на лесосеке, где ваши комсомольцы работают, подхлестни нерадивых. Лучшим вручишь красный фла-жок, вот он, возьми. И сами чего-нибудь смастерите: ки-сеты с табаком или что...

— У нас одни бабы да девчонки в лесу, на что им кисеты?

— Ну, платочки носовые вышейте вместо премии. Неплохо бы и людьми помочь, комсомольский воскрес-ник объявить бы...

— За десять верст на воскесник-то попадать. Весь день и ухлопаешь на дороги.

— Два дня выкраивайте!

— А своя работа?

— Да ты что, Чужгина, учить тебя, что ли? Время такое, все успевать надо! На фронте еще труднее!

— Ладно,— без энтузиазма согласилась Даша.— Придумаем чего-нибудь.

— Скорее думайте. План лесозаготовок в первом квартале надо сделать — кровь из носу! Да, вот еще. Придется воскресник организовать по вывозке хвои к фермам. На добавку в коровий рацион. И массовую работу, военный всеобуч не забывайте. Сколько человек у вас прошло военную подготовку?

— Оля, ведь некому нас учить-то! Хоть бы один захудалый солдатик в округе был!

— Сама займись! Книги есть, а нет — мы дадим. К Новому году подарки бойцам посылали?

— Посылали.

— Ко Дню Красной Армии и к Первому мая тоже сообразите чего-нибудь. Да почаше письма пишите раненым в наш госпиталь, мучаются они, бедолаги, слов никаких не подберешь... А, чуть не забыла! В феврале будет проходить Всесоюзный профсоюзно-комсомольский кросс. Примите участие, организуйте лыжные соревнования.

— Еще не легче!

— Ты не отмахивайся! Дело нужное, на лыжах все, от мала до велика, должны ходить, как на своих двоих. Спросим.

Еле вырвалась Даша из райкома: Воронова, похоже, могла давать задания круглые сутки, а где взять время да силы все провернуть? Пожалилась девчонкам. Повздыхали и посмеялись. Особенно развеселило распоряжение Вороновой самим заниматься военной подготовкой.

— Ты, Дашуня, это дело мне поручи! — зубоскалила Нюра Киселева.— Живо выстрою вас в одну шеренгу, скомандую: «Шире шаг! Тяни носок! Налево, кругом, марш!»

— Шутки шутками, а учиться придется,— сказала Даша.— И учиться, и воскресники проводить, и прочее...

Домой Даша вырвалась всего на одну ночь. Пока сидела в вагоне, бросало в жар от спретого воздуха, перемешанного с махорочным дымом, а на улице зазнобило, леденила мокрая, всю неделю не просыхавшая одежда.

В Ясеньге ее не ждали. Тем больше было радости у ребятишек, у Дементия и Анны. Даша приметила, как скрутило за полгода отца: еще больше усох и согнулся, кожа на лбу и щеках чуть не сравнялась белизной с усами и коротко стриженной щетиной на голове. Похудели и ребятишки: не гляделась больше колобком Гелька, вытянулся Сережка, руки и ноги его истончились до неправдоподобия. Только Верка, поджарая, быстрая, жилистая, не переменилась за это время.

Пока Анна на скорую руку стяпала ужин, Даша перечитала все письма Григория. Были они немногословны, коротки, как телеграммы: жив, здоров, много работы, домой не бывать.

— Худо, поди, питается-то, хоть бы не заболел парнишка, — расстраивалась Анна. — Что уж и за начальство такое, на денек домой не могут пустить! Кartoшки хоть бы с собой увез, все посытнее...

Даша чуть не уснула на печке: с устатку, с мороза разморило в сухом тепле. Растворшили Гелька с Сережкой, которые забрались следом за ней. Влезла на приступок и Верка, на печке места ей уже не хватило.

— Ты у нас долго станешь жить? — спросил Сережка.

— Нет, только очку ночую.

— У-у, сколько мало-то!

— Ничего не попишешь, братец. Война!

— А нам в садик куированных привезли. Худые-худые!

— Сам-то больно толст! — услышала его Анна. — Не лучше эвакуированного.

— А у тебя чего нового-хорошего? — спросила Даша дикоглазую Верку.

— Надоело мне все! — буркнула та. — Седьмой кончу, попрошусь санитаркой на фронт.

— Подрасти сперва надо, Вера.

За ужином Анна не раз смахнула слезинку, поглядывая на Дашу.

— Ты-то чего эдак дошла: кожа да кости? Тоже, знать, впроголодь все?

— Что ты, мама! Знаешь как нас кормят! На убой!

— Оно и видно! На маслозаводе работаешь, так и выпила бы кружку-другую молока-то, не убудет...

— Ну-у, мам, как можно! Я кружку, да другой, третий. А что на фронт?

— Ой, Дашка, гляди! Свалишься, так никто на ноги не поставит в чужих людях...

— Ничего, мам, я крепкая!

Утром Даша поднялась затемно — торопилась на поезд. Мать насыпала котомку картошки. Даша заотказывалась:

— Вам тут нужнее. Я в деревне живу, не дадут с голоду пропасть.

— Не выдумывай! — в горле Аппы слышались близкие слезы. — Долго ли на поезде увезти? Своя ноша не тянет!

Пришлось взять.

На квартире у бабки Марьи, где жила Даша, ждала ее радость: письмо от Саши. Как зажгла лампу, увидела мятый треугольничек на своей кровати, так и села на лавку, не раздеваясь, посунулась к коптящему огоньку, впилась глазами в карандашные закорючки:

«Привет с фронта! Здравствуй, Дашенька! Прими мой пламенный красноармейский привет и самые наилучшие пожелания в твоей молодой жизни и работе. Сообщаю, что письмо твое получил, за которое от всего сердца, от всей души горячо благодарю.

Милая Даша, письмо, которое я от тебя получил сегодня, это самое дорогое для меня письмо. Не могу описать тебе всю радость от него. Я верю тебе, дорогая сердцу, что ты меня ждешь. Жди обязательно. Рано ли, поздно ли, я приду к тебе и обниму крепко-крепко. Верю также, что ты переживаешь, и знаю, что тебе нелегко. Но не грусти особо. Я никогда не думал о смерти, хоть много раз глядел ей в глаза, и она от меня отворачивалась. А еще, дорогая Дашенька, я верю, что любовь наша сильнее смерти. Я горячо верю в это. Ты бы знала, как я доволен тем, что ты мысленно находишься со мной, что мы с тобой вместе переживаем эти тяжелые невзгоды. Ну вот и все, что я хотел тебе написать. Пока до свидания. Остаюсь жив, здоров, того же и тебе искренне, от всей души желаю. Пиши ответ. Жду с нетерпением. Крепко-крепко жму твою руку и целую несчетно раз. Твой Александр».

Даша перевернула листочек и стала читать сначала. По бледному ее лицу, то по правой щеке, то по левой скатывались слезинки. Хлопнула дверь. Бабка Марья, воротившись с фермы, пристала у порога, старчески щурясь:

— Однако Дашуня приехала? Да ты, девка, в уме ли? — она просеменила к столу.

— Здравствуй, бабушка. Письмо вот читаю...

— Али худое? Я уж думаю, чего и попрятчилось: слезы у девки горохом, а рот — до ушей! От Саши писулька-то?

— От него...

Когда долго не было писем от Александра, истосковавшуюся Дашу начинало мучить что-то странно знакомое, давнее, ускользающее-расплывчатое. Даша старалась припомнить — что? И только маятной ночью, перекатывая горячую голову по жесткой подушке, вспомнила.

Еще в шестом классе поспорила она с Лешкой Шиловым, что не хуже его проплынет под лавами, натянутыми через Куну. Опасную выдумали забаву, не каждый из мальчишек насмеливался поднырнуть под широкие бревенчатые лавы, по которым то и дело взад-вперед проезжали подводы. Не рассчитаешь, не хватит воздуха, или, не дай бог, направление потеряешь, поплыешь не поперек лавы, а вдоль — конец, достанут покойника.

Дашу задело хвастовство Лешки, который нырял перед лавами, а потом победно высакивал с другой стороны и насмехался над слабаками.

Даша прыгнула с лав на середине реки, воздуха набрала до боли в груди и нырнула. Сперва плыла с закрытыми глазами, да стукнулась затылком о бревно, и только тогда с внезапным ужасом поняла, что не осилит, не выплынет, задохнется. Назад, против течения поворачивать поздно. Широко распахнула глаза в водной темени. В смертном испуге бешено забила руками, ногами: скорее, скорее, скорее! Туда, к воздуху, к голубому просвету! И нескончаемо тогда длились мгновенья, и все казалось, что не достичь, не превозмочь!

Так было и теперь, только томление, страх за Сашу корчили душу не мгновенья — часы, дни, доводя до бессилы: да когда же, когда же конец-то проклятущей этой войне? Скорее, ну скорее же гоните гадов! Каждый ведь день могут убить, каждую минуту! И чтобы не заполнить в голос, не всполошить старую Марью, Даша сжимала в зубах уголок подушки. Рыдания, тихие, за-

давленные, сотрясали все ее худенькое тело. Подушка быстро мокла, но горькие эти слезы не приносили ни облегчения, ни забытья.

Подобие покоя нисходило только, когда Даще вместе с подругами удавалось что-то сделать для фронта. Так было перед Днем Красной Армии, когда отправили они бойцам двенадцать посылок. В холщовые мешочки зашили мундштуки, кисеты, разнокалиберные листки бумаги для писем, карандаши, махорку, даже по кусочку сушеного мяса посчастливилось раздобыть.

Перед весной председательша сельсовета Вера Петровна Синицына велела Даще собрать комсомольцев, обещая дать им особое поручение. Речи говорить Вера Петровна не умела и не любила, начала прямо:

— Вот что, девоньки. Беда у нас. В двух колхозах семенную картошку заморозили. Знаю, колхозницы поделятся, коли попросить, да ведь многие запасы-то уже съели, тоже к семенной подбираются. Из района советуют на посадку собирать почки...

— Какие? — удивились в несколько голосов.

— Верхушки у картошки, которые с ростками, обрезают да и хранят до посадки, а остаток сварить можно.

— А из верхушки-то вырастет? — не поверила Нина Зайцева.

— Помельче само собой, да вырастет.

— Не сохранить резаную-то, сгниет, — сказала сельсоветская секретарша Таня Прохорова.

— А чтобы не сгнила, срез золой посыпают. Вот вечерком и обежите деревни, поговорите с хозяйствами, чтобы ни одной не срезанной картошины боле не варили. А обрезки — в колхоз.

Бабы по деревням охали, дивились на причуду Синицыной: где видано, чтобы картофельные обрезки садить? И Дашу точил червячок сомнения: не пустая ли затея? Брало зло на бригадиров, на кладовщиков: семенную картошку сохранить не могли! Жди теперь урожая от чахлых картофельных почек. Однако запасали и почки.

Много времени, и не только вечернего отнимали комсомольские хлопоты. Мастер сливпункта Лидия Слудова ругалась:

— Последний раз отпускаю! Ты где работаешь: у меня или у Синицыной? Я тоже не ломовая лошадь, за двоих-то вкалывать!

Лидия заметно переменилась. Глядела подозрительно, вечерами норовила оставаться на сливпункте одна. Так случилось в тот злополучный вечер. Уже стемнело за низенькими оконцами, когда Лидия присела на табуретку в крохотной contadorке, уронив руки на колени.

— Ох, и наворочались мы с тобой сегодня, Дашутка! Все тело гудит, как и до постели доползу. Отчет не сделан, хошь не хошь, сиди да считай.

— Давай помогу! — предложила Даша.

— Полн! Я уж одна как-нибудь...

Даша сняла халат, надела старенькое пальтишко, повязала платок.

— Ну так я пошла, Лида.

— Счастливо!

На полдороге к Марьиной избе Даша вдруг вспомнила, что соседка Евстолья Кокоулина дня три не носила на сливпункт молоко от своей коровы. Не стряслось ли чего? Зайти бы, узнать, а то накопит баба недоимку, так и до штрафа недалеко. Где копейку возьмет? С первого января военный налог введен, да страховка, да самообложение, да заем... Стоит неделю молока не поносить, потом не вдруг наверстаешь, в год двести тридцать литров сдать — не шутка...

Проведывать Евстолью было лучше с ведомостью, чтобы сразу сказать, сколько долгу за ней. И Даша повернула обратно к сливпункту за ведомостью. В каморке, где хранилась отчетность, темно, лимонный свет керосиновой лампы тек из ледника, там охлаждались фляги со сливками. Почуяв неладное, Даша чуть не ощупью приблизилась к желтому пятну и сперва не поверила глазам: Лидия мерным стаканом на длинной ручке налиvalа сливки из фляги в алюминиевую литровую тарку.

— Лида! Ты чего делаешь-то? — испуганно спросила Даша.

— Ой! — Лидия выронила стаканчик, он грохотнул по цементному полу, пятна его белыми брызгами. — Ты, Дашутка? Я вот тут, на проверку...

Дашу затрясло:

— Добра проверка! На вкус! На качество! Да ты... Ты — ворюга! У бойцов, у тех, кто кровь льет, ты...

— Тише! Дашка, тише! На вот, возьми, Марье унесешь! — она бестолково совала Даше почти полную тарку.

— Иди ты к чертовой матери! Сию же минуту Синицыну приведу! — Даша, поскользнувшись на мокром полу, кинулась в темноту. У самой двери Лидия настигла ее, вцепилась в плечи.

— Охолони! Не сходи с ума-то! Тебе полдела — одна-одинешенька! Поела — добро, и не поела — ладно! А у меня парень весь исчах на картохе! Корову не держу, куриц нет... В гроб мне его класть, Петьку-то?

— Замолчи-и! — сквозь слезы крикнула Даша. — Все равно не прощу!

— Ну, полно, полно, Дашенка, ну, виновата я, бес попутал! Ей-богу, последний раз! Не сказывай Синицыной-то, упечет ведь меня, на раз упечет!

— Эх ты! — Даша резко освободилась от рук Слудовой, ненавидяще глянула ей в лицо, постепенно успокаиваясь. — Вылей сливки обратно!

— Да уж вылила, Дашенка, вылила, леший их возьми и сливки-то эти! Прости ты меня, говорю, бес попутал...

— Еще раз замечу — пеняй на себя, — глухо сказала Даша.

Только подходя к дому, вспомнила она, что опять забыла ведомость, но идти к Евстолье уже не хотелось, пусто и гадко сделалось на душе.

Сама Даша капли казенного молока не тронула, хоть и тugo приходилось последнее время. Это дома матери можно говорить, будто кормят ее на убой, себя-то не обманешь. Хоть и питаются с бабкой Марьей за одним столом, да стол-то тошает не по дням, по часам, один хлебный паек на двоих... Но хоть и мутило иной раз от голода, мысли не допускала молочную флягу открыть. А тут...

Неужто и везде так: одни жизни кладут за победу, а другие по сторонам зыркают, где худо лежит? Сознание-то есть ли хоть у людей? Петька... Не оголодал Слудов Петька, что боров по деревне взлягивает. Скоро и Евстольиных, и Павловых парнишек перерастет, даром, что годами моложе. Не в Петьке тут загвоздка: хахалей разъездных прикармливает! Нельзя бы спускать Лидке, надо бы вывести на чистую воду, да ведь посадят дуру. Каково Степану там, на фронте, узнать, что жена за решеткой? Хуже пули в лоб...

Ни словом, ни звуком не обмолвилась больше Даша о краже, забыть старалась, но бесследно тот вечер не

прошел: худо стали жить. Попретихшая на неделю Лидия опять побойчела, запокрикивала на Дашу.

Как-то, уже в апреле, с самого утра заскочила на сливпункт сельсоветская секретарша Таня Прохорова:

— Дашенька, тебя председательша зовет!

— Когда?

— Да прямо сейчас!

Даша вопросительно взглянула на Слудову. Та поджала губы, отвернулась.

— Так я схожу, Лида?

— Нет, не сходишь! Что за моду взяла — от работы отлынивать! Седни вон посылаю Семена лед на лето заготовлять, а ты давай в помощницы. Людей-то у твоей Синицыной не допросишься, самим надо пошевеливаться, пока лед не растаял!

Даша разверла руками.

— Ничего не попишешь, Танюша. Скажи Вере Петровне — вечерком загляну.

Лед для сливпункта заготовляли каждую зиму, но Дашу на эту работу никогда не посылали, старались нанять мужиков. Ну, раз надо, так надо, Даша безропотно стала одеваться. У крыльца рабочий сливпункта Семен Игнатов, рослый старик с окладистой бородой, поглядел на худенькую Чужгину, будто видел ее первый раз, хмыкнул и взялся за вожжи.

— Управимся, думаешь? Ну-ну... — неодобрительно покачал головой Семен.

— Надо управляться, дедушка, некому боле! — улыбнулась Даша и запрыгнула на розвальни.

— Слудиха-то, кобыла, куда силу бережет? И шла бы сама!

— Поехали, дедушка! Как-нибудь...

— То-то, что как-нибудь...

Лед возили всегда с ближнего от Первунинской озера, небольшого, но глубокого, к весне нарастал он там до метровой толщины. Спустились с крутого берега по наезженной дороге, лопатами расчистили место от снега, ломами принялись долбить проруби. Подавалось туда, лом оскальзывал, больно отдавал в пальцы, ледяная крошка секла лицо. Запаленно дыша, чувствуя, как не-меют руки, Даша все тюкала и тюкала, не чая добраться до воды. И когда, казалось, не стало никакой мочи, подумала:

«Вот так и Саша где-то земельку долбит, спрятывается в нее, чтобы чужая пуля не достала...»

Далеко они друг от друга, а одно дело делают, ни на чьи плечи его не взвалишь...

— Охолони, девка! Покурим! — остановил ее дед Семен, тоже весь упаренный, отряхивая бороду от густо налипшей ледяной крошки. — Нам бы только две проруби одолеть, а там легче пойдет, пилить станем...

Даша облегченно остановилась, опираясь на лом. Косо летевшие хлопья мокрого снега почти скрывали деревню, опоясывающую бугор над озером. Лошадь, прищурив глаза, казалось, спала, и только дым из Семеновой самокрутки резво улетал в сторону. Большой комок пепла с огнем свалился на полу дедкова полушибука, он торопливо отряхнул жгучку широкой темной ладонью.

«Сам, поди, шил полушибука-то, — подумала Даша. — Раньше, сказывают, по деревням портняжить ходил. Может, и овчины у него на полатях завалялись? Надо бы еще овчин-то пособирать, мало наискали: со всей округи пять штук только, а требуют все, что есть, сдать...»

— Дедушка Семен! — спросила она, тюкнув ломиком в край будущей проруби. — У тебя, слушаем, не остались ли овчины? Для фронта мы собираем, да больно худо подается-то...

— Овчины? — Семен непонимающе поглядел на девушку. — Нет, матушка, не осталось. Много ли насобирали-то?

— Пять всего.

— Не густо. Вот кабы полушибушки из овчин шить, тут бы я еще гож был. У Силантия не спрашивали? Он до войны помногу овец держал, поди, не все продал.

— Правда? — обрадовалась Даша. — А мы чего-то и не сообразили к Силантию сходить...

— Вот-вот, спросите у Силантия. На доброе дело не поскупится, тоже сынов схоронил. Ну, давай еще подолбим!

Прорубь воронкой зауживалась внизу. Наконец в донышко с носовой платок ударила тугая струя подледной воды. Еще раньше дорубился Семен. Достал из розвальней длинную пилу с одной ручкой, опустил конец в воду и неспешно стал шаркать, пилить неподатливый лед. Потом его сменила Даша. Первый кубик отпилился небольшой, да большой и не надо было. Подважили из двух прорубей слегами, вывалили на матерый лед, ве-

ревками по слегам затянули в розвальни. Забрызгались, перемочились, но были довольны: одолели-таки!

— Вези! — сказал Семен.

Настоявшаяся лошадь с усилием сдернула примерзшие розвальни, споро поволокла их к берегу.

«Господи, да кому оно все нужно! — тревожно подумала Даша, шагая обочь.— Там люди жизни кладут, а я несчастные ледышки вожу! Нет, стану на фронт проситься. Кто знает, вдруг на Калининский попаду, все к Саше поближе. Сегодня же напишу заявление в райком комсомола, а то, чего доброго, Верка меня опередит!» — и улыбнулась, вспомнив упрямо сдвинутые брови младшей сестры.

Только въехала в деревню, как повстречалась с председательшей сельсовета.

— Ты чего это, Чужгина? — не здороваясь, строго спросила Вера Петровна.— Велела в сельсовет явиться, а ты и ухом не ведешь?

— Начальница не отпустила. Лед заготовлять приказано.

— Завтра с утра ко мне, и никаких разговоров. Военный заем сорок второго года объявлен, пойдем по дворам с подпиской.

— Так вы Слудовой-то скажите!

— Сама скажешь. На меня вали, мол, Советская власть тебя мобилизовала, ясно?

— Ясно... — уныло ответила Даша, больно уж не хотелось опять слушать ругань заведующей.

— Вечером комсомольцев собери, надо в первую голову самим подписаться. Пятьсот рублей — самое малое. А потом всех по деревням раскрепим.

— Где деньги-то возьмут, Вера Петровна? — тихо спросила Даша.

— Где раньше брали? Продадут чего-нибудь из одежды, машины швейные, самовары. Не на что-нибудь государство просит — на войну! Чтобы наших же мужиков меньше поклали...

Утром первунинские комсомолки, бросив все занятия, отправились по округе подписывать на военный заем. Синицына, уполномоченная райкома Дудкина и Даша Чужгина взяли на себя самую большую и людную деревню Первунинскую. Большинство колхозниц подписывались на пятьсот—тысячу рублей беспрекословно, только глаза темнели, наливались тревогой — где взять?

— В эти две избы так и заходить боюсь,—сказала Вера Петровна, когда подошли к домику деда Силантия.—Тут старик вдовый, на двух сынов похоронки получил, а дальше—Павловы, тоже старые да малые, из куля в рогожку заворачиваются...

— Нам бояться нельзя, Вера Петровна,—ответила Дудкина.—Нынче жалостливость бабью надо в кулак зажать, да покрепче держать, чтобы не выскоцила. Последнее отдают? Возьмем и последнее! Иначе всем гибель—и фронту, и нам.

Дед Силантий сидел в пустой, как лукошко, избенке, подслеповато щурясь, чинил хомут.

— Здравствуй, дедушка!—прошла в передний угол Синицына.

— Здоровово, Петровна!—не вдруг ответил Силантий, взглядываясь в гостей выцветшими глазами.—Спасибо, попроведываешь старика.

— Как здоровье-то?

— Скриплю помаленьку. Глаза вот больно худы стали, беда. Как Андрюху с Пашей убили, так и ослабли глаза, все будто в памороке...

— А мы, дедушка, за делом к тебе. Объявлен, виши ли, государственный военный заем сорок второго года. Ходим по избам, подписываем, кто сколько может...

— На армию, стало, сбираете?

— На армию, дедушка.

Силантий, кряхтя, поднялся с лавки, полез за божницу, вытащил оттуда небольшую берестянную коробку. В ней лежали квитанции, облигации прежних займов, какие-то пожелтевшие бумаги. Порывшись, дед достал из коробки сотенную.

— Вот, Петровна. Смертная денежка, на похороны берег, да чего уж... Свет не без добрых людей, помру, так поверх земли не оставят...

Даша, чувствуя, как горло сжимает удущливый комок, еле сдержалась, чтобы не зареветь.

— Спасибо, дедушка!—Синицына вписала Силантия в ведомость, заставила расписаться.—Облигации через недельку занесу.

— На што мне! Не надо!

— Принесу, принесу! Государство в долг у тебя берет, после войны сполна рассчитается!

— Думаешь, до победы доживу?

— А как же? Обязательно доживешь!

— Спасибо на добром слове...

Не повернулся у Даши язык спросить про овчины, как советовал Семен Игнатов. Какие уж тут овчины!

Все трое вышли от Силантия расстроенные, молча поднялись на крыльце дома Павловых. В избе, не в пример Силантьевой хибарке, было шумно, долетал детский плач, громкие голоса. Парнишки-двойняшки как по команде прекратили рев, уставились с половиков на незнакомых людей. Девочка лет шести выглянула из-за занавески и тут же спряталась. С печи свесилась голова еще одного мальчика, лет пяти. На табуретке у печи старуха Павлова, свекровь Нины, пряла куделю, свекор кряхтел и постанывал на полатях. Из кухни шагнула и сама Нина: в фуфайке, в рваном платке, в сапогах.

— На коровник собралась, Нина? — виновато спросила Синицына.

— А куда боле? Утресть два десятка ведер воды достала из колодца, снесла, назем выгребла, сена надавала, теперь опять доить правлюсь. Дедка вон браню: ни свет ни заря убрел дрова колоть, а самого от стены к стене кидает. Виши, расквасился, хоть по косточке собирай! А вы чего, с проверкой какой?

— Какая проверка? — смущалась Вера Петровна. — Ходим вот, на военный заем подписываем. У вас не найдется ли хоть сколько-нибудь?

— Чего уж эдак — «сколько-нибудь»? — обиделась Нина. — Сколько другие дают, столько и мы. Все скорее война-то кончится. Нет уж, пишите, как со всех. Спасибо, что зашли, не забыли!

И Нина Павлова подписалась на пятьсот рублей.

Когда снова вышли на улицу, Синицына покачала головой:

— Ведь последнее отдала, да еще и «спасибо» сказала! Одна работница на такую семью, муж на фронте...

Под весну одна кампания накатывалась на другую. Не успели с военным заемом разделаться, как снова Синицына собрала девушек-комсомолок: Дашу, Нюру, Нину Зайцеву, Таню Прохорову, учительницу Зину Решетову и еще человек пять колхозниц.

— Собирайтесь, голубушки, в дальнюю дорогу. Знаю, заездили мы вас, да ничего не попишешь. Решено отправить вас на сплав, потому как мужиков нету, а лес, который зимой заготовили да на берег Солотчи вывезли, надо проплавить весь, до единого бревна. Колхозников,

сколь можно, на сплав мобилизовали, а всех-то не пошлешь — сев на носу. Так что на вас и партийная организация, и сельсовет, и райком комсомола крепко надеются. Знаю, что тяжело будет, не женская это работа. А кому легко-то сейчас, девоньки? Ребятам, женихам вашим, под пулями тоже не сладко. Старшей в группе назначаю Дашу Чужину. Двадцать третьего апреля обязаны вы явиться в Осподаревскую к десятнику Климову. Кормить вас там будут, почевать в ближних деревнях станете. Одевайтесь потеплее, обутку отдайте починить срочно, у кого протекает. Два дня вам, голубушки, на сборы и — с богом!

— Вера Петровна, у меня ведь ребяташи в начальной школе! — испугалась Зина Решетова.

— Полно, Зина, в распутницу-то все равно на каникулы распускаешь! На два-три денька доле погуляют, не велика беда.

— У всех работа...

— На работе объявите, что мобилизованы сельсоветом по приказу из района согласно условиям военного времени.

Прежде Даша на сплаве не бывала, хоть и видывала, как гонят сплавщики моль по Куне, знала, что самое худое — заломы да лес, обсохший по берегам. Здоровые мужики уламывались на сплаве, а как-то у них задастся, у девчат? Ничего, успокаивала себя Даша, не одни уходят, найдутся там и бывалые люди, у которых дело из рук не валится. Сапоги текут, беда, а кому сносить на починку? Разве деду Семену? Полушубки шил, так и с сапогами сладит...

— А ты, девка, лапоточки обуй! — посоветовала бабка Марья. — И промочишь, дак на солнышке высохнут!

— Полно, бабушка! Людей-то смешить!

— Не велик смех! На сплав век свой в лаптях хаживали. Не до басоты на экой сырой работе!

И заставила-таки Дашу сунуть в котомку новенькие лапти да две пары онуч.

Двадцать второго апреля десять первунинских девчат вышли по раскисшей весенней дороге в деревню Осподаревскую, что спряталась в густых лесах в верховьях Солотчи. Ярко светило солнце, звенели ручьи, пропарывая поперек дорожной тверди глубокие ледяные русла. Дерзко, взахлеб кричали птицы в безлистном пока лесу, волнующе и крепко пахло весной.

Едва Первуинская спряталась за поворотом, Нюра Киселева завела новую песню, прилетевшую с далекой войны:

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...

Подхватили все, ладно, напевно и так жалостливо, что душа рвалась с голоса, слезы выжимало из глаз. И долго еще молчали, когда отозвенела песня, вспоминая женихов: кто живых, а кто и успевших лечь в родную русскую землю...

6

Окатка моля в реку сноровки требует, да и мешкать нельзя: крутая вода с верховьев уходит споро. До войны на сплав самых крепких мужиков отбирали, а весной сорок второго встречал мастер Климов только девчонок да баб с проплаканными глазами. Хромой, с перебитой на фронте ногой, он сжимал челюсти, глядя на женское воинство, сплошь обутое в лапти, одетое в пестрядинные сарафаны, по-монашески повязанное платочками.

Принимая колхозниц, мастер тут же, на глазок, сортировал: пошире в плечах, покрепче руками оставлял на срывку леса в воду, а худеньких, как былинки, девчат определял в береговые пикеты. Пикетчики сторожили в опасных местах плывущие бревна, не давали им расположаться по заводям и старицам, сбиваться в заломы на перекатах. Даша, Зина Решетова и Таня Прохорова попали в один из таких пикетов. Получили длинные, тяжелые багры.

— Пока лед не унесло, тут поможете лес окатывать,—озабоченный Климов указал девчатам штабель у широкой заводи.—А как только тронется, живым манером в Анисимово, там станете дежурить. Карточки на хлеб и на прочее довольствие получите, пока наш бухгалтер не уехал.

Вместе с хлебом, крупой и постным маслом выдавали по две пачки табаку. Пробоинали отказываться, но продавщица навалила и табак:

— Что положено, то положено!

— Берите, девчонки! — посоветовала Даша.— В армию ребятам пошлем.

Поутру, собираясь на работу, она чуть не заревела:

раскисшие за длинную дорогу сапожонки ночью ссохлись, скоробились, нечего и думать на ноги натянуть.

— Давай лапти обуем! — предложила Таня. — Я вчера поглядела — все бабы в лаптях.

— Да ведь в одночасье промокнут!

— Ну и что? Не босиком идти. И промокнут, так не сахарные, не растаем.

Обулись в лапти, подвязали онучи веревочками, подались на берег. Солнце над рекой вздымалось по-летнему жаркое, далеко разносилось журчанье ручьев в низинах. Снег с берегов Солотчи согнало напрочь, лед на реке, синий, ноздреватый, подняло, черной водой ощерились закраины. Но ельники еще не выпустили главную воду, и подвижки льда не было.

Климов приказал скатывать бревна на лед заводи под обрывом и расставил женщин по штабелям. Конечно, на лед много бревен не устелить, да все разгрузка: тремя-четырьмя сотнями кубов меньше скидывать в считанные дни половодья, думал Климов.

— Ходко разделяемся! — бодро сказала Даша, когда влезли на штабель. — Только багром колупни, и свалится!

Не без опаски подобралась к самому краю, подсунула багор под середину бревна, рванула. Бревно качнулось, съехало одним концом с покатов, ухнуло вниз, подскочило на песчаном обрыве, торцом влетело под лед в закраине, задралось к небу громадным пальцем.

— Сто-ой! — донесся истошный крик с берега. Мастер Климов, хромая, спотыкаясь и матерясь, бежал к штабелю.

— Соображаешь, едрена вошь, че творишь-то?! — заорал он на Дашу. — А ну, слазь! Все слазьте!

Обескураженные девушки, побросав багры, полезли вниз.

— Ведь эдак, — Климов показал на торчащее из воды бревно, — вы два десятка лесин скинете, да и запоете репку-матушку! Волоком потом из кучи-то растаскивать станете?

— А как надо?

— Как надо, как надо! Спросить надо, коли толку нет! Стелите поката от самого верху и через замоину — на лед! По льду двойные, а то выкупаетесь. Каждое бревно не абы как швыряйте, скатывайте тихонько, да плотнее, одно к одному, на лед устилайте!

— Так бы сразу и сказал,— сконфузилась Даша.— Нам — где знать?

— Соображать надо! Не шевелите тут боле ничего, сейчас баб пошли, которые на сплаву бывали.

И Климов торопливо захромал к соседнему штабелю. Вскоре к девчатам подошли три пожилые незнакомые женщины.

— Что, девки, не по зубам орех? — засмеялась одна из них, снимая багор с плеча.— И то: костер-то виши какой высоченный. Первым делом давайте слеги стлать. Волоките вон то бревнышко к замоине...

Скатывать бревна наладились нескоро, зато потом работа двинулась, штабель убывал на глазах. К вечеру вся прибрежная заводь вгустую покрылась материами деревами, лед под ними просел, хлынула верховая вода, облизывая серую кору неровно отпиленных лесин.

Пригретый солнцем, часто и глухо лопался лед, потом вдруг ожил на стрежне, медленно, важно подвинулся вниз по течению.

— Пошла Солотча! — опираясь на багор, любовно сказала женщина, та самая, что учила девчат стлать поката.— Тронулась, родимая, теперь не уймешь...

Просушив за ночь на печи лапти, онучи, собрав живой рукой котомки, девушки с рассветом подались к Анисимовскому пикету, волоча на плечах увесистые багры.

Ночью главный лед унесло, но льдины плыли еще часто, сшибаясь и ворочаясь на стремнинах, лезли на берега, отсвечивая мутно-зелеными боками. Кой-где меж льдин чернью мелькали бревна, видно, смыло со льда в Осподаревской заводи. Порой путь пикетчикам пре-граждали пенные шальные ручьи, приходилось искать ужину, чтобы перепрыгнуть, либо заходить в лес, в болотину, шаражаться в ивовых кустах, то и дело цепляясь баграми за ветки чапыжника.

Скоро все трое вымокли чуть не до подпазух, ноги ломило в ледяной воде, а теплый тугой ветер казался студеным и резким.

— Отдохнем! — предложила Таня Прохорова, когда выбрали на луговину, застланную прошлогодней невыкошенной травой.— Надо бы разуться да онучи выжать, страсть ноги околели!

— Давай хоть под берег спустимся, там не столь дует,— Даша, помогая себе багром, полезла под об-

рыв.— Вон тут валунов каких навытавало, поди уж нагрелись на солнышке!

Большие гранитные валуны, торчащие у самой воды, и впрямь оказались теплыми. Подруги торопливо скинули лапти, развязали онучи, пристроили сохнуть на валунах. Даша, высоко подняв сырой подол юбки, гладила, разминала пальцами красные до колен ноги.

— Давайте костерок запалим! — Зина Решетова достала из карманчика спички. — Хоть обсушимся пустем.

— Не опоздать бы... — озабоченно возразила Даша. — Кажись, бревна-то гуще понесло, а на Анисимовом перекате, сказывают, в одночасье залом сбивает. Прозеваем, так потом и на лошадях не разволочишь...

— Полно, Дашуня! Вода большая, какой тут, к лешему, залом! — поддержала Зину Таня Прохорова. — Обсохнем, так живо добежим, недалеко уж и осталось.

— Ты бывала, что ли?

— Хаживала, летом, правда. Летом Солотча малюсенькая, местами перебрести можно, вся в кувшинках, места пустого нет! — она подалась к береговым зарослям за сушняком, осторожно переступая по камням босыми ногами.

Хворосту натаскали много, надрали бересты, и костер, сперва нехотя, потом все дружнее разгорался. От одежды повалил пар.

— Лапти-то сгорят, учительша! — всполохнулась Таня.

Зина Решетова испуганно сдернула с валуна затлевшие лапти, стукнула горячим о мокрый песок.

— Давайте уж заодно и пообедаем! — махнула рукой Даша. — Авось пожалеет нас Солотча, не соорудит заломчик!

Достали из котомок по куску хлеба, кружки, бутылку с постным маслом, выданную на троих. На донышки кружек ленули по тонкому слою масла и, макая в него хлеб, стали жевать. Через несколько минут хлеб исчез, будто его и не было, а есть захотелось еще сильнее. Даша решительно затянула котомку, стала обуваться.

— То ли дело мужикам! — хохотнула Таня. — Сейчас бы закурили, весь бы аппетит как рукой сняло!

— За чем дело встало? — улыбнулась и Даша. — Мажорка в котомке, вали, завертывай козью ногу!

— Нет, я уж лучше холдянкой запью, — Таня за-

черпнула из реки ледяной воды, выпила, остатки выплеснула в костер и вдруг сказала: — Как-то мой Ванечка там.

— Он ведь танкист у тебя? — спросила Зина.

— Танкист...

— Значит, сыт! Танкистов хорошо кормят.

— А мне Саша недавно в письме похвастал — лейтенанта присвоили, — краснея, улыбнулась Даша.

— Ой, Дашка! Командирской женушкой станешь!

— Типун тебе на язык! У меня в эти дни все сердце изболелось...

Все трое замолчали и долго стояли у потухающего костра. Глухой стук заставил девушки обернуться. Толстую колодину, один конец которой утонул и, видно, волочился по дну, прижало к донному валуну. Другое бревенчко, припертое к колодине течением, вздрагивало, то уныривая, то появляясь. К нему густо, как к магниту, липли плывущие сверху стволы, все шире загораживая реку.

— А ведь залом, девчонки! — испуганно вскочила Даша, схватилась за багор.

— Да плюнь ты! — спокойно сказала Таня. — Не на нашем участке, не наша и забота. В этом месте свой пикет должен быть.

— С ума спятила? Где он, твой пикет? Через час тут такого наворочает — неделей не расхлебаешься!

Даша кинулась к урезу воды, взмахнула багром, стараясь зацепить плывущую мимо деревину, промахнулась, багор с плеском упал в воду.

— Ну-ка, девки, пособите подплывить два бревна к берегу!

Изловчившись, захватили баграми два кряжа, подтащили к берегу, прижали один к другому. Даша сбежала к костру, схватила конец полуобгоревшей доски, занесенной сюда половодьем, наискось кинула на бревна. Вскочила на хлипкий, вихлястый плотик, оттолкнулась от берега багром.

— Дашка, не надо! — испуганно крикнула Зина Решетова, когда течение потащило плот и конец его, на котором стояла Даша, заметно огруз, ушел под воду. — Вернись! Утонешь!

Даша торопливо переступила по доске ближе к середине, выровняла плотик, резко оттолкнулась багром и прижалась к бревнам залома, которые река все плот-

нее сбивала в кучу. Она всадила острый шип багра в лесину, слабее других зажатую, вывела ее на струю. От резкого движения плотик отъехал, снова окунулся в воду, и тогда Даша вдруг спрыгнула на живые, шевелящиеся бревнышки, с багром наперевес побежала к самому острию залома.

Зина закрыла лицо ладонями, не чая больше увидеть подружку. Таня с багром стояла у воды, бледная и растерянная. Но недаром Даша выросла на Куне, где вся ребятня съязмальства забавлялась, бегая по лежащим в реке лесинам, как по полу. Выбрав кряж потолще, зажатый давящими сзади еловыми кругляшами, она почувствовала, что опора под ногами надежная, и остановилась, прикидывая, как лучше вывернуть из-за валуна «утопленника». Потом просунула багор под торчащий из воды конец бревна, навалилась всей тяжестью раз, другой...

В первое мгновение Даша не поняла, что случилось: за секунду до того плотная и, казалось, надежная масса бревен вдруг развалилась, еловый кряж крутнулся под ногами, и она тотчас оказалась в воде. Инстинктивно Даша выбросила впереди себя багор, он лег поперек бревен и дал на время хоть зыбкую, но опору. До берега оставалось метров пятнадцать, но струя уже подхватила бревна, тащила к стрежню реки.

Только теперь Даше стало по-настоящему страшно. Судорожно, мертвой хваткой она ухватила левой рукой ближнее к берегу бревно, а правой рукой дернула багор, как назло, зацепившийся крючком за неровно стесанный сучок.

— Бросай багор! Багор кинь! — долетело до ее сознания.

Даша выпустила багор и почти тут же ударилась ногами в дно отмели, увидела, как Таня Прохорова, по грудь в воде, изо всех сил тянет к себе багром то самое бревно, в которое она вцепилась.

Лишь выбравшись на берег, почувствовала Даша, как холодна вода. Тело затрясло крупной дрожью.

— Уше-ел за-алом... — еле выдавила она из себя, стучав зубами.

Зина Решетова, ревя в голос, бросилась за сушняком, а Таня с Дашей принялись раздеваться у потухшего костра.

— Зря и лапти сушили!

Девушки взглянули друг на друга, захочотали, прямо-таки зашлись, не в силах остановить нервный смех.

— Вы чего? Чокнулись? — опешила Зина, швырнув в костер охапку сучьев.

— Лапти-то...

— Зря сущили...

— Ой, отстаньте, к лешему, перепугалась до смерти!

— Ох, Дашка, ты и отчаянная! Надо же — под самый залом сунуться! Неужто не боялась?

— Да откуда я знала, что он сразу развалится? Думаю, буду по бревнышку выковыривать да назад пытаться, а потом на берег перебегу. А он, вишь, моментом ухнул, я и трухануть не успела!

— Ведь на волосок от смерти была! Садануло бы по затылку бревнищем, и поминай как звали!

— Видно, на роду не написано в Солотче смерть принять! Багор, дура, утопила, чем работать-то стану?

— Нашла о чём горевать!

...Костер полыхал вовсю, одежда давно просохла, а Даша никак не могла согреться и заторопила подруг:

— Побежали, девчонки, хоть на ходу потеплее станет!

Часа через три девчата выбрались в поскотину большой деревни Анисимовской.

— У меня в этой деревне тетка с дочерью живет, у нее ночуем, — сказала Таня.

— А где перекат? Где дежурить-то станем? — спросила неестественно раскрасневшаяся Даша.

— Вон на извороте, сейчас мимо пойдем. Добро, хоть не в лесу, в случае чего деревенские помогут...

На перекате сильное сливное течение гнало лесину, как табун лошадей. Отбойная струя утыкала иные бревна торцами в ближний берег и, перехлестывая их через верх, разворачивала, несла дальше.

— Тут и есть самое рисковое место, — показала рукой Таня.

— Ночами настороже придется сидеть по очереди, — сказала Даша, но как-то равнодушно. В голове у нее шумело, тело отяжелело. Она хотела было присесть на камень возле переката, но Таня заторопила:

— Давай, давай к тетке, кипятку с малиной попьем, а то как бы купанье наше худом не отрыгнулось. Погляди, красная вся, чисто мак!

В деревню Даша поднималась безвольная, опусто-

шеннная. Ничего не болело, только с каждой минутой тяжелели руки и ноги, хотелось свалиться и уснуть, не сходя с места. «Устала просто,— подумала она, успокаивая себя.— Встали до солнышка, а теперь эвон где... Эвон где... Что — эвон где? Забыла...»

Анфиса встретила подруг приветливо, кинулась наставлять самовар. Таня и Зина тоже ходили по избе, суетились, только Даша безучастно, отрешенно сидела на лавке, прижавшись спиной к стене. Сознание мешалось, она задремывала и сквозь эту тяжелую дрему успела только сообразить, что ее разувают, поят чем-то горячим и терпким, укладывают спать на печь. Слабо пыталась сопротивляться:

— Я лучше на полу лягу... Жарко мне...

— Вот и славно, что жарко, вот и хорошо! — частила Анфиса.— Пропотеешь, — всю хворобушку рукой сымет! Беда, как разломало сердечину...

— А мне хоть бы что, будто и не купалась! — подивилась Таня.

— Разок на разок не сходится...

Даша забылась тяжелым сном, а потом явь и сон скрестились, переплелись, откуда-то взялся Саша Копытов в праздничной голубой рубахе, на которой красным пятном горел орден, а какой — Даша разобрать не могла и все спрашивала:

— За что это? За что?

— Судьба, знать, наша такая! — ответил Саша струшечным голосом Анфисы.— Бог за грехи испытанья шлет...

— Какой бог? — страшно удивлялась Даша.— Ты что, в бога стал верить?

— Не в себе она, — жалостливо сказала Зина Решетова, оттирая Сашу плечом, и Даша тянулась, пытаясь отодвинуть Зинку, искала глазами голубую рубаху, а оттого, что Саша все отодвигался, уходил, бессильно заплакала, крича:

— Уйди, Зинка! Уйди, не мешай!

Зина спрыгнула с голбца на пол, тревожно повторила:

— Не в себе она. Бредит. Домой бы отправить, в Первунинскую, там фельдшер есть...

— Да как отправишь по эдакой распуте? — возразила Анфиса.— К утру поотлежится, даст бог...

Но и на другой день сознание к Даше не воротилось.

Губы ее обметало белой пузырчаткой, девушка корчилась, стонала, поминутно просила пить. Всполошенные девчата уговорили-таки Анфису выпросить у бригадира лошадь. Закутав Дашу во все теплое, что нашлось у тетки, перенесли в телегу, и Таня повезла ее по раскисшей от грязи дороге в Первунинскую.

Глубокий старик Василий Кузьмич Егоров, первунинский фельдшер, помнивший еще земскую больницу, осмотрел Дашу, дал выпить каких-то капель, сделал укол и посоветовал отвезти ее на квартиру к бабке Марье.

— За больной додгляд нужен и днем и ночью,— сказал он.— В этом смысле у бабки надежнее, чем у меня на медпункте, да и потеплее. А я буду наведываться.

— Выживет ли?— со слезами спросила Таня.

— Кризиса станем ждать, кризис покажет...— туманно ответил Василий Кузьмич.

Бабка Марья с ног сбилась, ухаживая за больной, растирала грудь и спину мазью из трав, поила настоем зверобоя и малины. Даша ничего не ела, редко-редко открывала мутные, непонимающие глаза.

Василий Кузьмич проведывал больную часто, прослушивал, недовольно хмыкал, топорщил усы.

— Ослабела с голодухи до чрезвычайности,— пояснял бабке,— а вдбавок еще воспаление суроевшее!

— Батюшки!— пугливо крестилась Марья.— Однако, не умрет?

— Не знаю, бабка, не знаю... Сердчишко слабенькое, как бы не отказалось. Ты уж ее, старая, не волнуй, как очнется. Порадовать чем-нибудь не возбраняется, а волновать, расстраивать — ни-ни!

— Да уж я бы порадовала, батюшка, есть чем!— шепотом призналась бабка.— Письмо из дому который день лежит за божницей, а ноне без памяти, дак подавай не подавай...

Без малого неделю провалялась Даша, не приходя в сознание. И первый ее вопрос, когда вернулась речь, был о письмах.

— Есть, есть, голубушка, уж-ко принесу!— заторопилась повеселевшая Марья, торопливо метнулась в угол, подала мятый треугольник.

Побелевшими тонкими пальцами Даша поднесла письмо к глазам, разочарованно, по-детски капризно спросила:

— А другого нету? С фронта?

— Нету, матушка, да и почтальонка-то который день не захаживала. Мимо побежит, дак спрошу. На-ко вот, попей молочка топленого, гли-ко, захудала вся без еды-то, в чем душа...

Марья поднесла чашку к губам. Даша с усилием глотнула несколько раз, плеснула молоко на грудь, безвольно опустилась на подушку.

— Не могу... Давно я здесь?

— Недильтка минула, Дашенька, как привезли беспамятную. И праздник весь проболела, ну да, слава богоу, очухалась, топере на поправку повернешь...

Бабка понесла чашку с молоком в куть, а Даша непослушными пальцами развернула письмо, написанное угловатым Веркиным почерком. Повернула письмо так, чтобы луч вешнего солнца из окна падал на строчки, стала читать. Дома, писала Верка, все по-старому, отец с матерью работают, ребятишки здоровы, хоть и недодедают, но до травы, до первой крапивы недолго осталось ждать...

Глаза устали, Даша опустила руку с письмом на одеяло, потом собралась с силами, снова поднесла листочек к глазам...

Бабка Марья, высунувшись из-за печки, увидела, что Даша, откинув одеяло, изо всех силенок раздирает на груди холщовую рубашонку.

— Что ты, что ты, касатка, бог с тобой! — Марья просеменила к кровати, схватила постоялицу за руки, но не могла совладать: все тело девушки конвульсивно дергалось.

Вдруг Даша обмякла. Хриплое дыхание со свистом вырывалось из груди, нос как-то мгновенно заострился, лицо побелело восковой бледностью. Перепуганная Марья, не попадая руками в рукава оболочки, побежала за Василием Кузьмичом.

Когда, полчаса спустя, запыхавшийся фельдшер перешагнул порог Марьиной избы, Даша уже не дышала. Василий Кузьмич долго держал ее тонкую руку, пытался нашупать пульс. Пульса не было.

— Проглядели мы с тобой девку, старая... — дрогнувшим голосом сказал он.

— Неужто померла! — охнула Марья и залилась слезами. — Ты толком погляди, батюшка! Давно ли разговаривала, письмо из дому читала...

Василий Кузьмич закрыл глаза Даши, сложил на груди руки, потом поднял с полу скомканное письмо, остановился на строчках:

«А еще стряслась у нас, Дашенька, большая беда. Может, тебе уж отписывали подружки, что пришла в Щетинскую похоронка на Сашу Копытова. Жалко, больно хороший парень-то был, да и тебе любой...»

Фельдшер вздохнул, аккуратно свернул письмо треугольником, положил на подоконник, с трудом поднялся:

— Синицыной надо сказать, пусть домой сообщат...— и ушел торопливо, подстегнутый бабкиным воплем:

— Да касатушка ты моя-а-а!

7

Косую змеевидную трещинку в черной туще тендера Григорийглядел перед самым концом смены. Поколебался: не оставить ли сменщикам? Руки-ноги и так гудели от многочасовой возни с железом.

— Шабашим, Гриша? — крикнул, перекрывая бьющий по ушам лязг пневматического молотка, напарник Володя Гриньков.

Григорий снова ощупал пальцем трещину, с минуту наблюдал, как кузнецы плющат пневмомолотком раскаленные шовные заклепки — новые ставят взамен расхлябанных, крикнул в ответ:

— Сбегай, скажи Лыжову, чтобы сварку послал!

Взял пневматическое зубило и принялся расчищать канавку вдоль трещины. Все тело его тряслось от мощных ударов сжатого воздуха в инструменте, от голода и усталости в глазах плавали зеленые круги, но Григорий долбил и долбил проклятую канавку, в которую ляжет сварочный шов.

Прибежал вызванный Гриньковым мастер, шупал, чуть ли не нюхал трещину, матюкался:

— Не было печали, едрит твою... Сызнова задержка! Раньше чем через час сварка не освободится. Ладно, Гриша, молодец, что хотьглядел ее, заразу! Кончай колупаться, смена давно пришла!

— Пока, Борис Семенович!

Вместе с Володей юркнули в душевую, яростно почесываясь на ходу.

— Сволочи, не могут спасухи выстирать да прожарить! — ругнулся Григорий. — Совсем скоро вши заедят, до костей огложут!

В душевой разделись, встали в очередь за мылом. У прохода к кабинам, на скользком полу громоздилась темная бочка. Щупленький мужичок с широким, как блин, лицом поддевал деревянной лопаточкой из бочки расползающийся комок жидкого мыла и вытирая лопаточку о ладонь очередника. Ребята, зажав ползущее меж пальцев коричневой жижей мыло, вдвоем устроились под одним душем, чтобы не ждать, когда освободится соседний.

Григорий звучно шлепнул друга по костлявой спине, на которой ровными узелками проступали позвонки:

— И дошел же ты, Вовка! Как шкилет!

— Сам-то больно красив! — огрызнулся Гриньков. — На ребрах хоть «барыню» играй!

— Потому что не загораю. Иван знаешь как говорил? Один фунт загара — все равно, что килограмм мяса, голова елова!

— Не бывало письма-то от него?

— Как в воду канул! Живой ли?

— Живой! — уверенно сказал Володя. — Анучина не так-то просто ухлопать!

— Пуля не разбирает, Анучин или Кучин...

Переодевшись, пошли в столовую. Хлеб по карточкам они давно забрали вперед, оставалась одна надежда — на суп.

— Рыбачить станем? — спросил Володя.

— Само собой! Чего воду-то зырить?

Выписали по двенадцать супов, сели за столик. Официантка Динка, черная, худая, вертлявая, подняла крик:

— По двенадцать! Обалдели совсем! Что я вам — лошадь, столько тарелок таскать! Маша! Который раз прошу: не выписывай больше, чем положено!

Буфетчица молчала, будто не слышала, и Динка стала-таки носить тарелки на стол, по пять штук на подносе.

Хитрость эту ребята придумали еще зимой. Суп варили до того жидкий, что из тарелки едва-едва набиралась ложка распаренной крупы да два-три крошечных кусочка картошки. Стали выписывать сперва по пять, потом по восемь да по десять супов на брата. Из двух тарелок выпивали через край жижу с редкими звездочками жиринок, а потом «крыбачили»: сливали воду из полной тарелки в порожнюю, а осевшую гущу вываливали в одно место. Из десяти супов получалась тарелка

густой мешанины пепельного цвета, ее и ели. Само собой, с офицантками цапались, да голод не тетка, и лаяться научишься. Накладно опять же: чуть не вся зарплата вылетает на эти супы, а чего сделаешь? С одного хлебного пайка много не наработаешь.

От тарелки густой крупяной тяпушки из двенадцати супов Григорий отяжелел, потянуло в сон.

— Трещина чертова! — лениво сказал он, разгоняя дрему.— Часа на два задержка, не мене.

— Думаешь, не зачтут за двести?

— Как Лыжов запишет, а мы — чего? Кабы сварка сразу пришла, считай, что двести в кармане!

Чужгин и Гриньков числились в комсомольско-молодежной фронтовой бригаде двухсотников, железное правило которой — ежемесячно гнать норму не меньше чем на двести процентов, и ребята ревниво считали сделанное — опозориться было неохота.

На улице солнце стояло еще высоко, деревья вяло пошевеливали пыльной августовской листвой. За такие солнечные, длинные вечера первая смена и глянулась Григорию больше других. Вставать утром тяжко, зато чуть не полдня свободных: хоть на койке валяйся, хоть ступай в город до самого комендантского часа. Правда, сегодня еще дежурство в отряде ПВО, но до темноты времени — вагон.

Август всегда любил Григорий. Еще бы! В лесу все-го полно, жор у щуки начинается, да ведь, как-никак, и день рождения у него в августе... «Погоди, сегодня четырнадцатое? Елки-палки, послезавтра именины! Семнадцать стукнет, не фига себе уха! — подумал Григорий.— Получку еще не выдадут, хоть кулак грызи в день-то рождения...»

— Эх, домой бы теперь! — потянулся Григорий.— Мамка бы свежей картошечки подрыла, лучку натолкла, пару морковин выдернула бы... Рыжиков, поди, нарросло.

— Перестань! — попросил Володя.— И так слюнки текут!

Вспомнив о доме, Григорий вдруг заугрюмел, смолк,— кольнула острыя, как заноза, боль. Никогда уж не соберутся они все вместе, не увидит он Дашу, няньку свою... Вспомнился один из давних сенокосов, когда Даша приезжала на каникулы из Вельска. Порезал тогда Гришка босую ногу, шаркнул нечаянно об остро

отточенную косу. Как сбелела Дашутка, как заохала, платок белый с головы сдернула, рванула пополам, стала бинтовать ногу. Платок-то у нее единственный был...

И вот уж нет ее, четвертый месяц лежит в сырой, неприятной земле. За нее, за Дашу-то, кто ответит? Не на войне...

Он до боли вонзил ногти в ладони, нахохлился.

— Гляди-ка, из нашего общежития кого-то выносят! — толкнул его локтем в бок Гриньков, выводя из глубокого оцепенения.

Сорвались, побежали. Свободные от смены ребята вчетвером тащили на носилках кочегара из соседней комнаты. Он хватал воздух серыми губами.

— Чего это с ним? — спросил Григорий у молоденькой санитарки из железнодорожной больницы.

— Тиф! — коротко бросила девушка.

Когда комендант Маруся протянула Григорию засаленный треугольник, вприпрыжку взбежал на свой этаж, развернул. Верка под диктовку матери писала, что живут хорошо, работают на старых местах, только мать взялась, кроме дневной работы, сторожить сенопункт через ночь, за это ей прибавили хлебный паек. «И я, — это уж от себя писала Верка, — устроилась после семилетки на клепочный: продукцию на станцию возим и грузим в вагоны».

«Ишь ты, «продукцию»! — усмехнулся Григорий наивной Веркиной конспирации, вспомнив, что и клепочный завод тоже переведен на военное положение.

Мать звала Григория хоть на денек приехать в Ясеньгу, бельишко бы постирала да харчишек котомку собрала, картошка свежая подросла, уже подкапывают...

Григорий опустил письмо на колени, задумался. А что? Неужели на денек не отпустят? Считай, что с начала войны ни отпуска, ни выходных не видел. И верно, что одежонку перестириать да пережарить не мешает, а то дожидайся, когда загремишь в тифу, как тот кочегар, тогда не день вылетит, месяцем не отделаешься, коли жив останешься...

Наелся бы хоть разок досыта, Володе бы гостинца привез...

А самое-то главное, ее бы увидел, Машу Золотову! Поди, уж забыла совсем, больше года прошло с тех дней...

Сделать, что ли, себе подарок на день рождения, на семнадцатилетие? — размышлял Григорий.

Весь вечер, даже когда ходили с Володей в деповском патруле ПВО, перекатывал он в голове заманчивую мысль и до того сжился с ней, что уж казалось, будто отпустили его домой без разговоров, и всего-то навсего надо дождаться послезавтрашнего утра, уговорить паровозную бригаду подбросить до Ясеньги. А мужики в доску свои, увезут, тут и разговаривать нечего...

На другой день, выбрав минутку, Григорий отвел мастера в сторону:

— Надо бы мне, Борис Семенович, в Ясеньгу скататься.

— В Ясеньгу? — пожевал губами мастер. — А чего стряслось?

— День рождения завтра... Картошки мешок привезу, а то вовсе оголодали мы с Гриньковым...

— Одним-то днем управишься?

— Управлюсь, как не управлюсь!

— Я подменить — подменю, это не проблема, да строгости-то у нас, знаешь, какие? На военном положении! Так что, сходи-ка ты, братец, к начальнику депо, пусть приказ отдаст, тогда все чин чинарем.

— А отпустит?

— Должен отпустить, раз производство не пострадает. Скажи, что Лыжов согласен и с подменой вопрос решен.

Сердце взыграло. Дома! Завтра — дома! Какое там завтра — сегодня! После смены — на паровоз северного направления и ту-ту! Через четыре, много через пять часов — Ясеньга!

Григорий так обрадовался, что немедля бросился в цех промывочного ремонта паровозов. Живо разыскал знакомого машиниста, езившего по северному крылу дороги.

— Увезем, Гришук! — хлопнул тот по плечу. — Хоть кочегару дрова шуровать пособишь.

— Спасибо, дядя Леша!

Еле дождался обеденного перерыва, махнул вместо столовой к начальнику депо. Секретарша начальника оглядела низкорослого паренька, кисти рук которого казались несоразмерно большими, будто расклепанными на наковальне.

— Занят начальник!

— Да я на минутку всего! — умоляюще сказал Григорий.

— Занят! Подожди малость.

Он огляделся, куда бы приткнуться, чтобы не замарать ничего мазутной спецухой, слегка оперся плечом о дверной косяк. Минут через десять из кабинета вышли двое в чистой одежде. Секретарша юркнула в кабинет, потом вынырнула, села на свое место и уронила:

— Заходи.

Григорий робко отворил дверь, встал у порога. Черный человек в железнодорожном кителе пробуравил его сердитыми карими глазками:

— Что скажете, молодой человек?

— Из тендера я, Чужгин. Так что мастер Лыжов отпустил на завтра в Ясеньгу съездить. Домой, то есть...

— Домой, значит. Так, так...

— Подменит он. Ваше разрешение надо...

— Домой захотелось. К маме? Как фамилия?

— Чужгин... — повторил Григорий, чуя недобroе.

— А известно ли тебе, Чужгин, что на свете делается? Может, слышал хоть краем уха, что война идет? Что дело у нас на военном положении? Что мы все силы, — он помотал перед собой бледным указательным пальцем, — все свои силы обязаны положить для победы? Известно это тебе?

— Известно, — пробормотал Григорий.

— Вот ты и дал сам себе ответ. Никаких отлучек! А то один домой, другой на свадьбу... Лодыря там гоняете у себя в тендере, и лезут в голову глупости!

— Я из фронтовой бригады! — сказал Григорий.

— Тем более! Никаких отлучек! — начальник ребром ладони стукнул по столу, словно перерубил надежду.

Чужгин повернулся и выбежал из кабинета, скрывая набежавшие слезы. «Лодыря гоняете!» Это за то, что каждый день сверхурочные, что норму взрослого мужика — на двести процентов! И какое-то злое, упрямое чувство прожгло его от макушки до пяток. «А все равно уеду! — бесшабашно пронеслось в голове. — С Лыжовым договорился, а начальник — что? Проверять, что ли, станет? Ему-то плевать!»

Григорий не мог знать, что зайди он к начальнику часом раньше, все обернулось бы по-другому. Люди, с которыми до него разговаривал начальник, были областными работниками, которые с пристрастием разбি-

рались, почему на западном крыле дороги, на перегоне, внезапно вышел из строя паровоз, остановка которого сбила график движения воинских эшелонов. Придиличность проверяющих начальник принял за недоверие, и страх, копившийся в нем все это время, неожиданно для него самого разрядился на Чужгина, фамилию которого он все же черкнул в настольном календаре.

А Григорий все больше утверждался в своем решении уехать, и когда после обеда Лыжов, проходя мимо, спросил: «Все в порядке?», он только неопределенно кивнул в ответ.

Помывшись и переодевшись после смены, парнишка выбежал на станцию, ловко пролез под составами, вынырнул на пятом пути, пустился к голове поезда. Паровоз уже стоял под парами.

— Успел? — прокричал дядя Леша, когда Чужгин с маху взлетел по узенькой лесенке в кабину. — Валяй в тендер, посиди, да особо не высовывайся, нам пассажиров запрещено возить, сам знаешь!

— Порядок, дядя Леша!

Он облюбовал выемку в дровах и присел, пригнув голову. На душе скребли кошки. Что как начальник надумает завтра проверить? Тогда уж добра не жди, нагорит по первое число! Но когда паровоз, пробуксовывая, тронул-таки тяжелый состав, Григорий повеселел. Что будет, то будет, да и когда оно еще будет! Впереди целые сутки в Ясенъге. Дома! Машу увидит! На реку сбегает! Поест вдоволь!

И сразу засосало в животе: с утра ведь маковой росинки во рту не было, медведя бы в шерсти съел!

— Эй, заяц! — добродушно хохотнул, высунувшись из кабины, кочегар Митя Лапин. — Живой? Разгибайся, Прилуки уж проскочили! Ну-ка, посыдывай мне чурочек, разомнись!

— Принимай! — Григорий встал, мимоходом увидел мелькающие по сторонам жидкые перелески, за которыми желтели неубранные поля, и принялся спихивать вниз тяжелые чурбаки. Дым из трубы повалил гуще, пеленая Григория копотью.

— Шабаш! — кочегар вылез наверх, чумазый, раскрасневшийся, вытряхнул из пачки папиросу. Григорий закурил жадно, забивая сосущую внутри пустоту.

— Ты хоть ел сегодня?

Чужгин промолчал, отводя глаза.

— На, держи! — кочегар развернул вынутый из кармана бумажный пакет, протянул тонкий, с красноватой пленочкой повидла кусочек хлеба.

— Не надо! — отмахнулся Григорий. — Дома поем.

— Держи, говорят! Не вижу, что ли, как руки-то трясутся? У меня еще есть.

Григорий молча взял хлеб, стал жевать.

Долго стояли в Ожеге: сперва заправлялись водой и дровами, потом пропускали воинский эшелон. Григорий пожалел, что не слез сразу, как приехали, и не отправился пешком — пятнадцать километров до Ясеньги, дома уж был бы... «Нет, — тут же опомнился он. — С голодухи шибко не побежишь...»

Наконец дали отправление, и он, теперь из кабины, из-за спины машиниста жадно вглядывался в темнеющую лесную стену обочь полотна, над которой, вместе с паровозом, не обгоняя его и не отставая, бежала крупная желтая звезда.

Грохотнул под колесиками мостик через ручей, мелькнула справа казарма: от нее до Ясеньги считали три километра.

— Без стоянки идем! — наклонился машинист к Григорию. — Тормозну после подъема — прыгнешь?

— Конечно!

Тормознул дядя Леня на совесть, паровоз еле двигался, и Григорий легко соскочил на бровку, помахал рукой. Стучали мимо вагоны, а впереди уже различался железнодорожный мост через Ясеньгу, построенный перед войной. У моста маячили часовые, и он двинулся в поселок деревней.

Удивительная тишина окутывала все кругом: не взлаивали собаки, не слышалось на деревенской улице песен и разговоров, нигде не выбивалось ни единого огонька: видно, за светомаскировкой строго следили и в Ясеньге. Пожарищенская церковь вблизи жутковато щерилась разломами колокольни. Возле мастерской торчали кучи бревен и досок.

Григорий чуть не вприпрыжку сбежал под гору и ступил на деревянный мост через речку Ясеньгу. От голода его мучило, в голове отдавался тонкий тягучий звон. На миг почудилось, будто смешалось само время, сдвинулись, перетасовались годы, что снова он — маленький парнишка, который припозднился на ребячих забавах, и сейчас, в интернате, на втором этаже, крепко

станет пушить его матушка. Все, наверно, дома, Даша кроватку с маленьkim Сережкой качает...

И пропало наваждение. Не качает Даша кроватку, нет больше сестры на белом свете, нет и не будет. Никогда не услышать ее ласкового голоса...

Ворота в чужгинском доме оказались на запоре. Григорий постучал кулаком, отворилась дверь из избы и отцовское хрипловатое «Кто там?» прозвучало так знакомо, так близко, что у Григория ослабели ноги.

— Открой, тятя, это я, Гришка!

Щелкнула деревянная поперечина, вылетев из скобы, отец сграбастал шатнувшегося в сени Григория, тихо гладил по костлявым плечам.

— Проведать отпустили?

— Ага...

— Давай в избу.

Сережка спал уже, а Гелька за столом у окна, завешенного темной материной шалью, читала книгу. Не признав сперва брата, она торопливо одернула рукава линялой заплатанной кофтенки, потом рванулась встречь.

— Гришенька!

Он потрепал сестру за косички:

— А мама где?

— Дежурит она на сенопункте.

— И Верка на работе?

— В ночную сегодня,— сказал отец.— Вы посидите покамест, дойду я до сенопunkта, может, подменят мать-то...

— Я сбегаю, тятя!— вызвалась Гелька.

— Темно на улице-то. Не забоишься?

— Вот еще!— и сразу скрылась за дверью: босая, простоволосая.

Дементий ходил за сыном по пятам, держал в руках полотенце, пока тот умывался.

— Голодный? Ужо картошку подам.

— Давай!— обрадовался Григорий.— Сегодня, считай, не едал еще.

Отец достал из печи большую черную сковородку с картошкой, жаренной на козьем молоке, подал ложку, темный брускочек черствого хлеба.

— Надолго ли приехал-то?

— На денек. Завтра ночью обратно.

— Дольше нельзя?

— Нельзя, тятя. Строго у нас.

Музыка из репродуктора, которую Григорий и не заметил поначалу, оборвалаась. Отец встал, прибавил громкость.

«Наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление,— сообщалось в сводке.— Враг отброшен на сорок — пятьдесят километров. На других фронтах существенных изменений не произошло...»

— Про Волгу молчат,— вздохнул Дементий, выключая радио.— Неужто прорвется?

— Не дадут!— невнятно сказал Григорий, жуя картошку.

— Как еще не дастся...— Дементий снова сел на лавку, с жалостью приглядываясь к исхудавшему сыну. «А ведь скоро возьмут!— оторопело подумал он.— Семнадцать стукнуло, оглянуться не успеешь! Неужто и этого? Дашу не успели схоронить...»

Спросил дрогнувшим голосом:

— В военкомат-то не вызывали пока?

— Мы на учете как допризывники. Военную подготовку проходим. Да мне год еще до восемнадцати-то...

— Всяко повернуть может,— заугрюмевший Дементий свернул цигарку, пододвинул табакерку Григорию. Тот покраснел и смущенно отодвинул ее обратно.

— Мать сказывала — куришь.

— Так, балуюсь...

— Табак свой у меня, севогодний, полгяды нонче засадил. Держу пока, не срезаю, так, на пробу только заявлял. Насыплю тебе мешочек, увезешь мужикам али на базаре на хлеб сменяешь.

— Увезу...

И отец, и сын понимали, что говорят не о том, не о главном, но ходили вокруг да около, потому что главное было — Даша, а бередить свежую рану ни у того, ни у другого не хватало духу.

— Чего в Ясеньге новеньского?

— Работаем... Заказы тоже все военные: лыжи, палки, сани мастерим. В столярку народу прибавили. Димка-то Ломунов, дружок твой, к нам перебрался.

— Димка призыва ждет?

— Ждет. Вальку Клыкова взяли, знаешь?

— Правда?

— Он ведь тебя постарше, чуть ли не на год. Во флот забрали. У Молчальника старшего убили. Много

мужиков выщелкали по Ясеньге: реву бабьего, ребячего — не приведи бог! У нас, видишь, в семье...

В сенях загремело. Анна, на ходу разматывая плащ, вбежала в избу. Григорий выскользнул из-за стола.

— Гришенька, рожоный ты мой! — надолго прижалась к сыну, пока он мягко не отвел руки, не высвободился, пряча глаза. — А Дашенька-то... Даша-то... — Анна всхлипнула.

— Не надо, мам, — тихо попросил Григорий.

— Все лето изводится, — глухо проворчал отец. — Уж бранюсь: изводись не изводись, не воротишь. Но не у всех горя — лопатой не провернешь. Наставляй-ка самовар.

Анна, утираясь, побрела на кухню. Слышно было, как звякнула крышка жаровни, зашуршали уголья о самоварную трубу. Мать вышла к свету, держа в одной руке пучок коротеньких лучинок и коричневую картонку, в другой — что-то похожее на белый гребешок с черными концами зубьев.

— Отщипни-ка спичку, отец, я не могу и толку дать.

Дементий отколупнул один зубчик, остаток гребешка протянул сыну:

— Во какие спички у нас клепочники делают. Ничего, горят через одну.

Анна тут же, на свету, прижгла лучину, понесла горящую к самовару, оставив в комнате костровый дымок.

Засиделись далеко за полночь. Расспрашивали Григория. Услыхав про вшей, про тифозного кочегара из общежития, Анна всполошилась, немедля заставила сына переодеться, верхнее вынесла в сени, чтобы утром прожарить в печи, нижнее замочила в таз.

— Завтра будить не стану, именинник ведь ты у нас! Поспи, отдохни путем. После обеда с работы, может, отпрошусь, так соберу тебя в дорогу-то, — приговаривала она, суетясь возле разостланной на полу постели.

— Ладно, мам, — пробормотал он, уже засыпая.

Проснулся Григорий как-то рывком, испугался, что опоздал на смену, торопливо открыл глаза. У самого его лица поднималась вверх ножка стола. Он повернулся на спину, увидел беленую печь и только тогда понял, что дома. Стояла домашняя тишина, какой никогда не

бывало в общежитии. Тишину не нарушал даже Сережка, он сидел на соломенном матрасе в ногах Григория, прикладывал к глазам осколок синего стекла, щурялся через него то на окошко, заклеенное газетными полосками, то наводил стекло на брата.

— Здорово, мужик! — улыбнулся Григорий.

— Здорово! — степенно ответил мальчуган. — Я уж давно встал, а в садик не пошел. Ты мне конфетку привез кругленькую?

— Не привез я тебе, Серега, конфетку. Все конфетки в Вологде давно слопали.

— Кто слопал? Раненые?

— Не знаю, наверно, раненые. Есть кто дома-то?

— Нету. Тятя с мамой на работе, Гелька в лес убежала, а Верка на потолке дрыхнет. Ты вставать будешь?

— Надо вставать!

Он сел, оглянулся и увидел на лавке свою прожаренную выглаженную одежонку — когда только и успела матушка!

Вдоволь наевшись свежей картошки с малосольными огурцами и запив холодянкой из медного ковшика на кухне, Григорий собрался уходить.

— Ты куда? — обеспокоенно спросил Сережка.

— К отцу сбегаю, в мастерскую.

— И я с тобой!

— Нет, Сережка, я шибко пойду, ты уж посиди дома.

Брат надул губы, царапнул синим стеклом по скамейке. Григорию стало жаль малыша. «Взять, что ли?» — подумал он, но сообразил, что собрался-то он на шпалорезку, к Маше Золотовой, и что лучше там быть одному. Порылся в карманах, нашупал завалывшуюся гайку, подал Сережке:

— Поиграй, я скоро!

«Вот и семнадцать стукнуло!» — пронеслось в голове, когда проходил сосновым борком в центре поселка. Мысль не обрадовала, наоборот, смутно сделалось на душе. Вспомнился вчерашний рассказ матери о том, как ездила она в Первунинскую хоронить Дашу. От Ожеги всю ночь шла пешком, еле успела.

Да, здорово подкосила стариков Дашина гибель, вздохнул Григорий. Мать поседела, отец еле ноги волочит... Работают, опять же, до упаду. Мать день-деньской

на скирдах крутится, да еще и дежурит через ночь — молодой свалится от такой нагрузки! И отец только поспать домой приходит. Верка, соплюха совсем, а и та по двенадцать часов ишачит. Война проклятущая! На фронт бы скорее, что ли! Бить бы их, гадов, смертным боем гвоздать за то, что всю жизнЬ испоганили, на ключья растеребили!

На ходьбе дурное настроение рассеивалось, как туман под солнышком, — впереди ждала встреча с Машей. Григорий пересек железнодорожные пути, вышел на базу. Шпалорезку отыскал по истощенному визгу пил, визг этот несся из наспех сколоченного дощатого сарая. С одной стороны через широкий проем в сарай вбегали рельсы, снятые, видно, с усов подвесной дороги.

Пока Григорий пробирался меж штабелями пиленых брусьев, две женщины выкатили по рельсам вагонетку, подогнали к костру бревен. Бросив на край вагонетки толстые слеги, стали закатывать по ним бревно. Он подскочил к комлю, нажал — бревно со стуком упало на вагонетку.

— Ой, спасибо, помощничек! — крайняя к Григорию незнакомая молодуха выпрямилась, переводя дух, отерла пот с бледного лица. — Ты не к нам ли на работу?

— Нет. Человека одного ищу.

— Со шпалорезки? Как фамиль-то?

— Золотова, Маша.

— Машутка? Там она, у пилы, — молодуха показала рукой в проем сарая.

Чужгин помог закатить еще одно бревно и, толкая вагонетку вместе с грузчицами, вошел в сарай, дрожавший от визга пил. После уличного солнца в сарае показалось темно, пыльно, и он не сразу разглядел Машу, которая стояла за поперечной пилой, резала бревенчатые плахи на шпалы. Увидев его, Маша выключила станок, подошла.

— Гришка! Какими судьбами? — спросила громко, но голос был едва слышен.

— Отпустили на денек! Как живешь? — прокричал Григорий.

— Какое наше житье! Все на виду! — махнула рукой на станки.

Она похудела, осунулась, под глазами означились синие круги, припудренные опилочной пылью.

— Давай выйдем! — крикнул Григорий и показал на уши.

Маша засмеялась, тронула за руку проходившую мимо молодуху, которая вместе с Григорием привезла вагонетку. — Поля, постой за меня у пилы!

Поля кивнула, и Маша показала глазами на выход.

— Я уж думала, тебя в армию забрали! — сказала она, когда отошли от сараев к штабелю, где можно было разговаривать. С любопытством поглядела Григорию в лицо, а он с внезапной обидой понял, что любопытство это праздное, холодное: ни радости, ни ласки не было в Машином взгляде.

— Надолго в Ясенъгу?

— Сегодня уезжаю.

— На чем? Поезда-то вечерние через день теперь. Сегодня как раз и нету.

— Товарник буду ловить с нашими машинистами.. Приходи провожать?

— Ой, не знаю... Зачем? И без меня проводят.

— Эх, Маша!

— Чего — «Маша»?

— Скоро ты все забыла!

— Всё? — искренне удивилась она.— Чего «все»-то?

— Выходит, так, от скуки время проводила в прошлом году?

— Два-то вечера на бревнах с тобой посидела? Подумаешь, велика важность!

— Вижу, что невелика. Для тебя.

— Да и для тебя тоже. За целый год одно письмо написал.

— И на то не ответила.

— Некогда было.

— А сейчас напишу, ответишь?

— Теперь поздно, Гришенька.

— Что так?

— Да уж так. Ну, пока, мне работать надо.

— Придешь на станцию-то?

— Навряд ли... Прощай!

Она повернулась и быстро пошла к сараю. Григорий пристально смотрел вслед, хотел окликнуть, но почему-то не мог, язык не повернулся.

«Ну и пусты! Больно надо!» — успокаивал он себя, а горечь заливала душу тем сильнее, чем дальше отходил он от шпалорезки.

Навстречу, нещадно дымя, попался газогенераторный трактор, из кабины белозубо улыбнулась ему чумазая девчонка. Григорий миновал магазинчик, у которого сбилась длинная очередь из старух и ребятишек: ждали, когда привезут хлеб. У мастерской, где работал отец, громоздились штабеля саней, навалом лежали груды тесин. Внутри Дементий с подростками вязал сани. Увидев сына, приветно блеснул выцветшими глазами.

— Проведать надумал? Вот так мы и воюем...

— Переходи на наша сторона! — кто-то крепко ударили Григория по плечу. Обернувшись, он увидел улыбающегося во весь рот Димку Ломунова. Поздоровались

— А чего? Кидай свое депо к лешему, у нас людей нехватка! Станем на пару полозья гнуть! — балагурил Димка.

— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — отшутился Григорий. — Слушай, я спросить у тебя хотел... — взял приятеля за локоть, отвел в сторону, помялся, не зная, с чего начать.

— Про Машку, что ли? — догадался Димка. — Тю-тю наша Маша!

— Как «тю-тю»? — нахмурился Григорий.

— Давно уж с лейтенантиком крутит. Приезжает тут один герой, сани да лыжи у нас примет, отгрузит, а вечерком — к Маше...

— Врешь!

— Чего мне врать, вся мастерская знает, хошь у кого спроси! Да плюнь ты расстраиваться! Тоже мне, цаца! Ноне в Ясеньге таких Машек — батальон!

— Я и не расстраиваюсь, — пожал плечами Григорий.

А самого хлестко оплеснула обида. Надеялся, о встрече мечтал... Она-то на другой день и думать о нем забыла. «Два-то вечера на бревнах с тобой посидела?» Эх, Маша, Маша...

До самого обеда крутился он в мастерской, помогая отцу. Проводив его до столовой, вернулся домой. Мать собирала котомку в дорогу: намыла свежей картошки, с десяток морковин сунула, баночку рыжиков.

— Гелька с Веркой по рыжики-то ходят за сено-пункт, много севогоду наросло. Приволокут по корзине, так всей семьей до полночи и чистим...

— Куда мне столько всего? Самим пригодится!

— Сами-то дома, с голоду не умрем. К весне больно худо, все подчистую прибираем, а осенью, слава богу, не бедуем особо: огородишко да лес кормят...

Григорий сходил на реку, потом дождался отца и, почаевничав напоследок, собрался на станцию. Провожать себя запретил: кто знает, сколько придется ждать поезда? Втайне он еще надеялся, что Димка просто насплеличал и что Маша одумается, прибежит на вокзал. Долго, томительно слонялся он по путям, смолил самосад, кашлял и задыхался. То и дело обшаривал глазами тропинку, что вела от поселка к станции.

Свечерело. Сумерки ложились все гуще, тропинка потускнела, высypали звезды, а Маша не появлялась. Торчать на вокзале стало уже невмоготу, но и уйти нельзя: вдруг да приткнется на минутку какой-нибудь состав? Поезда, бегущие на север, останавливались часто, южные, в большинстве воинские, шли проходом.

Ближе к полуночи он встревожился не на шутку: проторчать здесь до утра значило опоздать и на вторую смену. Крепко подведет тогда Лыжова, да и самому несдобровать.

«Плевать! Дальше фронта не пошлют!» — успокаивал себя Григорий, но бесшабашные эти слова помогали худо, сердце ныло, он все чаще выбегал на пути, всматривался: не светит ли на севере притушенная щитком паровозная фара?

Резко похолодало. Григорий стал греться быстрой ходьбой, семяня по шпалам то в одну, то в другую сторону.

Только глубокой ночью остановился в Ясеньге товарник со знакомой паровозной бригадой, и Чужгин пристроился в тендере, сунув в ноги котомку. Когда ледяной встречный ветер доводил до подколенной дрожи, вскакивал, помогал кочегару шуровать дрова. На стоянках со страхом озирал светлеющее небо: неужто не успеют до смены?

В Вологде бегом кинулся в депо, пролезая под составами, стукаясь котомкой о тормозные трубы, с маху чуть не залетел под колеса маневрового паровоза, и все-таки на несколько минут опоздал. На доске в проходной его номерка не было.

— Где мой-то номерок? — спросил у вахтерши.

— Как фамиль? Чужгин? Вчера еще сняли твой но-

мерок, в контору снесли. Велено и тебе туда, как заявишься. Прогулял, что ли?

Холод прокатился по спине. Проверил, видно, начальник, прогул поставил. Да как же так, ведь отпустил мастер...

Григорий пошел в контору, надеясь все объяснить и как-то уладить. На пороге замешкался: куда податься? Вспомнился бледный палец, которым погрозил позавчера начальник. Нет, лучше в отдел кадров, там дядька-инвалид принимал Григория на работу еще до войны, вроде не сильно вредный. Он постучался в окованную железом дверь.

— Заходите! — донеслось изнутри.

Григорий робко переступил порог.

— Что скажешь, молодой человек? — шутливо спросил кадровик.

— Чужгин я, из тендерного. Мастер Лыжов отпустил домой на день, а сегодня гляжу — номерка нет...

— Чужги-ин? — протянул инвалид, резко прищурившись. Глаза враз заледенели, снял телефонную трубку, кого-то вызвал:

— Пришлите охрану. Как — что такое? Дезертира поймали.

Григорий подбежал к столу, ухватился за столешницу.

— Какой дезертир! Мастер...

— Брось залипать, Чужгин! «Мастер!» Ты что, в бирюльки играешь, не знаешь, чем это пахнет? Ты у начальника позавчера был?

— Был...

— Запретил он тебе отлучаться? В общем, дело передано в трибунал, а до решения трибунала берем тебя под стражу.

Григорий раздавленно опустился на стул. Он — дезертир?! Не фига себе уха! Бред какой-то собачий!

— Ведь Лыжов меня подменил! Ведь...

— Замри, Чужгин!

Запнувшись на полуслове, Григорий поник головой. Он походил сейчас на загнанного в грязь воробья: маленький, тощий, взъерошенный. Красное лицо, недоумевающие глаза, тонкая бледная шея подростка на миг вызвали у кадровика подобие жалости, он привычно подавил ее: «Ничего не поделаешь, война!»

Хлопнула дверь. В кабинете появился парнишка, пожалуй, одногодок Григория, одетый в милицейскую форму.

— Где задержанный? Ты? Встать! — скомандовал он ломким баском.

— Ладно, — примирительно сказал Григорий. — Давайте разберемся все-таки...

Он по сию пору не верил, будто они всерьез. Минлось, играют с ним, запугивают, а через минуту кадровик хохотнет, скажет: «Дошло? То-то! Ну, шурой в цех!», и жуткая эта нелепость кончится ко всеобщему удовольствию.

— Иди! иди! — взял за плечо милиционер.

Григорий и на мальчишку-милиционера поглядел, как на шутника, в общую игру вовлеченного, улыбнулся ему, будто хотел объяснить, что игру он понимает, да не слишком ли она затянулась? И лишь когда мальчишка, цепко сдавив плечо, рывком поднял его со стула, Григорий понял: нет, не игра. Он действительно дезертир, и его взаправду будет судить военный трибунал. Разом рухнуло что-то внутри, обвалилось бесшумно, вроде бы и дышать стало легче, бесшабашность какая-то лихая с головой захлестнула: все равно теперь! Все равно! «Дальше фронта не пошлют!» — как пропев, вертелись слышанные где-то слова.

Впереди милиционера Григорий вышел на улицу, молча повернулся к общежитию.

— Не туда! Налево! — скомандовал мальчишка в милицейской форме.

— Катись ты к едрене фене! Что я, с котомкой в твою казематку попресь? В общежитие надо завернуть.

— Не положено, — упавшим голосом сказал озадаченный милиционер. — Иди, куда велено, а то...

— А то? — со злым смешком спросил Григорий.

— Я и стрельнуть могу! За сопротивление власти.

— Вали! Стреляй, тыловая крыса!

— Пообзвывайся еще! — обиженный парнишка схватил его за локоть. Григорий резко выдернул руку, повернулся:

— Не цапай, курва, а то по соплям получишь! Думаешь, папа в милицию пристроил, от фронта спас, так теперь все дозволено?

— Ты и за это ответишь! Будь спок, ответишь! —

грозил милиционер, покорно шагая следом за Чужгина.

«Трибунал! Трибунал! Трибунал!» — мерно стучало в мозгу тяжелое и гладкое, как булыжник, слово.— «Прогул поставили, ах, сволочи! Ну, не уехал бы, с головухи загнулся али от тифа свалился, как тот кочегар,— боле было бы пользы? Трибунал... Там не чикаются. В штрафбат наладят, не иначе. Штрафники, говорят, те же смертники, самые опасные места штрафниками затыкают. Черт с ним! Главное, на фронт попаду, фрицев бить, а остальное... Бог не выдаст, свинья не съест!»

В общежитии, как всегда в этот рабочий час, было пусто, только у окна, барабаня пальцами по перечеркнутому бумажными полосками стеклу, стоял человек, с которым больше всего на свете не хотел бы встретиться сегодня Григорий,— деповской машинист дядя Петя.

— Здравствуй, Гриша!— он отодвинулся от окна, протянул руку, с интересом оглядел милиционера.— Кого разыскиваете, молодежь?

— Уж разыскали!— осмелел милиционер в присутствии постороннего человека.

— Не вякай!— бешено зыркнул на него Григорий, бросая котомку на пол.

— Сам не вякай!— окрысился милиционер.— Давай поворачивайся, я и так с тобой дальше положенного задержался!

— Чего стряслось, Гриша?— обеспокоенно спросил машинист.

— Ничего, дядя Петя, ерунда...

— Нет, брат, давай выкладывай!

— «Ерунда!» — фыркнул милиционер.— Хорошенькая ерунда, коли с работы дезертировал, целую смену прогулял! Дело в трибунале, а ему — «ерунда»!

— Правда это?

— Ну, правда! Прогулял! Домой ездил на день рождения! Все ясно?— он рывком выдвинул чемодан, открыл, выхватил документы, сунул в карман.

— Эх, Гриша, Гриша...

— Картошку Володьке Гринькову отдайте. Ничего, дядя Петя! Дальше фронта не пошлют! Счастливо оставаться!

И не в силах больше выносить укоризненного взгляда старого машиниста, шагнул к выходу.

— Постой! — ухватил его сзади железной пятерней дядя Петя. — Что-то здесь не так! Не мог ты самовольно уехать. Отирашивался?

— У мастера... — упавшим голосом ответил Григорий.

— Отпустил?

— Отпустил...

— Так какого черта! Ты вот что, Гриша. Я сейчас в срочную поездку вызван, а как только вернусь, все депо на ноги подниму! Вызволим тебя, так и знай! Нашли дезертира, мать их...

Григорий тихонько высвободил плечо, побрел к двери.

Все, что происходило потом, слилось для него в гягучий, мутный, неправдоподобный какой-то сон: и сидение в камере до заседания трибунала, и само заседание.

Сперва это заседание представлялось ему грозным судом суровых, но справедливых людей, которые, если им поведать всю правду, могут признать и его, Чужгина, правоту. Конечно, не сразу, а после долгого серьезного разговора, когда будет разобрано все: и разрешение Лыжова, и то, что Чужгина подменили на работе, а также и то, что был у него день рождения, что он мог свалиться от тифа либо от голода без домашних харчей. Против этих доводов было два, перечеркивающие их: закон военного времени и запрещение начальника депо. Перечеркнуть или не перечеркнуть — зависело от членов трибунала.

Для членов же линейного трибунала НКВД дело Григория представлялось мелочью, чуть ли не пустячком, который и разговора не стоит, настолько оно до прозрачности просто, а приговор, предельно мягкий, известен заранее. Потому они почти не слушали путаных объяснений мальчишки и объявили приговор: четыре месяца лишения свободы с отработкой на оборонных объектах.

Первый раз в своей жизни Григорий был столь жестоко унижен, прямо-таки раздавлен тяжестью стыда и отчаяния. Он уже заранее смирился со штрафбатом, как с крайней мерой, видел себя мысленно на фронте, где под пулями кровью искупает вину. Стать вместо того заключенным, лагерником, встать на одну доску с

трусами, предателями, ворами и убийцами — все его существо бунтовало и противилось такому исходу, он предпочел бы расстрел несусветному, как ему казалось, позору.

Он так и не узнал, что главный его защитник машинист дядя Петя не вернулся из той срочной поездки, попав под бомбежку, что мастер струсили и наотрез отказался от своего же разрешения на поездку Чужгина. Володя Гриньков и другие ребята из бригады ходили к начальнику депо, но он их не принял...

Приговор раздавил Григория. Все окружающее как бы подернулось ядовито-черной пленкой, сквозь которую четко прорезалось и долго потом терзало душу одно видение, миг единий, тот самый миг, когда пролетал поезд на север мимо Ясеньги, а Григорий, вдавившись лицом в решетку окна тюремного вагона, прощально вобрал в себя и светлую воду речки Ясеньги, и белый силуэт Пожарищенской церкви, и зеленый борок, густой шапкой укрывший родной поселок...

9

Поднатужась, Анна выставила корзину с картошкой на верхнюю ступеньку ямной лестницы. Выдернула из щели горящую луchinу. Изломанно шаражнулись тени, сжались, показав четыре низких сусека с картошкой да овощью. Хоть и долго тянула с уборкой, а урожай все одно удался скромной, много меньше накопали картошки против прошлой осени. Да откуда и взяться ей, коли корову нарушили, назьму, почитай, не клали? Наросла одна мелочь. Ежели не шевелить семенной сусек, дотянут разве до рождества. А как не пошевелишь, коли ребятишки ноги не поволокут с голодухи?

Люди семена в землю зарывают, в глухие ямы, на соломенную подстилку. Зимой схватится земля камнем, окутается сугробами, и захочешь, так не достанешь, волей-неволей сбережешь до посадки. «Хоть бы мешков пять спрятать от самих себя...» — подумала Анна.

Она задула луchinу, ощупью вылезла из ямы, заперла дверь. Солнышко еще не вставало, но заревой свет выбелил все окрест, на грядках завиднелась опущенная инеем ботва. У ближней к дому гряды с туго завитыми кочанами капусты приостановилась: вроде все целы. Вчера недосчитались пяти кочанов, вон и кочерыжки

торчат, желтяком тронулись. Надо поднимать Дементия да Верку срезать капусту: проворонишь, так и остатки унесут. Соседи тоже жалеются, что воруют в огородах, грешат на поселковских ребятишек, а, поди-ка, неправда. На что ребятишкам капуста — не солить! Чужого народа в Ясеньге полно, эвакуированных да всяких пролетных...

Мужа будить не пришлось, он, сидя на лавке, натягивал сапоги.

— Куда срядился-то? — Анна опустила грузную корзину на пол.

— Табак развешивать стану.

— Не убежит твой табак. Капусту сечь времяя, заморозим.

— Капусту, так капусту, — легко согласился Дементий, и она сердобольно вздохнула: совсем остался мужик после Дашиной погибели, чего скажешь, то и делает, как ребенок...

— Верку разбужу, пособит.

— Пусть выспится, ей сегодня в ночную.

— Ну, сруби кочаны, склади в кучу, после перетаскает, — и ушла в кухню к растопившейся печи: готовить ребятам еду на день. Сегодняшнюю ночь почти что не прикорнула, дежурила на сенопункте. Раза три обходила всю территорию, под навесом на кипах подремала часок, и только. Голова каменная, ноги ватные, а скоро опять становиться к прессу, обвязывать кипы. Только бы не свалиться, выдюжить бы эту вторую военную зиму...

Анна задвинула в печь чугуны с картошкой, с жидким овощным супом, села у шестка на вихлястую та-буретку. Плыл над чугунами сизый дым, заворачивал вверх, в трубу. Изредка вырывались язычки пламени. «Эдак, поди, и душа из человека вылетает, — подумалось Анне. — Пых, да и все! Дашенъкина душенька так враз упорхнула. Приветили ли, нет ли ее там, на небе? Должны бы приветить, тихая душа была, ласковая...»

Из печи дохнуло паром — закипал суп. Анна испуганно дернулась, схватила ухват, отодвинула чугуны от жара. «Гришка-то, беспутник, чего не пишет? Скоро два месяца, как уехал, и ни слуху ни духу. Дома расстраиваютса, а у него и в умушке нет!» — побрила старшего, легонько побрила, знала, что не любитель он

письма слать. И раньше, бывало, по месяцу — по два строчки не выждешь.

Чтобы не уснуть у теплой печи, сходила подоить козу, а уж после растормошила спавшую на полу Верку.

— Вставай, девка, надо отцу пособить.

— Да ну, рань такая! — Верка на мгновенье разлезла глаза и повернулась на другой бок.

— Вставай, после доспиши! — строже сказала Анна. — Кочаны на сарай сноси, под лестницу, я там место изладила.

Дочь рывком села на постели, сорвала с табуретки пластишко, злая, фыркучая.

— К водяноому! Полсуготок отбарабанила, и то высаться не дают! Что я вам — лошадь?

— Не переломилась! — рассердилась Анна. — Я вон и вовсе не ложилась, да живу!

Верка вскочила, плеснула воды в умывальник, швырнула ковшик обратно в кадушку.

— Ох и зла в тебе, Верка, ох и зла! Как замуж-то пойдешь, экая?

— Больно надо! — огрызнулась дочь, выхватила прямо из кипящего чугуна картошину, обжигаясь, перекинула с ладони на ладонь.

— Завзлягивала! Во сколько домой-то пришла?

— Во сколько бы не пришла!

— Бегать, так и работа не мешает! Полсуготок отмочтила, да, поди, до полночи по поселку шастала?

— Ну и шастала! Скоро и совсем уеду!

— Вот так раз! — опешила Анна. — Далеко ли срядилась?

— Куда все едут. На фронт.

— Сиди, пигалица! «На фронт!» Заждались тебя там! Скажу отцу, возьмет веревку хорошую...

Верка не дослушала, выскочила из избы, хлопнув дверью. Разбуженная шумом, сползла с печи Гелька, подбежала, прижалась:

— Картошину, мам...

— Умойся сперва, да буди Сережку, завтракать станем.

Междуд тем Верка, оттачив пару крупных хрустящих кочанов на пестрядинную подстилку под чердачной лестницей, воротилась в огород.

— Тать? — спросила она голосом, совсем не похожим на тот злой, резкий, каким только что ругалась с ма-

терью.— Ты не знаешь, в Вологодском депо, кроме на-
шего Гришки, есть кто из Ясеньги?

Дементий разогнулся, озадаченно поглядел на дочь.

— Вроде нет... А тебе чего придумалось?

— Так...

— Ты давай не юли, выкладывай, чего знаешь!

— Сказывают, будто в депо какого-то парня из
Ясеньги за прогулы посадили...

— Неужто?— рука, в которой Дементий держал ко-
сарь, мелко задрожала.— А не баражвостят?

— Кочегар с помощником машиниста в будке у
стрелочницы промеж себя разговор вчера вели... Вроде
не шутили...

— Матери не сказывала?

— Что я — маленькая?

— Ты вот чего, Верка, матери — ни гу-гу! Да и по
поселку слух не распускай. А днем, как одна останешь-
ся, напиши запрос начальнику депо. Так и так, мол,
просим сообщить, где находится наш сын, а ваш рабо-
чий, слесарь из тендерного участка Григорий Дементьев-
ич Чужгин. Да письмо-то прямо в поезд опусти!

— Сделаю.

— Позор-то, позор-то какой! Ах, поганец чертов,
дурья башка! Ну, ежели правда!

Дементий склонился и так ударил косарем, что доб-
рых полкочана осталось на кочерыжке.

Прибрав капусту, он сел завтракать мрачнее тучи.

— Ты чего, отец?— встревожилась Анна.

— Так... Поясницу чего-то ломит,— ответил он нехо-
тя и грозно покосился на Верку. Дочь понимающе нак-
лонила голову.

— Сходил бы в больницу-то, давным-давно не бы-
вал!

— Не до больницы, коли дела невпроворот.

— Свались, так лучше?

— А я уж вчера свалился!— похвастал Сережка.—
У садика бревно лежало, я бежал-бежал, запнулся —
бух!

— Не побился?

— Нет!

— Тятя, мне денег надо,— попросила Гелька.— В
школе велели принести на танковую колонну.

— Много ли надо-то?

— Сказали: кто сколько может.

— Дай ей десятку, мать. У нас тоже на эскадрилью двухдневный заработок вычили.

— У всех вычили: и у меня, и у Верки. Военного-то налогу много ли осталось платить?

— Сто пятьдесят. Скоро уж срок — пятнадцатого октября.

— Как вода деньги...

— Мам, а я в октябре именинник? — спросил Сержека.

— В октябре, сынок.

— Ты мне на именины колобу принесешь?

— У кого об чем забота! — горестно усмехнулась Анна. — Ты давай сряжайся проворнее, отец на работу торопится, с ним и убежишь в садик-то.

— Я сейчас, — заторопился малыш.

Глядя на замученное, обострившееся лицо жены, Дементий снова заугрюмел: «Хоть бы пронесло с Гришкой, хоть бы неправда!» Вслух сердито сказал:

— Откажись ты, к дьяволу, от ночного-то дежурства! Кожа да кости остались!

— А куда деваться, Демеша? Тяжело, да надо. Некому ведь дежурить-то. Паек опять же...

— Загнешься, так и паек не понадобится!

Чем дольше не приходило вестей от старшего сына, тем больше расстраивалась Анна. В конце октября, изведясь, засобиралась в Вологду. Еле урезонил Дементий, не отпустил. Он и сам нетерпеливо, в сомнениях и страхе ждал ответа на Веркин запрос. Готовился к худшему. Да хоть бы уж увериться, что подлинно про Гришку паровозники судачили, узнать бы: где он, надолго ли, за что? С каждым днем крепчала тревога, чуял — беда стряслась с сыном: только черное несчастье или погибельный стыд могли заставить его молчать столь долго.

«Эх, Гришка, Гришка, оголец малоумошный! — тоскливо думал Дементий ночами. — Скоро на войну, а в головенке все ветер, все ребячья игрушки. Теперь, брат, скоро наиграешься, коли жизни человечьей цена — копейка. Каждый день тысячами в землю кладут парней, безусых-то ребятишек. Доигрался вот... До тюрьмы доигрался! Валандаешься, небось, под конвоем да на голодном пайке! Хоть бы о родителях вспомнил, каково им. Разнесется по Ясеньге, так головы не поднимешь, от позора сгоришь на старости лет...»

— Ты чего все вертишься-то, отец? — спрашивала Анна.

— Блохи, видно, кусают...

— С ума спятил, старый! У нас блох-то в жизнь не бывало!

— Полн, спи...

С первыми морозами крепко простыл и слег Сережка. Хилый, слабый, горел он на печи непривычным румянцем, метался, тихо постанывал. Редко, тяжело открывал мутные глазенки, просил пить, и Анна поила его клюквенным морсом. Она разрывалась меж работой и домом, слезно упрашивала начальника подменить ее хоть на два денька.

— А кого я тебе на замену поставлю, кого?! — горячился Иван Хлебов. — Сама видишь — не хватает людей! Ты уж как-нибудь извернись. Дом рядом, сбегай лишний разок, проведай парня. Наочные дежурства, так и быть, подменю, сам догляжу, а совсем отпустить не могу, хоть режь!

Наконец от уколов ли, от заварной ли малины жар у сына спал, и сразу новая напасть приключилась — потекло из ушей. Сережка криком кричал от головных болей. Врачиха Зоя Туманова прописала закапывать в уши борный спирт. От него голову ломило так, что глаза вылезали из орбит, и Сережка весь трясся, завидев в руках матери ненавистную склянку. Не послушала Анна врачу, пожалела ребенка, склянку выкинула.

В один из таких суматошных дней прибежала она на минутку проведать больного после обеда. Гелька, вернувшись из школы, сидела на печи рядом с братом, прикладывала ему на лоб мокрую тряпичку. Анна напоила сына из ложечки. Измученный Сережка забылся одышливым, горячечным сном.

— Господи, пронеси! Ухрани парня, господи! — шептала Анна, бессильно опустившись на табуретку в кухне.

Заглянула Гелька, заметила слезы на лице матери, губы ее тоже повело, но сдержалась, не заревела, положила на кухонный столик продолговатый конверт.

— От Гриши? — встрепенулась Анна, взяла конверт, погладила, поглядела через него на мутное окошко.

— Из Вологды... — нетвердо ответила дочь.

— Ну-ка, читай скорее, как он там... — торопливо

разорвала конверт, протянула Гельке сложенный вдвое листок.

— «Сим сообщаем, что сын ваш, Григорий Дементьевич Чужгин, в августе 1942 года осужден линейным трибуналом НКВД на четыре месяца лишения свободы как дезертир трудового фронта. Отдел кадров депо».

Анна выхватила бумагу из Гелькиных ручонок, воткнулась глазами в серые машинописные строчки, лишь изредка узнавая знакомые буквы.

— Так и прописано?! Не врешь? Ладно ли прочитала-то?

— Что я, по печатному читать не умею, что ли!— обиделась Гелька.

— Давай сызнова прочитай, да не гони, тихонько!

Она несколько раз заставила дочь перечитать странную записку, а смысл все ускользал за казенными словами, одно понимала: крутая беда свалилась на Гришину голову.

— Осужден... Линейным трибуналом... Да ведь посадили!— ахнула она.— Господи, за что? Чего натворил-то, постреленок?

— Пишут: «...как дезертир трудового фронта...»

— С работы убежал! Ой, тошнено-ко, ой, не могу боле!— Анна свалилась головой на кухонный столик. У Гельки тоже в три ручья хлынули слезы, и она, всхлипывая, дергала Анну за рукав:

— Не надо, мам... Перестань, мам...

Анна обхватила дочь, прижала к коленям, целуя в голову, в пушистые волосенки, частила прерывистым шепотом:

— Не сказывай, Гелюшка, никому, ради Христа, не сказывай! Не перенести отцу, узнает так... Не зря все сердце у меня изболелось, ох, не зря...

— Я не скажу, мам.

— Вот-вот, молчи, славутница, ты ведь уж большая, ведь тебе одиннадцать годков скоро... Молчи!

Анна с трудом поднялась, стала одеваться. Письмо сунула в карман оболочки.

— Ну, я ушла, Гелюшка. Решай уроки да за Сережкой-то приглядывай. Больно худо сделается, так ты махом на сенопункт, знаешь, где прессуем-то?

— Знаю!

Дорогой Анна изорвала письмо в мелкие клочья, обрывки затоптала в дорожную грязь. «Дезертир тру-

дового фронта», — перекатывалось в голове больно, му-
чительно. — С августа уж сидит. Видно, как из дома-то
воротился, так и... Батюшки! Это он домой без спросу
уехал! — осенило Анну. — То-то весь день что в воду
опущенный шлендал, а мне-то, дуре, и ни к чему! Ой,
Гришка, Гришка, шальная головушка!»

И оттого, что додумалась она до верной причины, стало как будто легче. Третий месяц сидит, а пригово-
рили на четыре. Скоро, может, и выпустят. Чего уж
теперь локотки кусать, не воротишь! От тюрьмы да от
сумы не зарекайся, не зря сказано. Видно, так уж на
роду написано...

Но сколько ни утешала себя Анна: и дорогой, и об-
вязывая кипы, медленно ползущие из пресса, все ныла
ее душа. Слово-то какое написали крючковатое: «де-
зертир».

Она вспомнила лето, когда в лесах за Куной лови-
ли дезертиров. А может, и не их, может, диверсанты
высадились или беглые из лагерей ошивались. Власти
всполошились оттого, что на чапыжной лесной тропе
грибники набрели на мертвую председательшу даль-
него колхоза Марью Петрову. Баба-то хорошая, все жа-
лели, все кляли сволочей, которые изнасиловали, а по-
том убили Марью. Поймали, сказывают, троих, увезли
в район. Так неужто ее-то Гришку, работящего, тихого,
к этим нелюдям приравняли? Анна вздрогнула, выпря-
милась, бессильно опустив руки.

— Ты чего? — спросила напарница Маша Тоцкая. —
Худо?

— Голову обнесло... — вымученно улыбнулась она.

— Не мудрено, — вздохнула Маша. — Все жилы на
окаянных кипах выдергали, а кормежка — одно наз-
вание, что еда. Овес-то еще не истолкла?

— Нет, к рождеству берегу, — ответила Анна, вновь
склоняясь над кипой.

Осенью им снова по распоряжению Соколова разда-
ли овес, посевенный для лошадей, и бабы хранили за-
ветные узелки в укромных местах, чтобы не нашли да не
вылущили голодные ребятишки.

«Как же Демеше-то сказать? — одолели Анну преж-
ние мысли. — Али не сказывать? Еле ноги волочит ста-
рый, на раз и свалится от тоски да от позора. Не скажу!
К Новому году, глядишь, выпустят, тогда и узнает.
Только бы Гелька сглула не ляпнула...»

И, как непрошеная гостья, поселилась в доме Чужгиных недосказанность: тяжелая, потаенная. Правду знали все, и все помалкивали, оберегая друг друга. О Григории старались не заговаривать ни Дементий, ни Анна.

Сережка поправился, но еще сидел дома, тихо, незаметно, как старичок. Отец напилил ему струганых чурбачков, растопил в консервной банке плитку столярного клея, показал, как скленвать, и теперь Анна, прибегая на минутку с сенопункта проводить сына, часто заставала его на полу: мастерил из чурбачков и дощечек то санки, то игрушечную табуретку.

Беда, сказывают, одна не живет, на смычке ходит, проклятая. Зашла как-то Анна в избу, торопилась: Сережка сидит на половике спиной к двери, разбирает чурбачки, сам с собой беседует.

— Чего у меня седни заботник-то припасает? — спросила приветно.

Сережка и ухом не повел.

— Заигрался, не чуешь, что и мамка пришла? Сережка!

Он вздрогнул и пугливо оглянулся.

— А?

«Однако оглох парень-то!» — похолодела Анна. Присела рядом на корточки.

— Ты чего, слышишь худо?

— Тут шумит, — показал он на левое ухо. — То слышу, то не слышу...

— Ну-ка, одевайся, в больницу сведу, — притворяясь спокойной, громко сказала Анна. — Справку на садик возьмем. Охота в садик-то?

— Охота...

— Одевайся, сынок...

Она понесла слабого после болезни Сережку на руках, и хоть был он легок, как двухгодовалый младенец, скоро запыхалась, опустила на землю, окутанную ровным снежком.

Зоя Николаевна долго разглядывала Сережкины уши, пуская зайчики лобным зеркалом, почистила ваткой.

— Должна бы пройти глухота, — сказала неуверенно. — Это у него после простуды осложнение. Будем ждать. Если через неделю лучше не станет, придется в район отправлять...

Вернулась Анна на сенопункт только после обеда. Возле кабинета встретился Иван Хлебов, махнул здоровой рукой:

— Зайди!

В пустой кабинетской комнате сердито спросил:

— Как сын?

— Только что в больницу водила. Глохнет парень.— большая слеза прочертила ее осунувшееся худое лицо.

— Вот что, Анна Александровна. Бабы обижаются — часто домой стала бегать. Пора с этим кончать. Устраивайся, как знаешь, а работа есть работа. Время военное, сама понимать должна.

— Завтра в садик отправлю, Иван Максимович. Ты уж не обижайся, наверстаю я...

— Не обида это и не личное дело, а дисциплину должно соблюдать. Поимей в виду.

На другой день Гелька притащила Сережку из садика зарванного.

— Не стану в садик ходить!

— Почто не станешь-то? — допытывалась Анна.

— Дразнятся дак...

— Кто дразнится?

— Шурка Родина! Говорит: «глухая тетеря»!

— Не слушай ты ее, пучеглазую!

— Да... Не слушай...

Через неделю слух на правое ухо восстановился, на левое парнишка так и остался глухим.

— Зоя Николаевна велела к специалисту везти, — доложила вечером Верка, которая на сей раз водила брата к врачу. — Направление принесла, вот.

Анна подержала в руках направление, взглянула на Дементия:

— Чего станем делать, отец? Ты не свозишь?

— Никак недосуг! — покачал он головой. — Завалили заказами.

— И мне недосуг. Пождать разве еще недельку, не пройдет ли само? Не болит ухо-то? — спросила Сережку.

— Не!

— Подождем, коли... — и остановилась в раздумье посреди избы.

— Письма не было? — спросил Дементий, пытливо взглянув на жену.

— Не было,— ответила за нее Верка, понимая, какое письмо ждет отец.

Анна промолчала, но и молчание ее Дементий умел понимать. Раньше вечерами Гришкино имя с губ у нее не сходило, а сейчас и к разговору не пристала. Вот так же молчала последние месяцы и о Даше, чтобы не тратить душу ни себе, ни ему. Неужто о чем-то догадалась? Но заводить речь о старшем сыне Дементий и сам опасался. Себе он объяснял задержку ответа от деповского начальства тем, что Верка напутала в запросе, и собирался сесть за новое письмо, хотя давно отвык держать перо в пальцах.

В конце ноября выдался редкий вечер, когда Чужгины собирались ужинать в одно время: и Дементий по-раньше освободился в мастерской, и Анна отдежурила прошлой ночью. Отделяя всем по листику пайкового хлеба, за которым Гелька выстояла длинную очередь, Дементий будто заново увидел свою поредевшую, чахнущую семью: бледных малышей, насупленную, с преждевременной строгостью в глазах Верку, жену, столь исхудавшую, что мало кто узнал бы в ней былую, довованную Анну. Понимал, что и сам стал другим, а дни его длинной, неурядливой жизни теперь счетом надо считать...

Горький комок сдавил горло, он натужно покашлял. Давно ли, кажется, сидела горластая орава за столом в интернате: клетуха на семерых, да ведь жили, радовались, надеялись... Чего греха таить, мечтал иногда в ту пору Дементий, выучатся ребяташки, устроятся на хорошие должности,уважаемыми людьми делаются, а однажды съедутся все до единого в новый отцовский дом, и он, старик, гордо поднимет стопку в шумном застолье — не зря жил! Добрая поросль вымахала от чужгинского корня!

Не сбыться тому: вот уж и Даша опередила стариков, заторопилась в сырую землю, и Гришка в тюрьме али в лагере — навек клеймо. Младшие тоже чуть живы, того и жди, не стряслось бы новой напасти! А все война...

— Чего не ешь, отец? — оторвала от дум Анна.

— Тише, мам! — перебила Верка, выскочила из-за стола, метнулась к репродуктору. Все замолкли, выжидательно впились глазами в черную тарелку, у которой Верка лихорадочно крутила регулятор.

«...В районе Сталинграда! — неожиданно громко ворвался в избу голос московского диктора.— В результате успешного наступления наших войск взято в плен пятнадцать тысяч немецких солдат и офицеров, триста шестьдесят орудий и много другой боевой техники и военного снаряжения. Враг оставил на поле боя четырнадцать тысяч трупов...»

Не заметили, как и когда выбрались из-за стола, сгрудились у плотно завешенного окна, над которым висел репродуктор.

— Началось! — обрадованно сказал Дементий.— Погнали супостата!

— Слава тебе, господи! — перекрестилась Анна.

— Тять! — теребил Сережка отца за рубаху.— Скоро война кончится, да?

— Кончится, сынок! Может, и скоро!

— До границы еще гнать надо, не близко! — возразила Верка.

— Гнать — не отступать. Тут что главное? Перелом!

Впервые за много месяцев ужинали шумно, с разговорами, хоть и не досыта. Когда убрали со стола, Дементий попросил у Гельки ручку, чернила и листок бумаги.

— Куда писать-то срядился? — встревожилась Анна.

— В депо напишу. Чтобы шею нашему балбесу хорошенько намылили, — схитрил Дементий.— Шутка ли: три месяца ни слуху ни духу!

— Не надо, не пиши, — тихо сказала жена, и такая неизбывная боль проквозила в голосе, что Дементий, не говоря ни слова, отодвинул перо и чернильницу. Ночью, лежа без сна на старой деревянной кровати, шепнул:

— Слыхала чего?

— Скоро, должно, приедет...

— Да не таись ты, знаю, что сидит! Железнодорожники сказывали...

Она уткнулась лицом в плечо мужа, сдерживая рыдание. Дементий терпеливо ждал.

— Письмо из депо приносили, Гелька читала. Четыре месяца дали, в августе еще. Домой-то, видно, без спросу приезжал...

— Во-он что! — Дементий засопел, поднялся, убрел в кухню курить. Вернулся, окутанный самосадным духом, сел на кровать, скрипнул зубами:

— Пусть только заявится, стервец! Шкуру спущу!

Они поджидали Григория домой около Нового года. Анна, приходя за картошкой в яму, боязливо освечивала лучиной пустеющие сусеки — картошка кончалась. С осени заставила-таки мужа зарыть семенную в глухую яму и теперь почала последний сусек. Григорий вернется — еще едок добавится, а до весны, до первой травы далеко, как до царства небесного!

Тайком она давно уж собирала, сушила да складывала в мешок картофельные очистки. Прижмет, так все уйдет в корм: и очистки, и головки клеверные, за которыми гоняла летом Сережку с Гелькой. Горько жалела, что не поднатужилась с осени, не перекопала вдругорядь огород. Оно, конечно, на совесть убирали картошку, да все не до единой, пять—шесть картошин сыскалось бы на каждой гряде, это самое малое. Два снопа овсяной соломы еще на чердаке, тоже приберут, как лучше не будет.

Чем глубже закутывали Ясеньгу снега, тем больше донимал голод, заставляя жителей поселка искать, пробовать на зуб все, начиная от картофельной кожуры, кончая древесной корой. Хлебные пайки урезались до крайности, троих ребятишек в осиротевших семьях свезли на погост за Куной. Появились нищие — одни меняли на съестное одежду и вещи, другие просто попрошайничали и, случалось, убредя несолено хлебавши на станцию, тихо отдавали концы.

Подступил Новый год, а от Григория не было ни слуху ни духу. «Жив ли? Нет ли? — изводилась Анна. — Ежели еще и Гришку оплакивать — каюк! Не смочь, не выкормить маленьких, возьмет горе последние силешки, подкосит под самый под корень».

На рождество Анна припасла кусок мороженой копинки: принес Миша Клыков, когда прирезали больную лошадь. Достала и заветный узелок с овсом, отсыпала пригоршню, истолкла в ступе до кисельного запаха. Рано утром, проводив на смену Верку, просеяла толченый овес на кухонном столе, спасая каждую мучную пылинку. Отдельно ссыпала высечки и по старой, полу забытой уже привычке вышла на крыльце, оклонуть решето об угол. Чуть не вскрикнула от испуга: на крыльце сидел человек в длинной засаленной фуфайке, в драной шапочонке, отдышиливо свистел носом, жалобно косился на Анну пугливыми глазами.

— Иди, парень, иди с богом, все равно подавать нечего, сами с голодухи пухнем! — сердито, чтобы не разжалобиться, заговорила Анна и стукнула решетом об угол. Споткнулась на полуслове: знакомое что-то проквозило в иссохшем лице парня, в изгибе тонкой, посиневшей от холода шеи. Он оперся красными пальцами об опущенные ночным снегом плахи крыльца, поднял молящие, неправдоподобно большие глаза.

— Ма-ма...

Решето вывалилось из рук, подскочив, слетело с крыльца, легким колесом покатилось к прихлевку...

10

Ох, как заходил по избе Дементий, когда Анна перевела сына через порог! Как запокручивал белый ус, не зная, на ком избыть гнев! И пока жена сдирала с Гришки лопнувшие от грязи ремки да, уливаясь слезами, обмывала из таза его иссохшие мощи, грозно буравил глазами стену, завешивался синим табачным облаком. А потом отлегло. Чего поделаешь? Полутрупом приполз Гришка к родимому дому, да ведь приполз, одолел безглазую, а уж здесь-то ему пропасть не дадут. Запоздало вспомнил про обещание спустить шкуру с блудного сына, горько сморщился: сняли без него, да и не одну, на всю жизнь память, коли оклемается!

Анна, выкинув завшивевшие лохмотья на мороз, переодела Григория в отцовское, бормотала беспамятно:

— Чистую-то рубаху грех на рождество одевать, уржу, сказывают, не будет, ну да уж бог простит! — И, дрожа всем телом, надергивала на безвольную, из одних костей руку сына просторный рукав.

Наконец Григория усадили за стол, и он, как блаженный, глядел на самовар счастливыми глазами. На горячую картошку с квашеной капустой накинулся, будто голодный волк на добычу, глотал, не жуя.

— В депо тебе велено ворочаться, али как? — отводя глаза, спросил Дементий. Сын отрицательно потряс головой, потом сказал:

— Совсем отпустили. На все четыре. В армию скоро...

— Да какая от тебя армия... — всхлипнула Анна. — Чуть жив!

Он снова потянулся к тарелке, мать отодвинула.

— Хватит, Гришенька. Не жаль, да худа бы не было...

Григорий, как когда-то в детстве, покосился на мать. Ребятишки пугливо и молча рассматривали стриженого, с оттопыренными ушами брата, кожу на лице которого, казалось, с большой натугой стянули на костях черепа. Полузабытая картина домашнего застолья с такой радостной силой ударила вдруг по сердцу Григория, что он чуть не завыл в голос.

— Ложись, отдохай! — торопливо вставая, сказал Дементий. — Сейчас все разбежимся, никто не помешает... Готов, Серега?

— Всегда готов!

— Ишь ты, пионер! Обувайся скорее, не опоздать бы...

— Ты, Гелюшка, из школы воротишься, так покорми Гришу-то, — наказала Анна.

— А чем покормить? — тихо спросила дочь. — Хлеб-то доели...

Анна смешалась: кроме жиdenького супа с кониной, не успела ничего приготовить.

— Супу похлебайте, да капустки достань. Авось и я к обеду-то поспею. Давай, Гришенька, сведу на кровать...

— Я сам! — но когда поднялся из-за стола, качнуло, и Анна торопливо подхватила его под руку.

— Поспи, силы-то и прибудет маленько.

— Вечером посидим, поговорим, — добавил Дементий. — Из дому не броди никуда сегодня.

А Григорий уже спал, крепко, но беспокойно: клокоча горлом и припадочно вздрагивая.

Просыпался он медленно, трудно, будто сквозь толщу воды пробивался к свету из немыслимо глубокого колодца. Но теплый избяной свет январского солнца и сознание, что лежит он дома, на отцовской кровати, не принесли жданной радости. Тело ныло, резало в животе, кровь сильно толкалась в голову. К недомоганию клеилась тревога, стыд перед родными.

И было еще одно, что убивало и ожесточало его не только сейчас, а все бесконечных четыре месяца: людская злоба там, в лагере. Григорий вспомнил, как один раз отправили дежурного по бараку за хлебным пайком. Получив две буханки на всю бригаду, тот не успел завернуть за угол — налетели чужие, сбили с ног, вы-

хватили буханки и смылись. А потом дежурного били свои за то, что не принес хлеба.

Ссоры в бараках вспыхивали часто, по поводу и без повода. Григорий и раньше видывал, как бьют людей в драках: и в мелких, ребячих, и в пьяных, мужицких. Страшно лицо распаленной звероватостью, да разве сравниться с образинами дерущихся лагерников, с их холодной злобой? Тяжелой, тупой, заматерелой. И бессмысленной, потому что какой же смысл за корку хлеба человека забивать насмерть?

«Куда доброе-то вылетает, куда уходит оно от людей за тремя рядами колючки спрятанных? — мучительно думал Григорий. — Или и вовсе нет ничего людского в человеке, так только — наговорили, навкручивали в семье да в школе, а на поверку — все враки? Так ведь тогда ничего нет!»

Видел Григорий и то, как охранники ни за что ни про что колотили арестантов, слышал, как лагерники вечерами приглушенно честили из мати в мати «усатого батьку», который будто бы продал Россию немцам.

Растерянный, оглушенный, не знающий кому верить и что думать, Григорий и сам озлобился, будто испуганный шенок, и готов был искусать всякого, в ком видел врага, а врагами теперь казались все встречные и попречные.

В работе подвинтовочной, может, и утвердился бы Чужгин в безверии, и пропал бы душой да, слава богу, срок кончился. Только след остался: рваный, глубокий. Вот эта душевная рана больше болезненной немочи гнала теперь и давила, как тяжесть рухнувшего от гнили осинового ствола пригнетает молодую березку: до трещины, до слома вчистую.

И ему до слома, чуял Григорий, было рукой подать — и жить вроде не хотелось, одна ниточка тлела в сознании, как волосок затухающей лампочки: домой надо... Домой... Домой... Наверно, она, ниточка эта, и помогла ему выдюжить, до отцова порога доплестись...

Вечером пришел гость, Миша Клыков, который днем заезжал на сенопунктовскую конюшню и просыпал о приезде Григория.

— Ну-ко, ну-ко, герой, покажись! — шутливо поздоровался он. — Эк тебя в Вологде упетали, ни кожи, ни рожи! Рожа моя, рожа, на что ты похожа...

— И сам, дядя Миша, не помолодел! — обидчиво

сверкнул глазами Григорий, не вставая с лавки.— Тоже согнуло в дугу, как бабку Годовичиху!

— А с каких рыжиков молодеть-то, Гришук? С какой радости? У нас, брат, к старости всего три радости: корова пала, изба сгорела, да баба померла!

— Ой, сивой! — засмеялась Анна.— Угомону на тебя нет, только и знаешь зубоскалить!

— Садись за стол, чаю попьешь,— пригласил Дементий.

Клыков разделялся, пригладил седые кудри ладонью, присел к самовару. Сережка и Гелька, отчаевничав, забрались на полати, свесив головы, шушукались меж собой.

— Валька пишет? — отрывисто спросил Григорий.

— Принесли недавно письмушко. На Северном флоте служит. Бахвалит: утопили каку-то немецку посудину, так орден посулили. За меня, говорит, тятя с мамой, не переживайте, раненых у нас, почитай, не бывает, колонут, так и концы в воду, а нет, так без единой царепины возвернусь.

— Утешил! — усмехнулся Дементий.

— Знамо! Мы, дескать, калек не делаем, мы все — на раз!

Миша подцепил на вилку квашеной капусты, пожевал беззубыми деснами.

— Ты, Гришук, в отпуск, али перед армией домой-то отпустили?

Дементий и Анна насторожились, как бы желая упредить Григория, но он, резко отодвинул чашку, отрубил:

— Погулял четыре месяца под конвоем, вот те и отпуск!

— Гришка! — прикрикнул Дементий.

— Семнадцать лет был Гришка! Теперь — Гришка-лагерник!

— Не стыдно хвастать-то? Чего люди-то скажут?

— А чего бы не сказали! Плюнуть да растереть! Люди! — презрительно передразнил он. За хамок хлеба глотку друг дружке перервут! Лю-уди!

— Ты что думаешь, — пристукнув ладонью по столу, набычился Дементий, — отсидел, горького нахлебался, так умнее всех стал? Других учить волен? Нет, брат! Коли там собаки, ты щенком от тех собак не прикидывайся! И не вызверяйся тут перед отцом-матерью, сопляк!

— Прогулял, виши, денек в августе,—тихо, словно извиняясь за сына, сказала Клыкову Анна.— Вот и ука-тали в студеные места.

— То-то одна тень от парня осталась. Ништо, Гри-шук! Главно — жив! Была бы кость, а мясо нарастет!— и, заминая неприятный для всех разговор, Клыков по-вернулся к Дементию:

— Растолкуй ты мне, Ильич, почто это мы на старый-то режим поворачиваем?

— Как это?— рассеянно спросил Дементий, кото-рого больно уколола нежданная вспышка злобы у по-кладистого прежде сына.

— Да так. Сперва комиссаров в армии отменили, а теперь, слышно, и погоны заводят, как в царской армии.

— Не знаю...

— Заводят, Демеша, заводят. Чего доброго и «ва-шшим благородием» величать офицерьев заставят?

— Выдумывай! На старое повернуть! Не за то, Ми-ша, кровушка льется. Не за то! Гляди, народ-то, от мала до велика, весь на немца восстал! Небось за царя али там, положим, за капиталистов да ваших благородиев, не принудишь без оглядки головы класть!

— Отстали бы языками-то молоть!— оборвала Дементия Анна.— Нашли время! Ноне долгий-то язык уко-ротят, и не пикнешь!

— Не боись, Анна!— хохотнул Клыков.— Чего уж нам теперь, навовсе языки привязать, как Молчаль-нику?

Стукнула дверь в сенях, после работы вернулась Вер-ка. Она прищурилась на висячую лампу, привыкая к свету, потом глаза расширились, все ее маленькое исху-далое лицико с носиком-пуговкой расплылось в улыбке:

— Гришка! Дождались красна солнышка!— и она никого не стесняясь бросилась к брату на грудь.

— Ну, спасибо за угощенье,—засобирался Клыков.— Надо, поди, и мне дома показаться.

— Поспееши!— пытался остановить его Дементий.

— Нет, побреду.

— Привет Вальке от меня напишите,— видно, через силу, но все-таки попросил Григорий.

— Напишем, как не напишем!

Клыков ушел. Верка, побрякав рукомойником в тем-ной кухне, уселась рядом с братом, погладила его по плечу:

— Тебя чего, совсем там не кормили?

— Не разжиреешь, как миску баланды из тресковых голов выхлебаешь. Косточка попадет — считай, повезло, а нет, так и одной водички позыришь...

— И хлеба никак не давали? — охнула Анна.

— Давали, да много ли его — на раз куснуть. Работали с утра до ночи. Пайки получать всей бригадой ходили. Ежели дежурного одного послать, на раз все и отнимут. А, чего вспоминать! — горько махнул он рукой.

Через два дня, еще пошатываясь от слабости, Григорий уехал в военкомат. Вернулся из Ожеги скоро, вечерним поездом, утешил мать:

— Не взяли из-за истощения. Домой отправили, на откорм. Пока велели работать устраиваться, а весной съезжавшие на комиссию вызовут.

— В мастерскую люди нужны. Сходим к начальнику, потолкуем, — решил Дементий.

Повергнувшись в руках справку об освобождении, Заломов в упор взглянул на Григория:

— Что, браток, отучили прогуливать? У нас не станешь? Добро. Отца мы хорошо знаем, стахановец, оформим и тебя на временную. Но учти, Дементий Ильич, под твою личную ответственность!

Утром следующего дня вся мужская половина чужинского семейства гуськом семенила по тропкам заваленного снегом поселка: впереди Дементий, за ним Сережка, которому по пути до садика, последним вышагивал Григорий, задыхаясь и постепенно отставая. Он часто притыкался к соснам, запаленно хватал открытым ртом морозный воздух и, перемогая противную слабость в ногах, смахивал рукавицей слезы. Отец изредка останавливался, поджидал, и тогда Сережка выбивался вперед, пинал подшитыми валенками палые сосновые шишки.

Дементий и сам-то ходил нешибко, но, наблюдая за еле ковылявшим семнадцатилетним сыном, горько вздыхал: до чего довели парня — старик стариком.

В большой, но тесной от заготовок и верстаков мастерской Григорий сразу присел на брусья, загнанно огляделся. К нему подскочил Димка Ломунов: бойкий, вертлявый, сел рядом, поздоровался, предложил закурить. Григорий отказался и, не обращая внимания на старого друга, подошел к отцу:

— Показывай, чего делать.

Ему нашли место и поручили самую легкую работу — обстругивать копылья к саням, но и эта немудрящая работешка в первые дни пришлась не по силам: завалившую доску с пола поднять не мог, поминутно присаживался передохнуть. Зло обрывал норовившую пожалеть и ободрить его ленинградку Соню Маслюхину. Мужики в столярке притворялись, будто не замечают ни частых его перекуров, ни напускной лютости. Молчальник, Димка Ломунов да и сам Дементий, якобы показывая Григорию, как и что надо делать, старались пособить ему вытянуть нелегкую военную норму.

Первой к сердцу Григория пробилась все-таки Соня Маслюхина, двое малолетних сыновей которой не вынесли эвакуации из блокадного города. С чисто материнской догадкой вникла она в боль, терзавшую мальчишескую душу. В свободную минуту подсаживалась к хмурому Григорию, вполголоса утешала:

— Ты, Гришенька, зла на людей не таи. Мученые нынче люди, битые-перебитые. Вот вредность из них и лежит. А ты возьми и не обижайся!

Война за два года так всех измордовала — места живого в человеческой душе нет! Вот и огрызаются люди. Таких прощать надо...

— Меня много прощали? — вспыхивал Григорий. — Себя не жалел — все для фронта! А разок споткнулся, как на зверя кинулись: ату его! Катай, пока не сдохнет! Прощать...

Недели через две на домашних харчах Григорий немного окреп, но в душе не светало. Был он по-прежнему вял и ко всему равнодушен. Не понимал, как люди могут суетиться, радоваться. Принял, пожалуй, только радость Сони Маслюхиной, которая в конце января влетела в мастерскую, как на крыльях:

— Слыхали? Слыхали, мужики? Блокаду прорвали! Гришенька, золотой ты мой! Прорвали блокаду! Дорогу открыли на Ленинград.

— Поздравляю, тетя Соня! — на мгновение заражаясь ее радостью, поздравил Григорий.

— Ах, миленькие вы мои, новость-то какая хорошая! Дементий Ильич, теперь и вернуться разрешат, как вы думаете?

— А что? — оторвался от верстака Дементий. — Свободно. Ты запрос напиши!

Сводки с фронтов с каждым днем становились бол-

рее. Жданным праздником ворвалось в Ясеньгу пятое февраля, когда сообщили об уничтожении окружённой под Сталинградом немецкой группировки. Вечером Григорий шагал с работы, не отставая от отца, и, пожалуй, впервые после возвращения в нем вдруг опять прореялся парнишка:

— Конец войне завиделся, тятя! Теперь погонят! Как настеганные, удирать станут, только пятки засверкают!

— Молчальник поговорочку любит: «Нэ кажи гоп, докы нэ пэрэскочиши!» — устало отозвался отец.— Поживем — увидим...

— Нет уж, теперь погонят! Хана фрицу, точно тебе говорю!

За ужином Дементий, улыбаясь в усы, сказал жене:

— Гришка-то седни меня обгонил, как из мастерской шли!

— Неужто?— обрадовалась она.—Пооклемался, видно, маленько...

Григорий и сам чувствовал, как день ото дня крепнет телом, как постепенно тускнеют жуткие лагерные картины. Стал прислушиваться к разговорам мужиков в мастерской, к трепотне Димки Ломунова, который без устали бегал по девкам и знал все про всех в Ясеньге.

— Машка-то Золотова, сказывают, с брюхом!— выдал как-то, оставшись наедине.— Догулялась твоя бывшая. А лейтенантик боле и носа не кажет в Ясеньгу. Сварганил, и след прости!

— Заткнись!

— А я чего? Думаю, интересно тебе...

— Не интересно!

Однако дома, на топчане, который сколотил и поставил на место своего верстака отец, Григорий понял, что Димкина новость ему не совсем безразлична. Допрыгались, догулялись... Он пожалел ее, но как-то отстраненно, ничто не дрогнуло в душе, ничто не пошевелилось.

В середине февраля всю «рабочую нероботу», как окрестил занятых в столярке стариков да баб Димка, позвали на общее собрание в леспромхозовский клуб. Устроенный в длинном, приземистом и щелеватом барачке, клуб этот с грехом пополам отапливался двумя печами. Чужгины уселись на задней скамейке рядом со своими: Молчальником и Маслюхиной. Здесь немного тянуло теплом от печи, протопленной по случаю собра-

ния. Впереди сидели слесаря из мехмастерской, похочтывали. Григорий вслушался: слесарей веселил мотрист Степан Кирилов.

— Погрузили мы, стало быть, бочоночек на мотовоз, полазили кругом, как коты возле горячей каши. Обидно: винишко рядом, цельный бочонок, а глотка не хлебнешь. Поехали. В носе свербит. Помощник мой, Митька беспалый, давай сопровождающего обхаживать: дескать, откроем, плеснем с полведерка! Тот ни в какую: недостача, то, се... «Какая недостача! — это Митька ему. — Водичкой дольем, век не дотумкают, тут в речках вода чистая, ключевая!» Долго ли, коротко ли, сговорили. Я у Чужги-речки застопорил, пробку отверткой выковырнули, отлили чуть не полное ведро. Надо речной водицей доливать, хват-похвать, а никакой посудины нету. Было ведро, так и то под вино заняли. Нечем доливать, хошь в ладошах носи! Чего делать? Стоим, расстраиваемся. Ну, я сапог сымаю, подаю Митьке: слезай, зачерпывай сапогом! Таким макаром и долили бочонок-то, целых три сапога вошло! Пробку обратно заколотили, давай из ведра прихлебывать...

Кое-кто рядом с мотристом засмеялся, а Дементий вдруг ухватил его сзади за ворот, потянул к себе:

— Слыши, Степа, чего скажу-то!

— Ну? — улыбаясь, повернулся Степан.

— А ведь отъездился ты, парень, на мотовозе!

— Кто сказал?

— Да я говорю. Мужикам только рассказать, какое вино пили, они ведь тебя уважат! Так уважат, не разберешь потом, где борода, где затылок!

Кирилов дернулся, высвобождая воротник:

— Ты, дед, сопи в тряпичку! Вишь, учитель нашелся! Да я тебе самому бороду на затылок поворочу!

— Заткнись, гад! — свистящим шепотом вырвалось у Григория. — Заткнись, падла, по стенке размажу!

Дементий и Молчальник с двух сторон схватили Григория за руки. Он рванулся, но из цепких рук стариков вырваться не мог.

— Во-во! Размазал один такой свои красные сопли! — Степан сплюнул.

— Нэ трэба, Гриша, — тихо сказал Молчальник. — Он еще горького не хлебал.

По залу пробежал шумок и стих: за столом на сцене появился директор леспромхоза Заломов в защитном

кителе, на котором красной эмалью поблескивал орден.

— Тише, товарищи, начинаем собрание.

За стол сели секретарь парторганизации и председатель рабочкома. Слово о текущем моменте дали Заломову.

— Товарищи! Как вы все знаете, героическая наша Красная Армия бьет фашистов и в хвост и в гриду. Дала она по первое число немцу под Сталинградом. Гитлер аж траур по всей Германии объявил. Но враг еще силен, дорогие товарищи, а потому здесь, в тылу, расслабляться нам ни в коем разе нельзя. Я не скажу, что мы худо работаем, да и никто этого не скажет! Остались у нас одни женщины, подростки да старики, и вот с этими-то силами лесная промышленность области за годы войны на четверть, товарищи, на двадцать три процента, увеличила выпуск продукции! Но сегодня и этого мало. Прикиньте: нашему леспромхозу одних только дров для железной дороги надо запастися сорок тысяч кубов, несмотря на то, что план лесозаготовок леспромхозу опять прибавлен. Лес до зарезу нужен в освобождающихся от врага районах, все ведь там разбито да сожжено. Так что перекрыть план — первейшая наша с вами задача, товарищи!

Заломов вышел из-за стола к краю сцены, заговорил доверительно, по-домашнему:

— Умеем же мы с вами работать! Хоть столярную мастерскую взять. План по саням сделали в прошлом году к десятому декабря, да еще больше пятидесяти тысяч рублей сэкономили! А бригады в лесу? А мотористы на подвесной, та же Соня Андреева? По-фронтовому, по-солдатски работают!

— Я так полагаю, — голос директора снова стал строгим. — Во-первых, производственную программу двух месяцев прикончить ко Дню Красной Армии, к двадцать третьему февраля! — Переждав аплодисменты, продолжал:

— Второе. С пятнадцатого февраля по пятнадцатое марта объявляется фронтовой месячник на лесозаготовках. И надо не пожалеть никаких сил, довести производительность труда до двухсот процентов, товарищи! А что для этого главное? Считаю, настоящая боевая организованность! Чего-чего, а разгильдяйства еще хватает! А как иначе сказать, ежели, к примеру, в лесу у мастера Гашина на звено приходится один топор да одна

пила, и те точат раз в пятидневку? Безобразие! С подвесной дорогой тоже не мешает разобраться, разболтался там кое-кто.

И третье, товарищи. Все вы знаете, как тяжело сейчас приходится Ленинграду. В одном месте кольцо блокады прорвали, но армия и жители осажденного города напрягают все силы, просят помочи. В нашей области решено провести сбор средств на постройку авиасоединения «Героическому Ленинграду». Надеюсь, что мы все, как один, внесем честно заработанные рубли на это благородное дело! Сбор средств будет организован со следующей зарплаты...

Выходя после собрания из клуба, Григорий нос к носу столкнулся с Машей Золотовой.

— Привет, Гриша! — остановила она его, отвела в сторону. — Каково живешь?

— Нормально, — повел плечом Григорий. Даже в тусклом свете клубных лампочек заметно было, как она осунулась, похудела, лицо покрылось желтовато-коричневыми пятнами. — Чего это моя жизнь тебе интересная стала?

— Вспомнилось кое-что...

— А я уж давно забыл, что тебе вспомнилось. Пока! — И, не подав руки, ушел.

Улица метнулась теменью, кинула в лицо пригоршню колкого сухого снега. Григорий зябко поежился, плотнее запахнулся на груди фуфайку и, пригнув голову от встречного ветра, чуть не налетел на отца.

— Ты, Гришка? — Я уж думаю, не опять ли с Кириловым схлестнулся. Ведь он тебя одним пальцем в землю вобьет!

— Сволочь он, ваш Кирилов. Молодец против овец...

— Пошли, студено больно! — засмеялся Дементий.

Григорий косолапил за отцом по ночной, заметенной снегом дороге к переезду. Будто хвойной горечью обволокло душу. Путаная, неурядливая складывалась у него жизнь. Все уж потерял: и работу, и девушку, и здоровье. Интереса к жизни — и то никакого: Машка вот встретилась, а хоть бы что, льдисто в груди, пусто... В армию бы, что ли, взяли скорее! Убьют так убьют, туда и дорога...

Во время фронтового месячника леспромхозовские комсомольцы сколотили летучую молодежную бригаду.

Комсомольский секретарь Лида Степина в мастерской отозвала Григория с Димкой в уголок:

— Включаю вас в комсомольскую фронтовую бригаду.

— А я не комсомолец. Исключен! — отрывисто сказал Григорий.

— Ну и что? Руки есть? Работать можешь? Фронту помочь хочешь? Берем! Может, еще и рекомендацию дадим!

— Чего делать-то надо? — спросил Димка.

— На станции завал с погрузкой леса. Вагонов подают много, а грузить не успевают, простоявает порожняк сутками. Вот и поможем!

— Когда? У нас ведь своя работа!

— Ночами, когда еще? У всех днем своя работа. Бойцы на фронте тоже не по сменам воюют. В общем, жду в восемь вечера на станции! — Лида убежала.

— Не было печали... — поскреб в затылке Димка. — То по десять часов вкалывали, а теперь — круглые сутки? Может, не пойти?

— Неудобно, — в раздумье сказал Григорий. — Девчонки бревна станут ворочать, а мы отсыпаться?

— Ладно! — хохотнул Димка. — Хоть девок пощупаем!

— Сиди, щупальщик! Наворочаешься, так не до девок будет!

На погрузку и впрямь собрались одни девчонки, парней можно было пересчитать по пальцам. На вагон отделяли по десять человек, и в бригаде, куда попали Димка с Григорием, кроме них, парней не оказалось. Когда-то Димка не один год работал на погрузке, знал дело до тонкости. Живо раскрыв внутрь вагона створчатые железные двери, поставили в скобы стойки, накинули на край вагона поката, навесили на крючьях трапы. Когда первое бревно с грохотом обрушили в черную пустоту вагона, от соседнего штабеля донеслись завистливые возгласы:

— Дают ломунята!

— Конечно, с таким бригадиром!

— Эй, Димок, топай к нам!

— Догоняйте, слабаки! — отшучивался Димка, которого тотчас взяли под защиту горластые напарницы:

— Фигушки вам! Самим нужен!

— Жадины! — со смехом неслось из темноты. — Хоть бы потрогать отпустили!

— Слышь, Димка! — засмеялся Григорий. — Тут тебя самого, однако, пощупают!

— Кто бы против, а я — за! — скалился Димка.

С грохотом рушились бревна в вагон, звенел девичий смех, подмигивали с вышины звезды. Усталый донельзя Григорий вдруг удивился: ему было хорошо на тяжелой безденежной работе. Будто на короткое время вернулся он в довоенную Ясеньгу, где молодые не знали уныния, где умели и любили работать не за страх, а за совесть. Пусть у него пока мало силы, так ведь и у девчушек, пыхтящих рядом, ее не большие!

Он ощущал, как властное чувство единого порыва, чувство слияности со сверстниками одолевает физическую слабость. Больше того, чувство это, братское почти, как бы приподнимало его, вытягивало из одиночества, черной тоски, возвращало к той ясной и простой жизни, какой жили все люди вокруг него.

Погрузку закончили лишь под утро. Валясь от усталости, комсомольцы разбрелись по домам. Перед сменой Дементий еле растолкал сына. Григорий с натугой умылся, с испугом почувствовал, что, пожалуй, и до мастерской не добредет, так ныли руки и ноги, а как день выдюжить?

— Больше в ночную не отпушу! — твердо сказал отец.

— Нечего там и делать! — поддержала Анна. — Надсадиться недолго, а потом каково? На всю жизнь калека!

— Полно, мам! — смущенно и тепло, как когда-то в незапамятные времена, улыбнулся Григорий. — Девчонки вон грузят, ничего...

— Нет-нет, и не выдумывай! — тоже, как когда-то, легко и незлобно заворчала мать, сразу почуяв ту перемену в сыне, которой дождалась упорно и терпеливо.

Ковыляя вслед за отцом и Сережкой, постепенно превозмогая тупую боль в ногах, Григорий неожиданно заметил, что солнце, пробив неплотную пелену облаков, ударило в землю совсем весенними, жаркими лучами. Снег сразу заискрился, засверкал, заставил прищуриться. Григорий вздохнул полной грудью холодный, но уже не колючий, а мягкий воздух и, сам не зная отчего, рассмеялся.

Скрючившись над сусеком, Анна скидала в корзину последние картошины. Маленькие влажные клубеньки едва скрыли дно плетенки. Пошарила по голым доскам рукой, посветила лучиной, да свети не свети, ничего не высветишь: опустели сусеки. Она потерянно присела на дощатую лесенку, который уж раз перебрала в уме свои скучные запасы. Грибы съели, осталась горстка сушечных, на раз сварить. В бочке с квашеной капустой дно забелело. Овса килограмма два. Все. В один присест семейкой смолотить можно, и то досыта не наедятся.

Неминучая садиться на голые карточные пайки. Ладно, хоть Сережку в садике кормят, а остальные? Гришка только-только на ноги встал, вдругорядь заморить? Верка иссохла, не растет никакая девка. Да и сам Дементий не ладан дышит. А до первой травы глаза выпутишь...

Конечно, были у Анны, по-фронтовому сказать, НЗ, да и думать о них боялась. Это уж когда ноги протягивать станут, раньше нельзя...

В большом чугуне сварила жиценъкий супец из трех картошин, морковины, кусочка свеклы, луку поболе кинула: был еще лук, висел на стене в связках. Козьим молоком замутила воду в чугуне. Налила на завтрак большое блюдо, но попусту шарили в нем ложками ребятишки: вода так вода и есть.

Первым нарушил молчание Сережка:

— Мама, это суп?

— Суп, сынок.

— Как у нас в садике. Тоже без гуши!

Дементий хлебнул раз, другой, отодвинул ложку:

— Чего наварила-то? — сдвинул седые брови.

— Чего наварила, то и хлебайте. Скоро ничего варить не стану. Картошка вся.

Григорий поднял на мать красные от недосыпа глаза, хотел что-то сказать, но сдержался, прилежно стал швыркать воду, отщипывая зубами крохи липкого хлеба.

Верка кинула ложку:

— Наработаешь с такой кормежки! Ноги не понесут!

— А я чем виновата? — устало сказала Анна. — Где возьму?

— Между прочим, я паек зарабатываю!

— Отделиться ладишь? — вспыхнул Дементий. — Валый! На своем-то пайке живо выходишься!

После завтрака поднялись разом: голодные, насупленные. Анна позвала Гельку в кухню, о чем-то пошепталаась, а проводив работников, занесла из сеней ступу и окованный железом пест, сняла с полатей мешок с головками клевера и сушеными картофельными корками.

— После школы за хлебом сходишь, так потолки, сколь можно, а я навечеру колобков испеку.

Перед ночным дежурством Анна просеяла намятое младшей дочерью, сама истолкла горсть овса и, смешав все вместе, развела жидкое, как дорожная грязь, тесто. Налепила колобков, сунула в печь. Подсохнув и растрескавшись от жара, колобки развалились на куски. И хоть голодные были детки, стряпню Анны не доели: сухие комья застrevали в горле, позывали на тошноту.

Воротясь с ночного дежурства, она разбудила Григория и ребятишек, сунулась в спальню — Дементия на кровати не было.

— Где отец, не знаешь? — спросила Григория.

— Не знаю...

— Он, вроде, на охоту убрел, — сказала Гелька. — На полатях загремело, я и разбудилась. Гляжу, а тятя клепцы достает.

— Чего же он меня-то не взял? — посетовал Григорий. — Вдвоем бы живо управились!

— И так не высыпаешься, чуть не через ночь на погрузке!

Дементий воротился к завтраку, иззябший, но довольный, попросил стакан кипятку.

— Клепцы за рекой поставил! — похвастал сыну. — Следов заячьих — тьма! Авось, какой и угодит...

— Тоже не прокорм... — вздохнула Анна.

Все думы ее теперь были о кормежке. Дементий с Григорием обедали в леспромхозовской столовой, Верке приходилось брать еду с собой, а чего дать? Анна посолила последнюю горбушку, добавила луковицу и все завязала в чистую тряпичку. Верка фыркнула, как кошка, сунула сверток в карман, выскочила из избы. Самой Анне и Гельке, они приходили обедать домой, не осталось ничего. «Колобков поедим да тюри похлебаем, и ладно!» — подумала она.

Придя на обед, Анна оторопела: ворота в сени рас-

пахнуты настежь. «Не воры ли? — была первая мысль. — Гельке рано еще, мужики на работе. Али стряслось чего?» — и опрометью кинулась домой.

На топчане Григория, что стоял у крайнего к двери окна, вытянувшись на спине и закинув руки за голову, лежала бледная, как полотно, Верка.

— Ты чего? — испугалась Анна. — Заболела?

— Кровь ходила сдавать, — слабым голосом ответила дочь.

— Еще не легче! Кто надоумил-то? Из-за пайка, поди?

— Всем комсомольцам велено кровь сдать. Да и пакет не мешает. Возьми вон там, на столе, поешь...

На столе, в той же тряпице, в которую заворачивала она поутру Веркин обед, лежала краюшка белого хлеба, которого давным-давно не видывали в доме Чужиных. Анна тяжело опустилась на табуретку, не замечая слез, обильно бежавших по худому лицу.

Через день Дементий привез зайца. Никогда в жизни так не радовалась Анна мужниной добыче. Невелик заяц, да на неделю растянуть можно, по кусочку в суп класть, все-таки не пустая вода. А Дементий с Григорием теперь перед рассветом вставали на лыжи, уходили долбить лед на Куне, ставили заезки, настораживали клепцы на заячьих тропах. Ненадежное занятие: редко попадалась рыба, обегали ловушки зайцы, а голод донимал тем больше, чем жарче пригревало весенне солнце.

В распутьи пришлось оставлять дома Сережку: не в чем стало ходить в садик. Гельке еще с осени Дементий обшил валенки кожей, чтобы не промокали, а на Сережкины колени не хватило. Младший порывался бежать в садик босиком — Анна заругалась:

— Совсем оглохнуть охота! Погоди, пусть хоть просохнет маленько!

И Сережка долгими днями сидел на печи, играл в зубарики от голода: щелкал по зубам ногтями то правой, то левой руки.

И Анна не выдержала:

— Надо семенную картошку выкапывать, отец, — шепнула апрельской ночью.

Дементий долго молчал.

— Съедим, а на посадку чего? Войне-то ни конца, ни

краю. Огород не посадим, так будущей зимой вовсе помрем...

— Стану приберегать. Маша Тоцкая лонись верхушки садила. Хоть и хуже картошка, мелконочная, да наросла. Нарежу верхушек на семена...

Она тяжело вздохнула: семенная картошка да коза и были тем неприкосновенным запасом, который берегла пуще глаза.

— Ладно,— согласился Дементий.— Выкопаем. Али козу прирезать?

— Да ты что, старый, в уме?— вскинулась на постели.— Скоро до травы доживем, все лето молоко свое! Не дам козу!

Он сел, свернул цигарку, прикурил, спичка осветила дряблую, глубоко запавшую щеку в седой щетине.

— Гришку, должно, скоро в армию заберут. Верку летом в ФЗО пристраивать станем. Лишь бы здоровье не подвело, двоих-то как-нибудь...

— Будет смолить-то! Спи!

Пригорок, в который закопали с осени семенную картошку, уже вытаял из-под снега, влажно блестел непрощим песком. Вечером, после работы, Дементий с Григорием взялись за лопаты. Анна стояла рядом, тужила: не промерзло ли нас kvозь, не прихватило ли? Сережка и Гелька, которых не выпустила из дома — сырьо, лепились к кухонному окну, глотали слюнки: на ужин мать обещала вдоволь сварить картошки.

В песке стали попадать соломинки. Дементий осторожно зачистил остатки песка, скатал ковром соломенную сугревку. Вместе с Григорием натужно выкинули из ямы первый мешок. Анна торопливо распутала прелые завязки, раздвинула устье. Картошка — на семена отбирали самолучшую — не подморозилась и не сопрела. Облегченно перевела дух, отсыпала из мешка в корзину, наказав мужикам:

— Сразу в яму сносите, да щели-то в дверях соломой затыкайте, не дай бог утренником прихватит!

До того, как мыть и чистить картошку, взяла порожнюю корзину, нагребла в черепок золы из кадушки. Золу собирала всю зиму: и на щелок она годилась, белье бучить, да и на удобренье — кисловата в огороде торфяная земля. Брала картошину, отрезала верхушку, Сережка да Гелька посыпали срез золой. Верхушек наобрезалось треть корзины, остальное можно варить. Для

начала очистила две картошки, ополоснула, подала ребятишкам: мигом схрумкали, сырую, запросили еще.

— Хватит, брюхо заболит!

Срезая самую малость картофельной кожуры, начистила большой чугун, поставила в растопленную печь. Пока варились картошки, вскипятила самовар, выгребла из укромного места три таблетки сахарина: пировать так пировать!

Картошка упрела. Анна густо посолила ее прямо в чугуне, растолкла деревянной толкушкой. Вылила остатки козьего молока, перемешала и снова сунула в печь. Когда поверху красно зарумянились картофельные корочки, понесла чугун на стол, и восторженный стон голодных детей обрадовал до судороги в горле: слава тебе, господи, наконец-то досыта наедятся!

Эту толченую картошку и чай с сахарином Сережка с Гелькой вспоминали до самой пасхи, приставали к матери, чтобы еще сделала толченки.

Накануне пасхи Анна за полночь ушла в Щетинскую, выменяла на самосад фунта два ржаной муки. В пасхальное утро опять встала до свету, взялась стряпать преснушки. Раскатывала тонкие пресные лепешки из ржаной муки, накладывала на них мятую картошку, затябала края, а потом сочи поддумянивала в печи. Когда заалело в полнеба за кухонным окном, растолкала на печи Сережку, притащила в кухню:

— Гляди-ка, Сереженька, хорошенъко, сейчас солнышко плясать станет!

— Ну да! — не поверил сын, протирая кулачками глаза. — Солнышко не пляшет!

— А ты погляди, погляди! Как высунет краюшеч-то, так и запрыгает, задрожит, обрадеет христову воскресенью!

Сережка с любопытством прижался носом к стеклу. Край солнца вылез ослепительно яркий, небо сразу засинело до самой глуби, а розовые барашки облаков побелели, будто сугробы. Парнишка до рези в глазах плялился на солнечный каравай. На миг почудилось, будто солнышко и впрямь весело подрагивает огненными боками.

— Скачет! Скачет!

— А я чего говорила! — Анна тоже припала к окну. — Радуется сердешное... От Дашеньки поклон принесло...

— Чего? — повернулся Сережка здоровым ухом.

— Так, ничего...

Перед половодьем Григорий спросил отца:

— Ты, тятя, вроде сак собирался плести?

— Сплел, валяется на чердаке. Прошлой весной и покидать не довелось: сперва приболел, а потом не до того было...

— Схожу, поищу...

Вскоре Григорий спустился по чердачной лестнице, держа в руках двухметровую, слегка изогнутую палку с намотанной на нее крупноячеистой сетью. Развернул на крыльце треугольник сетки. В середине изогнутой палки — прорезь, в нее вставлялся конец длинного шеста, к которому веревочками привязывались концы сетки. Она не изопрела за год, была, как новая. Такими закидушками — саками ловили рыбу в пору большой воды: жалась мелочь к берегам со стрежня. В иное время густо попадала — по ведру наливали и больше.

Только распахнулись заборы на Куне, Григорий пошел на разведку. Без шума, без всплеска опускал сак на темную в парных сумерках воду, клал шест на плечо, нажимал руками — поперечина касалась дна, и он начинал пятить в берег, волоча за собой снасть.

Принимая от сына первый улов, Анна улыбнулась:

— Слава богу, до весны дотянули! С рыбкой до травки, с травкой до картошки, глядишь, и высможем, и перебьемся!

После майских праздников принесли повестки Григорию и Димке Ломунову: летом обоим исполнялось восемнадцать лет.

Суровыми нитками сшила Анна котомку, выкроив ее из распоротого мешка. К нижним концам пришила длинную лямку, которую можно было петлей захлестывать поверху котомки. Положила кружку, ложку, пару портнянок сунула, смену белья, полотенце холщовое. На верх уклала съестное: пять головок луку да с десяток обрезанных вареных картошин. Завернула в тряпичу хлебный паек Григория, выданный на несколько дней вперед.

Перекладывала припасы много раз, сама не понимая, зачем. Стояла беспамятно, крепилась, старалась не плакать, не квелить сына мокретью. Ей все блазнились кровавые пятна на котомке. Анна обтирала их ладонью и никак не могла оттереть: исчезнув в одном месте, пятна проступали в другом.

Выревелась она в хлеву, когда ходила доить Майку.

Коза испуганно блеяла, вырывалась, пришлось кинуть березовый веник, а то бы не далась подоить.

Вечером всей семьей сидели за самоваром. И хоть войну в разговорах не задевали, тревожно было и знобко. Один Сережка завистливо поглядывал на старшего брата, одолевал глупыми вопросами:

— Ты в танкисты пойдешь или в моряки?

— А куда пошлют, Серега!

— Лучше бы в танкисты послали. В танке пушка — ка-ак даст!

— Сиди, пушкарь! — легонько стукнула его по затылку Верка.

Под конец Дементий наказал:

— Очертя голову не суйся под шальную пулю, лоб не подставляй. Подумай наперед, как лучше...

Григорий усмехнулся.

— Нечего лыбиться, я тебе верно говорю. Воюют перво-наперво головой. Думать не станешь — на раз пропадешь.

Встал, накинул полушубок, взял шапку — подувал северяк.

— На двор не пойдешь?

Григорий без слова поднялся из-за стола — понял.

Вышли на крыльце в полусвет белой ночи.

— Вот чего, Гриша, — с запинкой сказал отец, глядя на бледный рожок месяца. — Я на этом свете не жилец...

— Что ты, тятя!

— Молчи. Долго не протяну, кто знает, свидимся ли. А ежели не свидимся, мой тебе последний наказ: не бросай ребятишек! Помоги Сереге да Гельке на ноги встать...

— На войну иду, тятя...

— Береги себя, да помни, что ты вот тут нужон, в этой избе.

— Ладно, тятя...

— Почаще пиши, не своди матку с ума.

— Ладно...

* * *

Опустела изба без Григория. Ясно светило солнце, споро сушило землю, а в глазах Анны тоска да сутемки. От ночных дежурств ее освободили — все сено из-под навеса вывезли, нечего сторожить, да и днем-то работы

не стало, прибирали территорию. Заскучал сенопунктовский командир Иван Хлебов, запросился на фронт. Без разговоров отпускал женщин по домашним надобностям:

— Управляйтесь, бабы, до сенокоса, потом не убежишь, как горячка подступит!

Пользуясь добротой начальства, Анна вдвоем с Гелькой взялась перекапывать огород. Выбирала по недогляду оставленные с осени мороженые клубеньки, пекла из них, подмешав клеверной муки да соломенной трухи, черные, с гнилостным запахом колобки. На добавку, надеясь отбить тошнотный запах,сыпала березовые опилки: их добывал муж, распиливая окоренные чурочки самой мелкой из своих пилок.

Старики еле дождались первого письма от сына. Григорий писал, что в Вологде их рассортировали, отправили его на север, в пулеметную школу, и до осени на фронт не пошлют. Отлегло от сердца — какая-никакая, а отсрочка...

Нежданно нагрянул в Ясеньгу Николай Иванович Соколов: подыскивать замену Ивану Хлебову, который выпросился-таки на фронт, прошел комиссию.

Дементий долго тряс руку исхудалого, почерневшего от забот и недосыпа друга.

— Вишь она, война-то проклятая, что с народом вершил. Еле шевелимся мы с тобой...

— Ничего, поскрипим еще, Дементий Ильич, поскрипим! Как вы-то живете?

— Худенько,— вздохнул Дементий.— Вишь вот какую сласть грызэм!— он взял с тарелки колобок из мороженой картошки и опилок, протянул Соколову. Тот откусил, пожевал, лицо перекосило:

— Да... А ты, Серега, каково бегаешь?

— Чего?— повернулся тот здоровым ухом.

— Каково живешь, спрашиваю!

— Лучше всех!

Николай Иванович провел ладонью по стриженой голове парнишки, негромко — Дементию:

— Он что, плохо слышит?

— На правое-то ухо ничего, а на левое совсем, считай, оглох после простуды.

— В район не возили?

— Все срядиться не можем...

— Свозите обязательно! Не шутка! А девки где?

— Бегают, тепла дождались так...

— Как дальше-то планируешь?

— Надо бы Верку в ФЗО наладить. Совсем ослабла девка. Дома голодуха, да и работа тяжелая, не по годам.

Соколов на минуту задумался.

— Вот что, Дементий Ильич. Есть у меня в Ярославле хороший товарищ. Напишу записку. Отправляй туда Верку, он устроит. Либо в ФЗО, либо на работу с усиленным питанием. И вам тут полегче будет, верно? Как, Анна Александровна?

— Да ведь мы — что? Лишь бы ей лучше!

— Договорились. Пусть рассчитывается завтра же.

— Спасибо...

— Не на чем. Слушай, Анна, ты хорошо знаешь Гулина Андрея Петровича?

— Не больно. Знаю, что за линией живет со старухой. На что он тебе?

— Не мне, а вам. Берем его начальником сенопункта вместо Ивана.

— Гли-ко ты! Так-то он ничего, бегает бойко, хоть и в годах. Ивану-то, вестимо, не ровня, больно уж заботный был мужик! Все на сенопункте его жалеют.

— Сам жалею! За Иваном у меня Ясеня га как за каменной стеной стояла. Лучшие люди в пекло идут! Сердце кровью обливается, как подумаешь, что может не воротиться. Значит, говоришь, ничего мужик — Гулин?

— Кто его знает...

— Что ж, попробуем. Ныне всякий народ в цене. И Стеблова вашего в РОНО взяли, и Широгорова в район перевели. Нет людей. А вы, я поглядел, уж гряды копать начали? Не рано?

— Оно бы и рановато, да взялась перекапывать, все, думаю, картошина-другая попадет.

— Зря! Я сегодня конюху задание дал, чтобы всем работникам вспахал огороды, само собой, после подсобного участка. Овса да ячменя достал маленько, посеем на подсобном. Пригодился ли овес-то?

— Да как не пригодился! Умяли за милую душу!

— Попало мне за него от начальства, чуть с работы не сняли. Еле отбоялся. Ну да бог не выдаст, свинья не съест! Самое главное — людей сохранить. Люди победу делают, верно, Дементий Ильич?

— Само собой. Все бы так рассуждали, глядишь, поменьше бы хоронили-то и в тылу, и на фронте. Голодуха год от году боле жмет, ребятишек уж на погост носят...

Наутро Соколов уехал вместе с Андреем Гулиным, оставив Чужгиным записку для Верки, наказал отправить девчонку, не мешкая. Верка обрадовалась перемене, нетерпеливо считала дни до отъезда, а Дементий и Анна снова не спали ночами, обливаясь тоскливой болью: рушится семья, расползается, как вехоть, и ничем не пособишь, ничем не загородишься от нужды...

Огородные заботы, вся копка да посадка пали на плечи Анны и Гельки. Со страхом втыкала Анна в лунки картофельные обрезки, присыпанные золой: хоть и твердили бабы, что вырастет из них картошка, а верилось худо. Сморщеные кусочки с вялыми, чахлыми росточками, мнилось, тут и загнут, сгниют под первым дождем. Она разжилась семенами редьки, морковки, брюквы. Дементий принес из леспромхозовской теплицы капустной рассады — продавали работникам. Луком истыкали большую гряду — луковое перо кормит все лето. Вымочила огуречные семена, которые купила на базаре, когда возила Сережку в районную больницу. Порасстраивалась немало: врачиха сказала, что прорвалась у Сережки барабанная перепонка и слух на левое ухо не восстановится. А Сережка не переживал, ему больше запомнилась шумная станция с толпами серошинельных солдат, да базар, на котором продавали настоящие пряники.

Стали ждать, взойдет ли картошка. И когда показались первые хилые росточки, Анна с рассветом бежала в огород, рыхлила землю вокруг каждого кустика, поливала всходы навозной жижей. На еду варила молодую крапиву, посыпала Гельку искать кислятку, потом парила терпкий, с красными метелками щавель в чугуне, сунув его в затворенную печь. Толкли и хлебали с водой луковое перо.

Дементий тоже вставал до солнышка, шаркал лучковкой дровяные отходы. Привезли их со шпалорезки, десять возов, на сенопунктовской лошади. Выписывать да заготовлять хорошие дрова в лесу стало Дементию не под силу. Попилив дров до потливой бледности, брал «дорожку» и огородом брел на Куну, ниже запани, кидал. Редко, но попадалась то щука, то окунь. Он гут же

сматывал снасть, чтобы Анна успела до работы сварить добычу да покормить ребятишек.

Подступил сенокос, и Анна впервые поняла, как она ослабела. Куда девалась та сила, та сноровка, что пьянили ее в первые годы на сенопункте! Теперь и на скирду-то залезала с надсадой, а уже через час начинали трястись и руки, и ноги. Да и другие работницы были не крепче. Гулин, юркий, как живчик, старичок, бегал от весов к скирдам, от пресса к навесу, матерился тоненьким голоском. Но матерились не матерились, а сенопункт явно неправлялся с приемкой сенного вала. Сбегав до десятка раз в сельсовет, добился, чтобы выделили в помощь постоянным работникам колхозников. Из ближних колхозов послали ребятишек-школьников. Помощь от них невелика, да все-таки помощь: груженые возы перестали стоять у скирд сутками.

Сена навозили много, опять надо было сторожить обнесенный колючкой сенопункт, и Анна решилась переговорить с Гулиным, зашла вечером в конторку.

— Чего тебе, Анна? Почему со скирды ушла?

— Довершили скирду-то, новую станем зачинять. Попросить тебя хотела, Андрей Петрович...

— Ну?

— Перевел бы меня на пресс. Мочи не стало скирды класть. А я сторожить возьмусь через ночь...

— Не дело выдумываешь, Анна, не дело! На скирду ставить мне некого, и так сколь ребятишек вам в помощь дал. А сторожа я уж нашел. Тоня Махина к нам на работу поступила, жить ей негде, станет в конторе квартировать, она и подежурит. Иди, иди, голубушка, на скирду!

Руки опустились. Значит, нынче добавочного пайка не видать. Вся надежда на свой огород. Два рабочих пайка да два иждивенческих — без прикорма живо ноги протянешь. Ничего не сказала Гулину, побрела к скирде. Тоже ведь и годы не красят, подумала дорогой. Пятьдесят два — не шутка, откуда силу-то взять, ежели живешь впроголодь?

Новая работница из эвакуированных Тоня Махина — девка крепкая, работящая. На все ее хватало: день на скирде отмашет, на погрузку сена вечером сбегает, да еще и сенопункт сторожит. Тоня и прилетела августовским вечером с погрузки в дом Чужгиных, выпалила с порога:

— Скорее! Ой, Анна Александровна, торопись! Григорий ваш на станции ждет!

У Анны кринка вывалилась из рук, разлетелась на черепки.

— Врешь?!

— Ей-богу, правда! Эшелон воинский остановили, он и подбежал к нам. Сообщите, говорит, скорее нашим, может, успеют. Всю дорогу бежала!

Дементий торопливо стал натягивать сапоги. Анна бестолково совалась по кухне, причитая:

— Ой, и послать-то нечего! Знатье бы, так хоть картошки сварила!

— Копайся там! — прикрикнул Дементий. — Поезд ждать не станет!

— Ты иди, старик, я сейчас, я догоною! Гелька-то, как на грех, куда-то убежала...

Дементий метнулся из избы, заковылял дерганно, как на ходулях.

Анна покидала-таки кое-чего на ситцевый платок: горстку сушеной малины, пару репин, пяток морковин выдернула с грядки, отрезала от пайковой полбуханки добрую половину, завязала все в узелок, бросилась на станцию. Дементия она догнала на выходе из поселка у пристанционной луговины. Отсюда в закатном свете, как на ладони, — длинный состав теплушек с парящим у переезда паровозом и плотная серая толпа солдат на путях.

— Не жди меня! Скорее! — задышливо крикнул муж, и Анна, обогнав его, торопливо засеменила по тропке, боясь, что не отыщет Григория в таком многолюдье. Но он, видно, сам следил за тропинкой, бегом кинулся на встречу, подхватил изнемогшую мать.

— Сынок! — целовала, уливаясь слезами, родное лицо, а Григорий смущенно выпрашивался из объятий.

— Далеко ли вас везут-то?

— На фронт, мама! А куда, сами еще не знаем.

Подоспел Дементий, обнял, навалился, еле держась на тряских ногах.

— Вот и добро, вот и свиделись... — бормотал он.

В гимнастерке с солдатскими погонами, в пилотке со звездой Григорий казался возмужалым и вроде бы выше ростом, шире в плечах. На загорелое лицо его пробивался слабый румянец.

— А ребятишки где?

— Носятся где-то,— проворчал Дементий.— Поотъелись за лето, так и дома не сидят.

— Как здоровье?

— Какое наше здоровье!— махнула рукой Анна.— Бродим помаленьку, и слава богу. Верку в Ярославль отправили, до осени в няньках поживет, а там — в ФЗО, да мы писали тебе...

— По ваго-онам!— зычно разнеслось над станцией.

— Ну!— Григорий торопливо обнял отца, потом приник к матери.

— Ты, Гришенька, сразу сообщи, как на место привезут, вся душа ведь изболится!— порывисто, сквозь всхлипы, шептала Анна.

— Обязательно, мама! При первой возможности...

Сипло загудел паровоз, солдаты сбились у вагонных дверей, кучки эти быстро таяли: теплушки будто всасывали в себя одинаково одетых людей. Григорий подошел к своему вагону последним, махнул на прощанье рукой и уже на ходу вскочил, ухватившись за протянутые руки.

Он еще успел увидеть, как по луговой тропке мчался во всю прыть к станции босоногий парнишка лет шести и признал в нем Сережку, а потом промелькнул карьер, простучал под колесами мост, блеснула светлая речка Ясеньга, крутой пожарищенский угор с белой церковью на вершине, потом все скрылось за кустами, за лесом,— насовсем или на время — кто знает?

12

Как к затяжной, немилосердной осаде готовилась Анна к новой зиме. Мало того, что сама передыху не знала, загоняла и Гельку. Девка веников козе на всю зиму наломала, наносила малым ведерком морошки да черники, смородины да малины, чуть не волоком таскала тяжеленные корзины грибов. Избяная приборка тоже на ней: вода, дрова, подметанье, а и поглядеть не на что, от горшка два вершка.

Когда пришло время копать картошку, Анна утрами и вечерами не разгибалась в огороде. Гряды перекопала дважды, чтобы и малого клубенька не оставить в земле. Из обрезанных картофельных вершков гнезда выросли чутошные, да и в тех мелочь, только что крупнее гороха. Что получше, отобрала на семена,

заставила Дементия зарыть четыре мешка в глухую яму. Остаток пообветрила на грядах, ссыпала в сусеки, и стало видно, сколь скучен запас, а от него еще надо отдельить обязательное военное обложение.

Даже морковную, брюквенную и свекольную ботву прибрала к рукам Анна, развесила сушить пучками на чердаке. Только до табаку не дотрагивалась — убирал его курец Дементий.

Одолевая огород, урывками бегала в лес по рыжики, по волнухи, по клюкву. Попутно резала лебеду да крапиву, драла в лесу какой-то особый мох, сказывали — съедобный.

— Чего пичкаешься-то со всяким дерьмом! — ворчал Дементий. — Тоже не еда!

— Лето припасиха, а зима прибериха, все истолчим! — отвечала Анна и снова налаживалась в лес.

Так и вертелась чуть не до первого снега: сенопункт, огород, лес, огород, лес, сенопункт... Перед крепкими заморозками посолили капусту: добрая уродилась, полную бочку запасли. Только тут и очнулась Анна, огляделась — нечего больше взять, пусто и в огороде, и в лесу, разве что рябина кой-где рдела по глухоманиям, не примеченная добытчиками.

И тогда в ожидании писем от сына полезли в голову тосклевые думы, прямо-таки опутывали. Поначалу он писал часто, сообщал, что воюет под Ленинградом, что службу несет исправно. Потом мятые треугольнички се-рой бумаги с жирными цензурными штампами стали носить реже, а в ноябре они как в воду канули. И подскочили юркими бесенятами нехорошие мысли, от которых одно спасенье — работа.

Анна свела ребятишек в клепочную баню, скучила пестриданое, наварила щелоку, принялась стирать да бучить, кидая в кадку каленое каменье. Высушила всю одежонку, прокатала, гремя на столе вальком по катку. И все — утрами да вечерами, до работы да после. Сама дивилась, отколь силы берутся: спала — чуть, да и на сенопункте уматывалась с кипами: не легонькие, в каждой пуд с гаком.

Дементий без Григорьевых писем супился, молчал, чаще совался к репродуктору слушать сводки. В иную пору, когда диктор взахлеб расписывал наши победы на всех фронтах, с треском выдергивал вилку из розетки:

— Третий год побеждаем, а немец то на Волге, то под Курском! — рассерженno фыркал в усы.— От Ленинграда и то прогонить не могут! Вояки!

— Вояки-бяки! — подхватывал в тон Сережка, отлученный от садика, в котором держали только до семи лет. Дементий просил оставить еще на год, до школы, даже поругался с заведующей, дошел и до самого Заломова. Тот добродушно улыбнулся:

— Порядок такой, Дементий Ильич! Семь стукнуло — освободи место. Парень большой, без няньки проживет.

— Не в няньках суть — в питании...

— Ничего не могу, профсоюз хозяин. Карточки на него, как на иждивенца, получаешь? Ну и все!

Близко придвигалась зима, а вестей от Григория все не было. В конце ноября тяжело заболел и слег Дементий, когда последнее терпенье изорвалось в тревогах о старшем сыне. Выпросила Анна лошадь у Гулина, свезла старика в больницу. Продержали его недолго, отправили домой.

— Чем я могу помочь, Анна Александровна? — разверла руками Зоя Туманова.— Обострение почечной болезни. Одно спасти может: хорошее питание. Масло, яйца, сметана, мясные отвары — ничего этого у нас нет.

— А я где возьму?

Врачиха беспомощно опустила глаза.

Ночь напролет просидела Анна у изголовья больного, прикидывая и так, и эдак. Коров в поселке не осталось, да что коров, кур — и тех съели. На маслозаводе масла ни под каким видом не достать, все на строгом учете. В сельпо податься, али в орс леспромхозовский? Не снабдят, не разбежатся, ежели пайки по карточкам и те с боем. По деревням бы походить, хоть с десяток яиц на табак выменять? Гулин с работы не отпустит. Одним-то днем не отделаешься. Да и табак не припасен: с грядки старик снял, завялил, повесил кореня на чердак, так и висят по сию пору на жердочке.

«Курицы-то у Молчальника водились, ежели не всех перевели, — вспомнила Анна.— Менять не на что, с деньгами разве идти? Больно дешевы нонече деньги-то, да и последний срок подходит военному налогу. Растрясеши налоговые, опишут за недоимку... — она горько ус-

мехнулась.—Чего описывать-то? Один самовар в житье остался...»

Дементий чуть слышно запостанывал, открыл глаза:

— Сидишь все... Отдохнула бы...—помолчал и твердым голосом:—Ты вот чего, Анна. Помру, инструмент продай. Хороший инструмент, не продешеви. Глядишь, протяните сколько-нибудь.

— Мели, Емеля!—грубо ворвалась жена.—Высказался—«помру»! А нам без тебя тоже загнуться прикажешь? Нет уж, ты, батюшка, смекай, как на ноги встать!

И спохватилась: верно, про инструмент из головы вон! Молчальник сам мастер, от хорошего инструмента не откажется.

Только забрезжило, натянула рваные сапоги, сходила в прихлевок, куда вынесли верстак еще при Григории. Инструмент лежал в деревянном ящике с ручкой. Подняла, поставила на верстак. Берег его Дементий, холил, Гришке и то волочить не давал. А сколько добра всякого переделал этими стамесочками, пилками да рубанком! Качалка в спальне стоит, Сережка и по сию пору качаться любит, когда большие не видят. Шкафчик висячий вырезал—загляденье! Прялка, бочата, полицы, да куда ни ткнись! Нет, жаль инструмента. Отживется мужик—чего тогда? Пальцами-то много не нассыркаешь...

Вернулась в избу, прихватила деньги, накинула платок и побежала к Молчальному. Несмотря на раннюю пору, Иван шебуршился на дворе, обтесывал бревна.

— Бог в помощь, Иван Федорович!

— Спасибо,—не разгибаясь, скupo уронил Молчальник.

Анна стеснению стояла обочь, как станешь говорить под руку? Обтесав край бревна, Иван воткнул топор, повернулся:

— Мабуть, дило маешь, Александровна?

— Дела-то наши больно худы, сосед. Мужик у меня пластом лежит. Прописали питанье хорошее, как в насмешку. Забежала узнать: ты вроде куриц держал? Не поищешь ли яичек, хоть с пяток, я бы купила...

Постоял, подумал.

— Маю двох пеструшек, та вони вже ж давно не кладутся. Пиду пошукаю.

Грузно ступая, поднялся в дом. Анна присела на

бревно: и не работала, а устала, ноги держали худо. Минут через десять Молчальник вынес завязанную в узелок тряпицу.

— Ото последние.

Анна вытащила из кармана деньги.

— Нэ трэба,— отвел руку Иван.

— Да как так-то, сосед?

— Сказал, нэ трэба! — сердясь, сунул узелок и ушел в дом.

Воротясь, сварила Анна жидкую картофельную кашу с яйцом, разболтанным в козьем молоке. Подала Дементию. Ребятишки унюхали яичный дух, подбежали к кровати. Дементий хлебнул ложку, пошамкал, закрыл глаза.

— Не хочу. Отдай ребятам.

— Я тебе покажу «не хочу»! А вы чего тут? Кыш, несыты! Картошка вам наварена, лопайте!

Гелька с Сережкой, оглядываясь, нехотя вышли из спальни. Стала кормить мужа с ложечки, Дементий рассердился:

— Сказано — не хочу! Чего привязалась.

Анна злилась в три ручья. Бегала, старалась и — на тебе! Неужто и впрямь умирать срядился старик?

Дементий погладил ее руку своей, желтой, немощной, потянулся за ложкой.

Вечером Анна с руганью вытребовала у Гулина выходной, а дома, накормив всех троих, полезла на чердак, собрала в охапку развешанные табачные корни и листья. Чихая от табачной пыли, занесла в избу, острым мужниным ножом принялась мельчить в крупяное крошево. Дементий почуял знакомый запах, завозился на кровати. Заглянула:

— Чего тебе?

— Дала бы покурить...

— Не велела врачиха, и не проси!

Покряхтел, поворочался, затих. Потом слабо позвал:

— Анна?

— Ну?

— Сушить станешь, так водой побрызжи. Слаще, забористее...

— Ой ты, куряка! На ладан дышит, а туда же, «забористее»!

Табачную крошку разровняла на противне, сбрызнула водой, шарпула в подметенную печь.

С мешочком свежего самосада села утром на поезд, уехала в Ожегу. Рынок в райцентре ютился невдали от вокзала, на огороженном пятаке. Базарников за прилавками, заметенными снежной крупой, стояло не густо, подваливали они только к приходу воинских эшелонов. У старушонки выторговала за табак горшочек сметаны, больше взять на торжище было нечего. Времени до поезда на Ясеньгу оставалось много, и Анна успела сходить в главную сенопунктовскую контору к Николаю Ивановичу. Пожалилась на свою беду.

— Эх, Дементий Ильич, друг дорогой! Неужто не встанет? — помрачнел Соколов. — Ладно, Александровна, много не обещаю, а расстараюсь кое-чего. Удастся — сам в Ясеньгу привезу, али пошлю с кем-нибудь.

С тем и побрела на вокзал, сторожко обходя схваченные льдом лужицы: скользнешь — пропала сметана!

Дома встретили криками:

— Мам, от Гриши письмо!

— Из госпиталя!

— Он пять немцев застрелил из пулемета!

— Медаль получил!

— Ранили?! — охнула Анна, не раздеваясь, села на лавку:

— Ну-ка, Гелька, читай скорее!

Григорий писал, что когда в бою под городом Оранienбаумом отбивали атаку немцев, зацепило ему ногу осколком. Рана не опасная, кость не задета, скоро выпишут из госпиталя и снова на передовую.

«Перед этим боем, — читала Гелька, — приходил к нам в окопы политрук, выдавал ордера на квартиры в Ленинграде, если кто захочет там жить после войны. Некоторые брали, а я отказался: оттого, что ордер в кармане будет лежать, лучше драться не станешь. Не за ордера воюем, а чтобы скорее всю фашистскую гнусь с нашей земли прогнать. Дали мы фрицам по первое число: не знаю точно, сколько всего под наш пулемет попало, но пятерых положил точно, своими глазами видел. Представили меня к награде, к медали «За отвагу».

Дальше расспрашивал Григорий о домашних делах, о здоровье, передавал приветы знакомым.

«Многое я здесь, на войне, по-новому понял, тятя,—

под конец обращался к отцу,— понял, каким сосунком был в депо, да и после тоже. Видно, надо под смертью походить, чтобы узнать, как дальше жить на белом свете...»

Анна вслушивалась, многое не понимая, шептала счастливо:

— Жив, Гришенька, рожоный мой, жив...

И влюбленно глядела на дрожащий в Гелькиных ручонках серый листочек: мал, грязен, затаскан, а сколько доброго в нем! Свету-то сколько, батюшки! И ребятишки рады, и Дементий повеселел, и у самой отлегло от сердца. Жив старшой, воюет исправно, медаль, виши, заслужил, никто теперь не ткнет в глаза прошлым...

Впервые за все дни болезни Дементий поел с аппетитом. А через день привезли посылку из Ожеги: не забыл Чужгина старый друг, послал два десятка яиц да бутылку льняного масла. Как удалось достать ему такое богатство, неизвестно, одно было ясно, что не легко и не просто.

Еда ли, которую с боем добывала Анна, известие ли от сына, а скорее всего и то, и другое вместе подняли Дементия на ноги. К новому году окреп настолько, что засобирался на работу, хотя и жена, и врачиша Зоя Николаевна уговаривали его маленько погодить.

— Не могу я, мать, в четырех стенах бока отлеживать. Мужики в мастерской пупы рвут, последние жилы тянут. Пойду, сколь уж поработается...

— Мало ли что...— опасливо предостерегла Анна.— Не поправился путем, сызнова не свалило бы!

— Лучше при деле-то. Без дела, говорят, и таракан на полатях сдох!

Но проработал он всего месяц. К февралю, когда один за другим подчищались летние припасы, и Анна стала подмешивать в еду всякую всячину. Дементий слег снова.

У Анны прямо руки опустились: как жить, чем кормить больного? С осени и то хорошей еды нигде не добьешься, а теперь и подавно. Оголодал народ: и в поселке, и в деревнях одна забота: чего завтра сварить?

Пожалилась бабам на сенопункте. Ахали, сочувствовали.

— В городах да у железных дорог все голодуют,— заметила напарница по обвязке кип.— Подале надо ис-

кать, в глухих деревнях. Там, сказывают, и незаметно, что война. Цыганка эта забрела погадать, я и спроси: «Издалека ли правишись-то?» «В Слободах, говорит, была, уж так-то богато живут: ни молоко, ни мясо не переводится!»

— Вон хоть у озера Воже — дивья жить! — поддер-жала ее Маша Тоцкая. — Рыбы завались, да и скотины сколь держат!

— А в Первунинской? Тоже глушь, тоже, поди, нужды не знают!

— Когда уж и конец-то этой растреклятой войне?

Вроде ни о чем посудачили, а запал в голову разговор о глухих богатых местах. Раскинула Анна умом и упросила Гулина отпустить ее на три дня, съездить в деревню. Обещала отработать эти дни сверхурочно. Сена прессовать оставалось немного, и Гулин, поворчав для порядку, отпустил:

— Смотри, дольше не шляйся! Дойдет до начальства, так попадет обоим!

— Какое — дольше! Двое маленьких, да и старику с кровати не слезть!

Наказала Гельке управляться: топить печь, кормить да поить козу. Наварила большой чугун похлебки, должно было хватить на все три дня. На Гельку надеялась: хоть и мала девка, да управна, ничего у нее из рук не валилось. Все-таки сказала Дементию:

— Командуй тут, отец. Шалить не давай. С огнем тихонько...

— Раздумала бы ездить-то! — слабым голосом уговаривал он. — Попусту... И там дворы не медом мазаны. А мне, видно, один конец...

— Не умирай раньше времени! Привезу вот маслица, яиц, сметанки, живо на поправку повернешь!

— Чего менять-то ладишь?

— Табаку остатки возьму да...

И запнулась. Не водилось у нее в сундуке нарядов, всю жизнь не водилось. Шубенки детские драные и те изрезала на шубные рукавицы в первую еще военную зиму, когда собирали теплые вещи для фронта. Хранились только с довоенной поры с десяток катушек цветных ниток и два набора иголок — берегла пуще глаза. Вот и пригодились...

Дементий слабо шевельнул рукой:

— Там... в шкафу... Часы мои серебряные. Гришке хотел... Все одно уж!

Достала и часы. С тихим звоном открылась крышка, сверкнул пожелтевший слегка циферблат с выпуклыми римскими цифрами. Давнее вспомнилось, молодое, когда хаживал Дементий на вечерки, щелкал крышкой этих вот самых часов на зависть парням. Всю жизнь с ними не расставался, а пристигла нужда — ничего не жаль. Завернула часы в чистую тряпичку, сунула в котомку. Туда же положила табак, нитки, иголки, краюшку пайкового хлеба и три луковицы.

Собралась она ехать в Первунинскую. Можно бы на родину, в той же стороне, да больно далеко, в три дня не укладешься. И в Слободы можно бы, большой тракт к ним тянется, от райцентра часто подводы гоняют, подвезли бы... Нет, совсем это в другом краю, в незнакомом, чужом! А на Первунинском кладбище Дашина могилка, хоть проведает, постоит...

Утром перед поездом истопила печь, попрощалась с Дементием. Ребятишки еще спали.

— Знаешь чего, Анна, — сказал муж, глядя прямо в глаза. — Сулему всякую — сметану, масло — не выменивай. Может, зерна с полпуда дадут, оно надежнее...

— Видно будет, — уронила Анна и вышла из избы сама не своя.

«Смерть чует стариk, готовится, об ребятах все думы, — травила себя дорогой. — А как без него? Зерна с полпуда... Ненадолго и зерно в экое окаянное время! Потом что? Тоже загинуть? Да сама-то бы ладно, пожила, слава богу, а Сережка с Гелькой? Чего видели, кроме голодухи, босоты да слез горьких? Нет, надо спасать мужика, что хошь, надо!»

Она слезла с поезда в Ожеге и пустынной улицей выбралась на большак, ведущий в Первунинскую. Тридцать верст одолеть одним днем — не шутка. Деревень по пути нет, а на волоку в мороз не заночуешь. «Какнибудь, — успокаивала себя Анна. — Дорога санная, накатанная, глядишь, и подвода какая попутная нагонит...»

Понимала, что надежда на подводу худая: лишька в такую пору не ездят, берегут коней к пахоте. Поднялась на угор, оглянулась на Ожегу: станция в снежной низине угрюмо темнела рядами закопченных домов и

двуухэтажных бараков, у депо часто, коротко и зло взвишивали паровозы.

От заснеженного леса, куда, будто в ущелье, врезался зимник, ветер нес снежные пряди поземки, жег лицо морозными струями. Анна сдвинула платок на лоб и зашагала встречь ветру, запинаясь растоптанными катаниками о вмерзшие в дорогу конские кругляши.

Раньше бы, когда помоложе была, посытее, разве волок — тридцать-то верст? Махом бы пробежала, по-пробуй, угонись! Вспомнилось, как в девках еще, хаживала косить осоку на озеро. Своих сенокосов в деревне нехватка, и только, бывало, затяняется озеро льдом, наряжал старик Люлинцев домашних за озерным кормом. На озеро прибегут — тоже не близко, верст пятнадцать, и дотемна косят торчащую надо льдом осоку, сгребают, увязывают, таскают на видное место, чтобы увезти по санному первопутку. А к ночи — домой. Уставали, конечно, да все, как с гуся вода, утром вскочат, будто никуда и не хаживали. Хохотно было, шумно: три брата да две сестры у Анны, двое братьев женатые, третий, Николай, холостой. Наладятся восьмером-то в дорогу, только грабли о косы побрякивают.

Вся родня потерялась нынче: два брата в Сибирь уехали, один загиб еще в ту войну, сестренки в Москву подались, а все неграмотные, не пишут...

В лесу ветер донимал меньше, лишь изредка стряхивал с елок снежную пыль. От ходьбы разогрелась Анна, сняла рукавицы, несла их в одной руке. Нескончаемыми кругами вертелись невеселые думы. Куда просочилась жизнь, по каким кочам растряслась? Давно ли вроде девчонкой пряла куделью на посиделках да плясала под лихие переборы гармони деревенского красавца Сережи Чужгина? Давно ли провожала его, любого, на войну, стояла у прясла, прикрытая полой Сережиной дубленой шубы? А с той поры и вспомнить нечего. Работа до едкого поту, муки родовые да неизносимые сердечные муки. Тяжело рожать, вдвое тяжелее терять. В пяти ведь могилах, в пяти ухоронках лежат ее ребята, ею роженные, несбывшиеся кормильцы да поильцы ее...

«Господи! — взмолилась Анна. — Неужто их тебе мало? Почто остальных-то кровных под смерть подводишь? Об Грише вся душа изболелась. Дементий неве-

домо, встанет ли, нет ли... Малых-то хоть пожалей, ух-
рани, господи!»

Глухо шумел вершинами лес, осыпал белую муку, змеилась, убегая, дорога, то сжатая ельниками, то загороженная сугробами на пожнях. И шла Анна в своих одиноких думах, перелезала через суговые суметы, опасливо озирала стылую глубину леса, уставленную бурьями стволами, на усохших сучьях которых мотались седые бородки мха. В эту, голодную для всего живого, пору немудрено напороться на волков, и Анна временами боялась тем детским страхом, который, бывало, не выпускал по ночам во двор, в напоенные тайнами потемки.

Потом страх отступил, истощился: от усталости ли, от голода ли... Она шагала уже бездумно, изредка взглядываясь в прогал пасмурного серого неба над дорогой, и только удивлялась, что не узнает места, а ведь хаживала этой дорогой дважды: на Дашины похороны и обратно. Не до заметок было тогда, и сама-то дорога двоилась от непросыхающих слез.

Раза два она садилась отдохнуть, отряхивая рукавицами снег с придорожных валежин. После второй перешейки еле встала: ноги не служили, ныли от щиколоток до пахов, ломило поясницу. Однако разошлась, одолела слабину.

Когда уж мочечьки не стало ноги передвигать, впереди показалась подвода, еле видная в засиневшей вечерней заволочи. Лошадь, казалось, тоже еле брела на встречу, помахивая мордой, опущенной куржаком. На санях укутанная в тулуп баба, припорощенная снегом, сидела недвижно, как припаянная.

— Далеко ли до Первуничской? — спросила Анна, кланяясь.

— Километров восемь... Тпру! Стой, Гнедко! — возница растворила высокий воротник тулупа, и на Анну глянуло неожиданно молодое лицо с носиком-вешалкой. — Ты к кому, бабушка, в Первуничскую-то?

Анна замялась: неохота было сказывать, что идет выменивать съестное. Вспомнила Марью, у которой квартировала Даша.

— Марью Долгинцеву охота проведать.

— Умерла Марья! — невнятно сказала девушка, снова запахивая тулуп. — С голоду померла! — и покинула лошадь.

Анна растерянно глядела вслед подводе. Вот те и нетронутые места! Попусту, видно, бредет. Не окликнуть ли девку, не воротиться ли? Но что-то удержало ее. Сняла котомку, развязала тряпицу с хлебом, отломила кусочек от промерзшей насквозь краюшки и опять тронулась вперед, откусывая да катая во рту ледяные хлебные крошки. «Бабушка! Ишь ты! Добра, видно, стала Анька Люлинцева, в бабки записали...»

Уже совсем стемнело, когда Анна, насилиу переступая, добралась до окутанных снегом домов Первунинской. Постояла у нетопленой избы Мары Долгинцевой: к ней и хода не протоптано, вместо крыльца — сугроб. Куда податься? В сельсовет разве? Запомнилась с Дашиных похорон председательша Вера Петровна, душевно говорила на могиле, всплакнула даже, жалела, видно, Дашу.

Синицына сидела за столом, писала при тусклом свете увернутой керосиновой лампы. Анну не узнала, спросила строго:

— Вам чего, гражданка?

— Здравствуйте, Вера Петровна. Чужгина я, Даши Чужгиной мать...

Лицо председательши сразу подобрело:

— Не узнала, Анна... Александровна, вроде? Садись вот к печке поближе, иззябла вся! С Ожеги? Неужто пешком?

— Пешком... — Анна обессиленно села на табуретку, размотала платок, протянула руки к беленому теплому боку печи. — Хотела у Мары Долгинцевой ночевать, да сказывают, умерла?

— Умерла, — горестно кивнула Синицына. — Похоронили Марью. Многих уж после Даши похоронили. С двух сторон фашист бьет: оттуда похоронки сыплются, а нас голодуха жмет, что ни неделя, людей на кладбище носим. А с ночлегом... Ночуешь у меня, как раз домой собираюсь.

— Беспокойство вам...

— Полно, какое беспокойство!

Вечером, узнав, с чем пришла Анна, Синицына только головой покачала:

— Ой, не знаю, Александровна... Стоговы корову держат, отелилась недавно, зайди, авось променяют че-го. Да еще к Лидке Слудовой загляни, с которой Даша-то работала. Оборотистая баба, откуда что и берется.

Знакомства по всей Ожеге завела, наряды выменивает все. Дашину могилку проведаешь?

— Надо.

— Хорошую девку не уберегли. Эх, Дашенька! Каяя помощница-то мне была! Для себя ничего, все — людям! Жалею я ее, Александровна, шибко жалею...

Худо поторговала Анна. За серебряные часы выменила у Слудихи узелок ячменя да крохотный брускочек масла. За нитки с иголками — два круга мороженого молока да десяток яиц у Стоговых. Табак не взяли: мужиков в Первунинской не осталось, а бабы курить не научились. Поплакала на Дашиной могилке в ограде занесенного снегом кладбища и, опять переночевав у Синицыной, затемно наладилась в путь.

— Ночуй еще-то ночку! Вишь, какая метель! А днем и вовсе разгуляется. Завтра сливки повезут в Ожегу, на подводе уедешь, — уговаривала Синицына, выйдя проводить Анну на крыльцо. Поднявшийся с ночи ветер взмахивал из-за угла спешными космами.

— Что ты, что ты, Вера Петровна! — испугалась Анна. — Недосуг! Дома-то у меня больно худо...

— Ну, дело твое. Гляди, не свались на волоку!

Распрощались, и Анна, распархивая катаниками свеженаметенные сугробы, выбралась на дорогу.

В белесом свете утра видно стало, что метель разыгрывается нешуточная. Белыми пеленами скоро закрыло и Первунинскую, и сосновый бор впереди, Узкая санная дорога едва угадывалась под свежей мягкой осыпью. Анна порадовалась, что ветер дул в спину и тому, что впереди — лес: не собьешься, хоть и убродно. Хватило бы только силы, не упасть бы...

Она облегченно перекрестилась, когда перебралась через переметенное поле и дорога запетляла под соснами. Здесь снег падал отвесно, и лишь по свисту ветра вверху, по хрясту ломких ветвей да валившихся наземь сухостоин догадывалась Анна, что метель не кончится скоро и не отступит, пока не выметнет все свои заряды.

Вновь подумалось о Григории, впрочем, она и не переставала думать о нем, просто мысли о сыне временами как бы отодвигались в сторонку, заслоненные сиюминутным разговором ли, делом ли, но отодвигались недалеко и ненадолго. В последнем письме он сообщал, что после госпиталя попросился в минометный расчет.

О миномете Анна прежде слыхом не слыхивала, объ-

яснил Дементий, что так зовут железную трубу, из которой вылетают мины. Анне сразу вспомнилась ржавая труба, закопанная в костер и запыженная березовой тычкой. Как-то захватила она Гришку с Валькой Клыкоевым у костра: сидели возле этой трубы, ждали, когда вода закипит и паром вышибет тычку в быструю Куну. Уж и побранилась тогда!

— А как выворотит трубу-то, да по лбу? — строжила Гришку. — Виши, чего удумали, дьяволята!

Костер затоптала, трубу выдернула, кинула в реку. Так он, сорванец, новую ныне нашел — миномет! Мины-то кидать станет, так и самого не помилуют, все пушки в его сторону повернут, думала Анна. Долго ли ухлопать экого: рана свежая, сам худой, слабосильный, в одной шинелишке в стужу, в непогодь...

Треск, как близкий удар грома, заставил ее испуганно отпрянуть. Высокая сухостойная сосна валилась, казалось, прямо на нее.

— Господи, спаси и помилуй! — торопливо крестилась Анна, глядя расширенными глазами, как сосна, ломая сучья о дерева на другой стороне дороги, хрястнулась поперек, взметнув облако снега. Резкий ветер из-за спины тотчас смял, скомкал снежное облако, уволок в кусты. Только теперь она заметила, что бор кончается, дорога падает под угор, в болотце, и встревожилась: за болотцем широкая пожня, позавчера ее насилиу перебрела, добро, хоть девчонка на подводе свежий след промяла. Как же она сегодня-то про ту луговину забыла, вовсе из головы вон...

Анна перелезла через поваленное дерево, вслушиваясь в свист ветра, порой переходящий в низкое завыванье. Переметало уже и в бору: метель разгулялась во всю мочь.

Частые поначалу кусты ивняка в болотце постепенно редели, мельчали, здесь их замело до вершин, и лишь тонкие лозинки распластанно гнулись под сильным ветром, протягиваясь по снегу то в одну, то в другую сторону. На открытом месте ветер дул не со спины только, а, казалось, отовсюду, сразу прохватил до костей, вытряс тепло, накопленное в бору.

Исчезли и реденькие кусты, потянулась голая пожня, где зимник сравняло вчистую. Анна, оступаясь выше колена, скоро запалилась, вспотела и замерзла в одно время. Она, щурясь, присгалько вглядывалась вперед:

края пожни и не угадывалось, лишь редко-редко в разрывах белой замяты как бы проступала чернота леса.

«Только бы в целик не свернуть! Собьюсь, так и не выползти, утону!» — в страхе подумала она, туже стягивая платок.

С минуты на минуту тяжелее становилось выдергивать ноги из вязкой снеговой глубины. Снег, пухлый, сыпучий, набился в катаники, плотно сжав икры льдинстой оковкой. Теперь Анна часто падала, ничего не видя перед собой из-за плотной метельной завесы, утыкалась руками и лицом в колючую холодную заметуху. Барахтаясь, поднималась, обмахивая ладонью лицо — убирала снег, смешанный со слезами. И шагнув несколько шагов, падала снова...

Выюга рвала с головы платок, хлопала обснеженными полами оболочки, с силой кидала в лицо пригоршни жгучей, непродыхаемой пыли, будто с маxу хлестала по носу, по щекам жестким холщовым полотенцем. Все слилось вокруг: земля и небо, снег и воздух, и в этой крутой мешанине резко, безжалостно и равнодушно выл ветер.

Анна опять упала, глубоко уткнув руки в снег, и застыла — сил больше не было.

«Гибель, видно... Пропадаю...» — тоскливо пронеслось в голове.

С натугой, ограбаясь руками, она повернулась набок, подтянула ноги, уперлась ими в рыхлую мякоть и села, отворотясь от ветра. Колени, ступни, руки стремительно коченели, снег, набившись под сарафан, высоко прилипал к ногам, но Анна уже не чувствовала его.

Вихри налетали и били в спину, потом огибали, заворачивали, больно водили по лицу снеговой теркой. Уткнувшись лицом в колени, Анна замерла, вся сотрясаясь в крупной дрожи: холод споро проникал под худую одежонку, выюга леденила уже и грудь, вилась где-то возле самого сердца.

Отрывисто и часто дыша в колени, Анна вдруг, как бы в полусне увидела свою избу и печь, нетопленую, стылую, на которой, по-птичьи съежившись в комочки, замерзают Сережка и Гелька. Видение было столь отчетливым, что сразу разбудило ее, встряхнуло, и Анна рванулась, будто выкинутая на берег рыба, поднялась на непослушные ноги. Упрямо поползла к смутно чернеющей впереди стене леса.

Красные круги мельтешили перед глазами, снеговой пылью забивало открытый рот, обрывало дыхание. И на миг эта в кровавых пятнах метель почудилась Анне какой-то немыслимой напастью: жуткой, долгой, алчно питающей горячей крови и людской смерти. Одолевая метель, она все-таки поняла, что обязана перемочь убийственную эту заверть, перебороть ее и выжить, чтобы не умерли те, кому нельзя умирать.

Она выползла к деревам, у которых вновь означился санный след. В затишкеглядела валежину и, дотянувшись до нее, села прямо на обснеженную. Отдышалась, стащила катаники, выколотила ледяную кашу, переобулась. Развязала сбившийся, влажный от снега и пота платок, стряхнула. Повязав платок онемелыми руками, выбила снег из рукавиц. Потом встала, пошатываясь, шагнула на дорогу и побрела, на ходу поправляя котомку.

13

Боль накатывала на Дементия приступами: мучительными, изнуряющими. В иную пору представлялось, будто в животе у него зашил чугун с кипятком. Сперва чугун просто давил: тяжело, ровно, потом вода закипала и переплескивалась через край, обжигая внутренности точечными вспышками боли. Ожоги эти множились, учащались, кипяток заливал весь низ живота, палил нестерпимо, нарастающая до немыслимых пределов мука выжимала слезы из глаз. Мертво сцепив зубы, он сбивлял крик до стона. И когда уж не оставалось мочи терпеть, когда мутлилось сознание и бездыханно спирало грудь, боль сбивлялась опять до точечных ожогов, потом унималась совсем, оставляя после себя тяжесть, будто вода в чугуне, зашитом в живот, милосердно, снисходительно остывала.

После приступа Дементий долго еще лежал недвижно, слушая себя, боясь шевельнуть кончиком пальца, чтобы вода не закипела опять и не переплеснулась через край.

Поначалу приступы наваливались не часто, ночами больше, а в промежутках он мог еще вставать, сидеть на кровати, бродить по избе, выползал даже во двор, жадно хватая ртом мартовский, с заметной веснинкой воздух.

Днем оставались они вдвоем с Сережкой: Анна ходила на работу, Гелька из школы прибегала поздно. Заскочит домой, кинет сумку в угол, пошвыркает пустого супу и — за хлебом, в очередь, часа на два, на три. Сережка катаники измолов в шматки, выйти не в чем, поневоле сидел на печи, либо забирался в отцовскую кровать, стараясь не шевельнуть, не толкнуть больного. Они разговаривали, больше о том, какая хорошая жизнь наступит после победы.

— А хлеба тогда много будет? — спрашивал сын.

— Сколько хошь! — серьезно отвечал Дементий.

— Я бы и сколько хошь съел. И молоко будет?

— А как же! Корову свою заведем. Она, брат, по ведру зараз молока-то давать станет: утром ведро, в обед ведро, да и на ужин — ведро!

— Ух ты! Во попью-то! Тять, а победа скоро придет?

— Теперь уж, должно, скоро. Отовсюду гонят немца Красная Армия. Как выкурит из нашей земли, тут тебе и победа.

— Тять, а чего еще будет после победы?

— Да как — чего? Пряников привезут, конфет...

— Конфет? — не верил Сережка. — Горошинок, какие Гриша привозил?

— И горошинок. И шоколадных...

— Какие такие шиколадные? Как вяленица?

— Нет, Серега, намного скуснее. Сверху черненькие, с блеском, будто лаковые, а раскусишь — одна сласть!

Сережка глотал слюнки и, чтобы не дразнить себя еще больше, просил:

— Тять! Расскажи сказку!

Дементий перебирал в уме какие-то обрывки сказок, слышанных в детстве, они вертелись, мельтешили, а в одну не складывались, рассыпались в цветное крошево.

— Вот чего, Серега, — придумал он наконец. — Ты слазай-ко на потолок, там у трубы лубя стоит с книгами. Выбери одну, да и неси в избу, а я тебе почитаю заместо сказки.

Сын живо спрыгнул с кровати, от дверей крикнул:

— Какую, тятя, толстую али тоненькую?

— Любую. Какая на тебя взглянет.

Босые ноги протопали по чердачной лестнице, зашуршало над матицей, стукнуло, видно, Сережка торопился.

«Эх, последыш, последыш! — горестно посетовал Дементий.— Экая неладовая выпала тебе судьбина с раннего ранья! У меня у самого детство-то не задалось, а тебе втрое горше и холодать, и голодать доводится! Да все еще цветочки, ягодки-то поспеют, как помру... Ненужто не выживет малый, заявляет, что цветок на морозе? В таком разе лучше бы тебе, парень, и не родиться... Гришка приглядеть обещал, на ноги поставить, да худа па него надежа, коли сам неотлучно под пулями. Ну, Адольф клятый, змеиная головушка! В притвор бы тебя да дверями со всего маху!»

Снова пропела лестница, Сережка завалился в избу озябший, взъерошенный, лямка у штанов сбилась на локоть, и поправить не мог: прижимал к животу толстенную книгу в тисненом переплете.

— Во, тятя, какая на меня взглянула! С картинками!

Дементий взял книгу. На обложке крупными буквами со стершейся позолотой выписано старинной вязью: «Н. А. Некрасовъ. Стихотворения». И чем-то молодым, петербургским еще опахнуло душу Дементия, восторгом тех незабвенных белых ночей, когда зачитывался Некрасовым в каморке на Петроградской стороне. Он с трепетом раскрыл книгу наугад и сразу наткнулся на строки:

Скоро,— приметы мои хороши!—
Скоро покину обитель печали...

Дементий вздрогнул, холодные мурашки волной прокатились по спине: будто про него писано! Подлинно: «обитель печали»... А куда попадет, коли покинет ее? Есть ли там что, за иределом-то, или чернота одна, не была, бесчувствие? Сон вечный... Что верно, то верно: устал он, устал без предела и меры. Время бы и уснуть, да вон он-то как без отца, Серега-то? Гелька с Анной? Верка с Григорием?

Хорошо умирать в годину светлую, оставлять близких не в холоде, нужде да страданиях, а в тепле, в сытости, в довольстве. Тогда и душа бы отлетела тихо, спокойно, без мук, а тело опало бы, как осенний лист, исполнивший на ветвях свое назначение...

Перелистнул страницу, а там опять о смерти:

Тяжело умирать, хорошо умереть.
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть...

Нет, неправду, пожалуй, сказал поэт. От большой гордости *это!* Чего скрывать: охота, чтоб и тебя пожалели, и самому жаль людей. Мучают сами себя, несмысленые, будто на веки вечные жизнь им дана, и не видно ей ни конца, ни краю. А жизнь-то на миг только, на коротенькое мгновеньице, за которое себя толком узнать не успеешь, не то что мир. Не так бы людям жить следовало, не в войне да крови, а в радости да изумлении перед тайнами мира сего...

— Читай, тять! — теребил Сережка.

— Погоди, сейчас... Найдем вот... — он водил желтым обкуренным пальцем по оглавлению, искал интересное малышу. — Ага, «Дед Мазай и зайцы». Ну-ка, где она? — открыл нужную страницу, и в избе слабо зазвучал его надтреснутый голос:

В августе, около Малых Вежей
С старым Мазаем я бил дупелей...

— Кого это — «дупелей»? — перебил Сережка.

— Птица такая. Бекас.

— А ее едят?

— Знамо, едят.

— Читай!

Они добрались до того места в книге, где зайцы скачут к Мазаю в лодку, когда первая капля кипятка обожгла внутренности Дементия. Он побледнел, сцепил зубы, книга вывалилась из рук, стукнулась об пол.

— Тять, ты чего?! — испугался Сережка.

Дементий, не в силах ответить, лишь еле качнул головой. Лоб его покрылся мелкой испариной. Сын чуть не заревел от страха, но перемог себя, тихонечко стал гладить отца ладошкой по седым волосам, остриженным ежиком. Так и застала их Анна, придя на обед. Встревожилась, прогнала Сережку с кровати, заставила мужа выпить таблетку, прописанную Зоей Тумановой. Когда тело больного расслабилось и он впал в полузытье, долго сидела на табуретке возле кровати.

После того как она, чуть живая, воротилась из поездки в Первунинскую, Дементий слабел с каждым днем больше. Умом понимала: не поднять мужика, а сердце замирало от одной только мысли, что останется без него с ребятишками. Знала, каково это: на ее глазах маялась, тоже с двумя, Маша Тоцкая. Как ни бьется баба, а го-

лодуха одолевает, у старшего, у Кольки, уж язва желудка от всякой несъедобной дурнинь.

Пробовала Анна растягивать привезенные из Первунинской продукты, да ведь не резиновые, давно уж сплыли они, кормила больного остатками мелкой водянистой картошки, размоченным в кипятке пайковым хлебом,— коза и та отказалась от молока. Картошка тоже, считай, вся, последние зачистки доваривает Анна. С такими ли харчами больного лечить? Да хоть бы ел, а то поклюет по-птиччи крошку-другую, и ложку в сторону. Одно осталось средство, одно-единственное...

Она и сама ничего, считай, не поела: кусок в горло не лез. И когда брела с обеда на сенопункт, и там, у лязгающего под навесом пресса, все прикидывала: решиться али нет на это последнее средство. От дум ее отвлек хохот товарок, столь непривычный в последнее время, что она даже разогнулась, бросив кипу и потирая поясницу:

— Вы чего, бабы?

— Да ты каким местом слушаешь-то? — смеясь, спросила Анна Мастерова. — Над Гулиным хохочем. Седина-то, вишь, в бороду, а бес-то — в ребро! Тонька Махина рожать сряжается!

— Неужто от Гулина? — ахнула Анна.

— От ево! Сама сказывала!

— Ой, козел душной!

— То и бегал каждную ночь на сенопункт с проверкой: каково-де Тоня сторожит? — сверкнула глазами Маша.

— А она-то чего? На эдакого сморчка старого польстилась!

— Где ноне молодых-то возьмешь? Мы, бабы, чисто кошки, кто бы ни погладил, лишь бы погладил! Да и что? Однова живем! Седни жив — ладно, а завтра уж что бог даст! — сказала Мастерова.

Почему-то именно эти слова рассеяли сомнения Анны. Воротясь вечером с работы, она зажгла фонарь, взяла острый Дементьев нож, оцинкованный таз и ушла в хлев. Спутала ноги козе, повалила, держа рогатую голову над тазом. Майка истошно взbleяла, колотясь всем телом, и Анна, зажмурив глаза, что есть силы резанула ножом по козлиному горлу. Кровь тугой струей ударила в таз, и когда Майка затихла, отяжелела в недвижности, Анна с трудом поднялась на непослушные ноги.

«Вот и все!» — тускло пронеслось в голове.

Снять шкуру да разделать тушу — не в новинку, в деревне частенько помогала отцу да братьям, когда убавляли осенями овец. Только забивать самой не прихаживалось, не допускали. Да мало ли до чего тогда не допускали? Нужда всему научит...

Перемогла слабость, тошноту и стала разделывать тушу, изредка смаргивая слезы. Не видать больше молочка ребятишкам: в апреле козу съедят, а там, ежели Дементий не оправится, хоть зубы на полку, хоть самой на погост. Картошку из глухой ямы выкопает, пообрязгает, да много ли тех обрезков наберется из четырех-то мешков мелочи: чихнуть не поспеешь — приберут. А до свежей крапивы, до травы луковой — терпеть да терпеть...

«К сатане! Будь что будет!» — с бесшабашьем каким-то тряхнула головой Анна, отдирая кожу от мослов отощавшей козы. — Хоть недельку-другую мяска поедят, все пооклемаются маленько!»

Она как в воду глядела. С мясных бульонов Дементию заметно полегчало. Врачиха Зоя Николаевна диву далась:

— Крепок у вас старик! Не надеялась я, по правде говоря, что он выкарабкается...

А уж Анна-то радовалась! Живой блеск заиграл в глазах у мужа, чаще вставал он с кровати, стал копошиться по дому, насучил дратвы, подшил катаники ребятишкам, велел занести в избу столярный инструмент.

Недолгой оказалась та радость! В двадцатых числах апреля новый тяжелый приступ болезни свалил Дементия. Столь худо сделалось, что ни повернуться, ни куска проглотить. Мочиться стал одной кровью. Через пару дней отнялась речь, хотя больной все видел, слышал и понимал.

Анна опять вызвала Туманову. Замотанная беготней да недоеданием, Зоя Николаевна долго осматривала Дементия, выслушивала, притыкая стетоскоп ко впалой, с бугорчатыми ребрами груди. Потом вымыла руки, шепнула Анне, топтавшейся в кухне с полотенцем в руках:

— Худо, Анна Александровна. Не жилец... День-два от силы протянет.

Анна поднесла полотенце к глазам.

Проводив врачиху, она позвала детей, захватив за плечи, подвела к самой кровати:

— Благослови ребяток, отец... Им — жить...

Дементий услышал. Открыл глаза, пристально и долго глядел на Гельку, потом на Сережку, хотел сказать что-то, но губы лишь изломились натужно — язык ему не повиновался. Из уголка глаза выдавилась и скатилась по впалой желтой щеке светлая слезинка. Анна подняла его иссохшую, безвольную руку и провела этой костлявой, неживой уже рукой по голове сперва Гельки, потом Сережки. Ребята стояли тихо, испуганно таращились на отца широко раскрытыми глазами: серыми у сына, голубыми у дочери...

Уходя утром на работу, Анна, как всегда в последнее время, заперла ворота на замок, чтобы незваные гости не забредали в избу, не тревожили больного. Сережка одиноко сидел на лавке у окна, временами прислушивался к тяжелому и частому дыханию отца. Отчего-то боязно ему было, неприятно, он то и дело выглядывал в окошко на испятнанную темными лужами дорогу. Внезапно заметил, что к нему в проулок свернул какой-то человек. Незнакомец поднялся на крыльце — проскрипели ступеньки — погремел замком, потом воротился и увидел в окне Сережку. Мальчик узнал его — это был Николай Иванович. Улыбнулся, спросил через двойные рамы:

— Отец дома?

Сережка не рассыпал, по губам понял, кивнул утвердительно и показал пальцем на спальню. Соколов обогнулся угол избы, проваливаясь в ноздреватом, пробитом капелью снегу, подобрался к окну спальни, приложил ладони к стеклу, заклеенному газетными полосками, взгляделся в полумрак комнаты. Заметив на кровати недвижного человека, постучал согнутым пальцем по стеклу, крикнул:

— Дементий Ильин! Что ж ты, брат, от друзей-то запираешься?!

Дементий натужно повернулся голову, узнал, попытался рвануться, да не мог шевельнуть и пальцем.

Вечером, когда Николай Иванович зашел попрощаться, Дементий уже не узнавал никого.

В таком состоянии он прожил еще неделю. Умер Дементий Чужгин в ночь на второе мая, когда по дороге мимо его дома проходили подпившие бабы, гонося час-

тушки, и кто-то неумело подыгрывал им на гармошке.

Сережка и Гелька проснулись поутру па каленой печи от приглушенного говора. В избе сутились бабы: соседка Дуня Придворова, Анна Мастерова да Маша Тоцкая. Отец, обмытый и переодетый, лежал на столе, его до кистей рук, скрещенных на груди, прикрывало байковое одеяло. Запавшее лицо Дементия, цвета желтого воска, было отстранено спокойным, седые усы казались чужими, словно наклеенными. Анна сидела рядом, у стола, свалив голову на руки, и Гелька впервые приметила широкие белые пряди в ее густых волосах.

— Тятя-то, что ли, умер? — толкнул сестру в бок Сережка.

— Ага, — шепотом ответила Гелька.

— Хоронить теперь станут?

— Ага...

— И крест поставят?

— Наверно...

— Вот такой? — черкнул Сережка крест-накрест пальцем по печной трубе.

— Нет, вот такой, — Гелька тоже провела пальцем по трубе, сперва вдоль, потом нарисовала две перекладинки: одну прямую, другую — наискосок.

— А как за реку-то повезут? — не унимался Сережка. — Вчерась только лед прошел!

— Не знаю...

Хоронили Дементия через два дня. Последний раз старый столяр проехал на телеге по Ясеньге, лежа в сосновом гробу, любовно изложенному Молчальником. Везли гроб новой улицей Пролетарского поселка: мимо клепочного завода, через узкоколейку. Между почтой и школьным интернатом свернули на берег Куны. Лавы еще не ставили: хотя большой лед протащило, но редкие белые осколыши еще плыли по ворончатой полой воде.

С телеги гроб перенесли в просторную общественную лодку, Сережку посадили на крышку гроба. Полезли через борт бабы, раскачивая посудину. Миша Клыков взялся за весла. Остерег людей, чтобы особо не вертелись: лодка хоть и большая, да огрузла по самые борта. Все притихли, нахохлились — день задался хмурый, ветреный, воду инде морщила рябь, трепались седые волосы на непокрытой голове перевозчика.

Сережка зорко следил за плывущими мимо льдинами,

боялся, что какая-нибудь влепится в борт, потопит лодку, и тогда гроб с отцом попрет диким течением прямо в омут перед устьем Ясеньги. Но беды не стряслось, переехали. Лодка ткнулась носом в ступенчатый обрыв глинистого берега, кто-то выскочил, ухватился за борт, одерживая. Сережку, по-птичи поджимавшего босые ножонки, передали с рук на руки, поставили на прошлогоднюю жухлую траву над обрывом. Гелька в гнилых сапожонках влезла на гору сама.

С берега гроб несли на руках Миша Клыков с Молчальником да четыре сенопунктовские бабы. В бору под соснами кое-где еще белел грязный снег, припорощенный хвоинами и луковыми лепестками коры. Сырой песок дороги влажно чмокал под сапогами людей, несущих гроб. Сережка, скрючив покрасневшие ступни, скакал обочиной, стараясь не отставать, и в то же время ступать не на песок, а на палые сучья да на редкую траву.

У могилы гроб поставили на сырье глинистые комяши. Сережка испуганно, молча глядел, как сняли крышку, как мать с воем кинулась на грудь покойника, и ее оттаскивали бабы. Кто-то сзади все толкал Сережку, уговаривал:

— Ты поплачь, парень, поплачь! Отец ведь...

А он стоял истуканом, только поджимал пальцы на ногах, вдавливая их в холодную глину...

После похорон подступили черные дни. Иждивенческих карточек на май в леспромхозе не выдали. Надо было переводить ребятишек на иждивение Анны, хлопотать о пенсии. Все это делалось не скоро, бумажная карусель вертелась со скрипом, а пока жили на один рабочий паек втроем. Отощавшая Гелька не замогла ходить в школу, но учительница Марья Федоровна послала перевести ее, как отличницу, в пятый класс.

Ребятишки почти не слезали с печи, хоть и стало пригревать майское солнышко, лежали недвижно, ждали, когда вернется с работы мать да разломит пополам дурманно пахнущий шматок хлеба. Анна и сама окостлявела, еле волочила ноги. Все денные иочные думы ее в одно упирались: чем покормить детишек? Толкла еловую кору, мох, остатки листьев с прошлогодних веников. Променяла на картошку Дементьев инструмент и самовар. Раза четыре ходила с саком на реку, да то ли

сноровки недоставало, то ли силы — ворочалась без рывки, вымокшая и злая.

Теперь и о Верке, и о Григории стала вспоминать реже. Оттого, поди, что не голодают. Григорий после похорон Дементия ни строчки не послал, а ведь сообщали ему о смерти отца. Хоть бы этот-то жив остался, до победы себя поберег...

С солнышком потянулась первая травка. Поселковые жители чуть не с корнями рвали молодую крапиву. Анна гнала ребятишек на улицу:

— Полно вам на печи-то киснуть! Хоть бы на берег сходили, пестики, сказывают, растут!

И Сережка стал выползать на солнышко: сперва павалинке грелся да щипал в огороде травку, пробуя на зуб всю подряд. Попадала больше горькая, сытости не давала, только слюна копилась во рту тягучим зеленым комом.

Как-то прибрел к нему Юрка Пузанов из барака, что чернел за дорогой. Тоже еле переступал на опухших от водянки ногах и, оттого, что опух, казался толстым и сытым.

— Айда пестики искать! — позвал Сережку. — За сенопунктом в поле — страсть сколько!

И они, взявшись за руки, потащились дорогой неторопко, с одышкой, как крохотные старички.

Домой Сережка приплелся навечеру, но не поздно, и подивился, что мать в неурочную пору пришла с работы. Она сидела на табуретке среди голой избы, пусто и бессмысленно глядела в стену. Гелька, примостившись на лавке, шмыгала носом и терла кулачком глаза. Сережка, притихнув, бочком подсел к Гельке.

— Чего мамка-то? — шепотом спросил он.

— Гриша у нас без вести пропал... — чуть слышно всхлипывая, прошептала сестра.

Сережка поерзал на лавке и тоже заплакал, размазывая по щекам слезы.

Плач детей будто пробудил Анну: вскинулась, выбежала из избы, прогремела чем-то в сенях и скоро вернулась, таща корзину с обрезанными на посадку картофельными верхушками. Насыпала верхушек с белыми тощими ростками в оцинкованный таз, залила водой и, побулькав маленько, горстями ссыпала обрезки в большой чугун. Потом сходила в прихлевок за дровами, растопила печь: все молча, будто сердясь.

Испуганные Сережка с Гелькой забрались на печь, прижались к трубе, затаились как мышата. Слышно стало потрескивание огня в печи, тиканье ходиков на доске меж стеной и шкафом.

— Слезайте ужнать, чего спрятались! — позвала Анна.

Втроем уселись за стол перед парящим чугуном, ели без хлеба, макая крохотные обрезки в соль. Проглотив горячую картошку, Гелька вдруг опустила руки в колени, спросила по-взрослому:

— Как жить-то станем, мама?

Анна торопливо зашарила рукой по пустому столу, опустила голову, долго молчала. Потом тяжело, в упор, посмотрела в голубые, страдающие глазенки дочери:

— Так и станем. Поедим да пойдем огород копать. Надежда у нас, доченька, только на свои руки...

Но огород в тот вечер Анна копать не стала. Едва засинели сумерки, вынесла из прихлевка сак, насадила поперечину на шест, привязала сетевые веревочки и огородом ушла на Куну.

Вода успела убраться с пойменных лугов в берега, но стояла еще высоко и не светлела. Анна выбрала место и опустила снасть. Она закидывала сак неумело, по-бабын, да и силы недоставало подать шест с сеткой на глубину, поперечина плюхалась на воду рядом с берегом, шумно, с брызгами. Рыба от всплеска мигом разбегалась во все стороны, и сеть неизменно возвращалась пустой.

Анна обошла встречу течению большой кривун, закидывая снасть там и сям, вымокла, устала, — все попусту. Сетка то и дело цеплялась за укрытые водой кусты тальника, и приходилось изо всех сил дергать шест на себя, рискуя изодрать куль.

Густые сумерки неспешно переливались в пасмурную ночь, стал накрапывать дождь, прибавив свой глухой шум к монотонному бульканью воды. Таловый куст шагах в десяти от Анны гнулся и дрожал под напором сильной струи. Она оперлась на шест, отдыхая, неотступно вглядывалась в чернью, как деготь, и, казалось, недвижную воду.

Тихо там, в глубине, покойно... Все сразу бы отрубилось — и невзносная боль за Дашу, за Дементия, сына, и вечная забота о том, чем завтра накормить ребятишек, и война, и весь этот жуткий мир, который не-

звесть почему, по ошибке видно, зовут белым светом. Какой он свет, ночи черной чернее...

«А Гелька с Сережкой? — мелькнуло в голове.— Да что — Гелька с Сережкой? Возьмут в детдом, оденут, обуют, накормят. Не хуже там, чем со мной-то», — спокойно подумала она и вздрогнула оттого, что смогла вот так, отстраненно, как о чужих, подумать о малышах.

«Грех это, Анна!» — будто въязвь раздался в ушах голос отца, который уж двадцать три года лежал в могиле.

Она еще раз глянула на черную высокую воду, на помутневший в ночи, как бы размытый супротивный берег и, быстро вскинув сак на плечо, пошла прочь от реки.

«Может, отыщется еще Гришка-то? — утешала себя дорогой.— Без вести пропал, так не знают и там, убит ли, нет ли...»

Надежда была слабенькой, хилой, как затухающий огонек. Сколько баб-то по Ясеньге чуда ждет, надеется, а уж и следка не осталось от их сыновей да мужей, сгнили в сырой неприютной земле, в широких братских могилах...

И опять накатила на Анну нутряная усталость, серая, беспросветная, как эта дождливая ночь над сурово струящейся полноводной Куной.

Она притащилась домой, когда ребята давно уже спали. Бесшумно развесив сырое, прилегла на кровать и лежала пластом, не сомкнув глаз, пока не засинело в окнах. Потом тихонько оделась, выбралась во двор и, прихватив в прихлевке лопату, почала копать гряды. Тянуть дольше было нельзя — приспевало время садить картошку.

